

Владимир (Зеев) Жаботинский

ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ

Вл.(Зеев) Жаботинский ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ

118

Владимир (Зеев) Жаботинский

ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ



Владимир (Зеев) Жаботинский
в форме офицера еврейского легиона

Владимир (Зеев) Жаботинский

ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1989

זאב ז'בוטינסקי
סיפור חיי

V.(Z.) JABOTINSKY
THE STORY OF MY LIFE

Репринт с издания 1985г.

ISBN 965-320-072-0



ת.ד. 4140, ירושלים
יוצא לאור בסיוע:
האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו־יורק

מהדורה שניה בסיוע
הקרן לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש ל.א. פינקוס

Printed in Israel

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

''Библиотека-Алия'' предлагает читателю еще один сборник произведений Владимира Жаботинского. Первый – ''Избранное'', изданный нами в 1978 году (№ 62), включил произведения, написанные Жаботинским на русском языке и посвященные исключительно еврейской тематике.

Автобиографический очерк ''Повесть моих дней'' переведен с иврита специально для настоящего издания и охватывает период жизни В.Жаботинского до Первой мировой войны. Как бы прямым продолжением ''Повести моих дней'' является написанное автором на русском языке ''Слово о полку'' (1928; отдельные части опубликованы в сб. ''Избранное''), посвященное борьбе Жаботинского в годы Первой мировой войны за создание Еврейского легиона, который в составе Британской армии участвовал в освобождении Эрец-Исраэль от турецкого владычества.

Статья о В.Жаботинском написана ветераном ревизионистского движения, публицистом, переводчиком, историком, а также исследователем сионизма и верным последователем идей Жаботинского профессором Иосефом Недава (род. в 1915 г.).

СОДЕРЖАНИЕ

Иосеф НЕДАВА

ВЛАДИМИР (ЗЕЕВ) ЖАБОТИНСКИЙ

Владимир (Зеев) Жаботинский (1880–1940) – одна из самых ярких фигур в сионизме. Его личность и оригинальное мировоззрение подчас вызывали споры, но даже самые непримиримые противники воздавали должное его исключительным качествам, его идейности, его талантам, литературному и ораторскому. Когда он умер, один из его противников* так оплакал его кончину: "Разбилась многострунная арфа". След его деятельного присутствия заметен в еврейском мире по сей день, и некоторые его идеи восторжествовали в Государстве Израиль, а это лучший ему памятник. Жаботинский считал себя приверженцем политического сионизма, последователем Герцля. Историческое значение его деятельности заключается в том, что он внес в сионизм новую струю: он воскресил идею еврейской военной силы, идею, которая была вытравлена из исторического сознания нашего народа со времен Бар-Кохбы. Он порвал с традицией самозамыкания в библейском общечеловеческом идеале, глубоко укоренившейся в сердце народа: "не воинством и не силою, но Духом Моим..." Неудивительно, что Жаботинский восстановил против себя многих представителей консервативных кругов, он был передовым бойцом, идущим перед армией, он первым зажег светильник, осветивший путь многим.

Жаботинский был сыном русского еврейства. Он почерпнул много из его духовного наследия, и многие его исключительные качества стали важными нитями

*Шнеур Залман Рубашов (Шазар), один из лидеров рабочего движения в Эрец-Исраэль, впоследствии третий президент Государства Израиль.

в сложной ткани души Жаботинского. Однако, он вовсе не был типичным представителем еврейства черты оседлости . С рождения он был свободен от галутных пут, стесняющих дух, от комплекса неполноценности и раболепства, являющихся следствием борьбы за выживание.

Не только сознательно, но и в силу своего семейного происхождения Жаботинский был тесно связан со своим народом. Тот, кто пытался приписать Жаботинскому склонность к ассимиляции, стремясь его примером подтвердить теорию о пришествии "со стороны" вождя и избавителя Израиля, игнорирует основные факты его биографии. Мать Жаботинского педантично соблюдала религиозные предписания ("мицвот"), отец посещал синагогу и он сам сначала усвоил идиш, на котором говорили его родные, и уже в детстве начал изучать иврит.

И это не все: по свидетельству Жаботинского, с момента, когда его мировоззрение определилось, он чувствовал себя "получужаком" в России и сделался безразличен к ней. Он не любил русский климат, его стужи и туманы, и в той же мере неприязненно относился к русскому общественному климату. Он не любил русской литературы с душевной путаницей ее творцов, их самобичеванием и копанием в себе. Много лет спустя, за несколько месяцев до смерти, Жаботинский, клеймя злоумышления советской власти против еврейского возрождения, писал, что, "зная половину Пушкина наизусть, я готов отдать всю модернистскую русскую поэзию лишь за семь букв квадратного еврейского шрифта". Жаботинский не преувеличивал, он просто выражал свои истинные сокровенные думы.

Но иным было его отношение к Одессе, городу, где он родился. Он не уставал воспевать ее, ибо любил ее нежной любовью, любовью, "что вовек не проходила и не пройдет". В его автобиографическом романе "Пятеро" Одесса такая же "героиня" повествования, как сама еврейская семья Милгромов.

И действительно, в глазах Жаботинского Одесса, ко-

торая стояла на берегу Черного моря, не была частью России. Она была драгоценным вкраплением Средиземноморья, она принадлежала ему географически и психологически, и в прозрачных небесах над нею сияние и волшебные краски сплетались, чтобы выткать веселую и легкую ткань жизни.

Три года (1898–1901) Жаботинский на юридическом факультете Римского университета. Италия пришлась ему по духу: "Если у меня есть духовная родина, – писал он в автобиографии, – то это скорее Италия, чем Россия". В этот период началась его бурная журналистская карьера. Он стал регулярно печатать в газете "Одесские новости" свои фельетоны под псевдонимом Альталена.

В Италии Жаботинский обогатил свое мировоззрение. Изучая историю Италии, он глубоко воспринял ту ее главу, которая рассказывает о национально-освободительном движении. Это оказалось прологом к его сионизму. Знакомясь с трудами ее мыслителей и воинов (особенно ценил он Гарибальди), он выработал принципы собственного либерализма, который принял форму "мечты о порядке и справедливости без насилия, всечеловеческого идеала, вытканного из милосердия, терпения, веры в то, что добро и счастье заложены в человеке".

Весной 1903 года произошел решающий перелом в его жизни: он стал сионистом. Тому способствовали различные факторы, и в немалой мере изучение произведений Пинскера и Ахад-Гаама, но все остальное перевесил "экзистенциальный" фактор: "грозная стихия погромов" обрушилась на еврейство России. Когда евреи Одессы стали опасаться надвигающегося погрома, Жаботинский присоединился к подпольной организации самообороны, и, когда разразился Кишиневский погром, его отправили в "город резни"* раздавать

*Так назвал Бялик свою поэму о Кишиневском погроме. В переводе Жаботинского эта поэма называется "Сказание о погроме".

одежду пострадавшим. Он был потрясен до глубины души зрелищем кишиневских зверств. Под впечатлением этого события он перевел на русский язык поэму Бялика "Сказание о погроме" и, выступая в местечках черты оседлости, обычно начинал свою речь чтением этой поэмы.

Отдаваясь делу организации еврейской самообороны, Жаботинский видел, что она не может быть подлинным историческим ответом, избавляющим его народ от хронических бедствий. Самооборона была делом момента, тогда как практическое и историческое решение заключалось в полной ликвидации рассеяния и возвращении в Сион. На клочке пергамента одной из разорванных книг Торы, который затерялся между развалин разрушенной синагоги в Кишиневе, остались лишь слова "в чужой земле" ("Я стал пришельцем в чужой земле"; Исход 2:22). Жаботинский воспринял этот эпизод как символический.

Сионизм Жаботинского основывался на "чуждости" евреев всем странам, в которых они жили в диаспоре, и единственным решением, вытекающим из этого положения, был новый и всеобъемлющий "Исход".

В том же году Жаботинский впервые принял участие в работе Сионистского конгресса (шестого по счету). Главным впечатлением, вынесенным им из нескольких дней блуждания по залам и коридорам здания, где происходил Базельский конгресс, был образ Герцля, личности, проникнутой царственным величием, "человека-князя", излучавшего веру и чувство избранности.

Вместе с тем, среди делегатов конгресса Жаботинский чувствовал себя "чужаком". Не то чтобы он не был демократом, не то чтобы он порывался возражать против системы выборов делегатов, и не то чтобы конгресс, явившийся творением Герцля, не был дорог ему. Но с того момента, когда он попал в общество делегатов, он почувствовал, что в отношении основных сионистских принципов его от них отделяла пропасть. Он нес в себе революционную идею, тогда как они в своем большинстве были склонны продолжать тради-

цию палестинофильства ("Ховевей Цион") которая освящает "день малых дел" в создании поселений в Эрец-Исраэль. Его идеологические часы спешили, словно потому, что времени оставалось в обрез.

Жаботинский говорил о формировании "нового национального еврейского типа", способного вести наступательную войну против самого галута и всего, что тот олицетворяет.

1904–1914 годы прошли для Жаботинского под знаком многогранной и плодотворной деятельности среди еврейства России. Хотя не все были согласны с его взглядами, еврейское общество в России считало его своим "баловнем". Популярен он был необычайно. Публицистический дар и ораторская мощь Жаботинского достигли в этот период наивысшего расцвета. Его статьи и в общероссийской, и в еврейской прессе, вызывали многочисленные отклики, и залы, в которых звучали его речи, во всех городах и местечках черты оседлости были забиты до отказа. Блестящий пропагандист сионистского движения, он всколыхнул сердца еврейской молодежи, и в ряды сионистской организации влились десятки тысяч молодых людей, увидевших в сионизме свой идеал.

Остро и с большим искусством Жаботинский полемизировал с социалистическим Бундом и ассимиляторскими кругами.

В 1906 году Жаботинский был одним из главных докладчиков на Гельсингфорсской конференции (совещание проводилось в столице Финляндии, чтобы ускользнуть от бдительного ока царского режима) и одним из редакторов принятой на ней программы. На первый взгляд, эта его деятельность отклонялась от "монистической" линии, которую он начертал себе, то есть, может показаться, что он был увлечен потоком внутрирусской борьбы и выступил на фронте, который отнюдь не был сионистским. В частности, таким как бы "отклонением" было выставление им своей кандидатуры на выборах в 3-ю Думу в 1907 году: борьба, которая завершилась в нескольких турах поражением.

Но Жаботинский отвергал обвинение в отклонении от сионизма. Он объяснял, что его целью было не завоевание для русского еврейства позиций внутри России, но отыскание той архимедовой точки, опираясь на которую можно было бы развернуть великое движение исхода евреев в Эрец-Исраэль с большим размахом и в организованной форме. Хотя одной из его целей было достижение для евреев России "национальных прав", его намерение заключалось не в этом, а в создании эффективного инструмента для контроля за массовым выездом. Он никогда не верил в то, что у евреев есть будущее в галуте, и полагал, что все попытки овладеть позициями в самой России следует предпринимать лишь из тактических соображений, лишь в качестве текущей меры.

В 1910 году Жаботинский блестяще перевел на русский язык стихи Бялика и таким образом позволил еврейскому и русскому читателю познакомиться с творчеством гения новой ивритской литературы. Эти переводы высоко оценил Максим Горький. Некоторые русские писатели сожалели, что сионизм "похитил" Жаботинского у русской литературы, где ему могло бы принадлежать почетное место, но Жаботинский продолжал пребывать в еврейском "назорействе". Своим переводом он лишь стремился возвеличить иврит среди чужих языков. Жаботинский многое сделал для введения иврита в качестве языка преподавания в еврейских школах на всей территории России.

В годы, предшествующие Первой мировой войне, Владимир Жаботинский прилагал усилия, направленные на воплощение в жизнь идеи создания Еврейского университета в Эрец-Исраэль. Этого требовали интересы десятков тысяч еврейских студентов, которые безуспешно обивали пороги высших учебных заведений России, пытаясь преодолеть "процентную норму".

В 1907 году Жаботинский женился на Иоанне Гальпериной, ставшей верной спутницей на его тернистом и бурном пути еврейского и сионистского лидера.

("Вся жизнь моя – цикл стихов, и в них царишь лишь ты одна" – из мадригала, сочиненного им в ее честь.) В 1910 году в Одессе у них родился единственный сын – Эри-Теодор.

В 1909–1910 годах Жаботинский провел несколько месяцев в Константинополе, занимаясь руководством сионистскими изданиями и определяя тактику сионистской пропаганды. И в этот непродолжительный период ему предоставилась возможность познакомиться вблизи с Оттоманской империей, от которой зависела судьба Эрец-Исраэль и успех сионистского дела на этой земле. Он знал, разумеется, о сизифовом труде Герцля, который стучался в ворота султанского дворца в свое время, чтобы в обмен на финансовую помощь получить от турецкого властителя "чартер", т. е. официальную грамоту, привилегию, разрешающую осуществление еврейского заселения Эрец-Исраэль; как известно, его попытки не увенчались успехом. Жаботинского, который подобно многим сионистам, возлагал надежды на новых турецких правителей – "младотурок", – очень скоро постигло разочарование. После контактов с несколькими новыми турецкими руководителями он убедился в том, что и от них не дождешься никакого добра и никакой милости. Никогда эта больная держава не согласится на осуществление целей сионизма.

Жаботинский предвидел недалекий распад Оттоманской империи: не может быть, чтобы треть населения одной голой силой управляла многочисленными национальными меньшинствами в течение продолжительного времени. К тому же Жаботинский был уверен в том, что Турции ради собственного блага следует снять с себя бремя народностей, живущих среди турок, и сократиться до естественных границ, ограничившись Анатолийским полуостровом.

Наконец, настал час сионизма. В 1914 году разразилась Первая мировая война, и в октябре 1914 года Турция вступила в войну на стороне Германии против государств Антанты. Жаботинский в это время объез-

жал страны Западной Европы и Северной Африки в качестве военного корреспондента одной русской московской газеты. Однажды, почти как новое озарение, ему пришла в голову мысль, что сионистское движение должно стать союзником Великобритании, чтобы посредством вооруженной борьбы освободить Эрец-Исраэль от турецкого владычества.

Ныне, ретроспективно, трудно постигнуть всю новизну этой идеи. Когда Жаботинский выступил с этим предложением, многие спрашивали: "Что ему, еврею, за дело до создания еврейской военной части? Не вытекает ли из сущности истории еврейского народа в многовековом рассеянии занятие нейтральной позиции в любой войне между народами? Да и помимо этого, учреждение еврейского легиона в рамках британской армии не поставит ли под угрозу само существование еврейского ишува в Эрец-Исраэль, который находится под турецким управлением?" Лидеры сионизма пытались отвлечь Жаботинского от его "сумасбродной" программы, а когда им не удалось сломить его "упрямство", они принялись клеймить его как предателя и поносить на всех перекрестках. Они не поколебались объявить ему войну, бойкотировали его и отлучили от общества. Летом 1915 года Жаботинский посетил Россию последний раз в своей жизни и дух его омрачился еще больше. Даже в Одессе он столкнулся с неприязнью и отчуждением. Менахем Усышкин, авторитетный руководитель русских сионистов, однажды, встретив на улице мать Жаботинского, грубо бросил ей: "Вашего сына надо вздернуть на виселицу". Это причинило боль Жаботинскому, но когда он, выразив матери свое сожаление, спросил ее, не отказаться ли ему от своей деятельности, то получил ответ, которым гордился до конца дней: "Если ты уверен, что ты прав, не сдавайся!"

Жаботинский избрал Лондон в качестве центра своей деятельности по созданию легиона, и в течение двух с половиною лет бился за его сформирование с безграничным упорством. Он вел свою борьбу в одиночку.

Среди сионистских деятелей того времени только один человек – доктор Хаим Вейцман, сочувствовал идее легиона, но и его поддержка, по многим причинам, была ограниченной. Жаботинский прошел через испытания, которые сломили бы любого другого. Жизнь его превратилась в кошмар, но он не отступил, и в эти дни отчаяния и разочарований он разрабатывал принцип "науки терпения". Главным в этой "науке" было то, что каждое поражение следовало рассматривать как еще один шаг на пути к победе: "Поражение – не поражение; "нет" – не ответ; обожди – и начни сызнова".

И действительно, "наука терпения" привела Жаботинского к успеху: в августе 1917 года английское правительство дало согласие на создание еврейского легиона, и уже летом 1918 года Жаботинский, вместе с другими солдатами 38-го Королевского стрелкового батальона, участвовал в военных тренировках возле Умм-а-Шарта в Заиорданье.

Несмотря на все усилия Владимира Жаботинского обеспечить еврейским подразделениям дальнейшее существование в качестве части гарнизона британской армии в Эрец-Исраэль и после войны, ему не удалось добиться этого. Легион был расформирован. Жаботинский поселился в Эрец-Исраэль и сразу же столкнулся с антисемитским и антисионистским духом, которым веяло от британских административных учреждений, не примирившихся с Декларацией Бальфура. Проанализировав происходящее, Жаботинский воззвал к британским властям и к Правлению Сионистской организации. Он подверг резкой критике первого Верховного комиссара Эрец-Исраэль, Герберта Сэмюэла, который, несмотря на свое еврейское происхождение и симпатии к сионизму, проводил "либеральную" политику в отношении арабов, опасаясь, что его заподозрят в пристрастии. Тем самым он способствовал сплочению арабского националистического движения, которое сразу же развернуло злонамеренную кампанию против еврейского населения.

Жаботинский предупреждал об опасности возможных погромов, но многие деятели еврейского ишува считали, что он сгущает краски в своих предсказаниях бедствий. В 1919 году Эрец-Исраэль посетил выдающийся судья и руководитель сионистов в Соединенных Штатах Луи Брандайз, и когда Жаботинский поделился с ним своими опасениями, тот сказал ему: "Вы преувеличиваете, сударь, это не царская Россия, это территория, занятая англичанами, и здесь погромов не будет". Жаботинский ответил ему не без иронии: "Сударь, мы, выходцы из России, охотничьи собаки, мы чуем кровь издалека".

На Песах 1920 года начались арабские беспорядки. Жаботинский был назначен главой отрядов самообороны и мобилизовал в ее ряды около 800 молодых людей. Вследствие этой акции Жаботинский и девятнадцать его бойцов были арестованы и предстали перед британским военным судом. Жаботинский как зачинщик был приговорен к пятнадцати годам лишения свободы и каторжным работам. Так началась новая глава в его жизни. Он был первым "узником Сиона", арестованным во времена британского мандата, и содержался в крепости Акко.

Сам Жаботинский принял приговор со стоическим спокойствием и призывал еврейскую молодежь извлечь из этого урок: каждое национально-освободительное движение неотвратимо идет дорогой тюрем! Еврейская общественность в Эрец-Исраэль не примирилась с несправедливостью, и в конце концов заставила англичан уступить: через три месяца еврейские заключенные были выпущены на свободу.

Престиж Жаботинского в сионистском лагере резко повысился, и в 1921 году его ввели в Правление Всемирной сионистской организации в результате соглашения, заключенного между ним и президентом организации доктором Вейцманом по поводу политических мер, которые надлежало предпринять. Однако с самого начала между ними обнаружились разногласия и в ходе сотрудничества возникли трения. Они двигались

по разным орбитам и находились на противоположных полюсах, вследствие различий темпераментов и представлений о темпах, диктуемых их несхожими сионистскими убеждениями. Доктор Вейцман был умеренным политиком, и в глазах Жаботинского его политический путь был путем просителя-ходатая. Он руководствовался принципом: "Политика – искусство возможного". Жаботинский видел в этой политике наследие Галута и обозначил ее выражением "импрессионизм", подразумевая суетливость в соединении с неспособностью к действию, источником которых было неверие в силы народа. По его мнению, это был присяжный оптимизм, в котором крылось нечто от самообмана, "все образуется". Недаром в первые двадцать лет широкое распространение получил как бы пароль сионизма: "положение дел удовлетворительное" (satisfactory).

Жаботинский был уверен, что он видел народившееся явление в реальном свете. Он опасался, что в Эрец-Исраэль происходят и нагромождаются прецеденты, которые угрожают в какой-то мере самому существованию "еврейского национального очага". Он не щадил усилий, уговаривая своих коллег по Правлению предпринять необходимые действия, чтобы предотвратить упадок движения. Но тщетно. Опубликование Белой книги в 1922 году и запрет евреям селиться восточнее Иордана были в его глазах предзнаменованиями бедствий. Он отчетливо и болезненно осознавал провалы в деятельности Сионистской организации. И потому отказался в дальнейшем присутствовать на заседаниях Правления и вышел в отставку в январе 1923 года.

Выйдя из состава Правления, Жаботинский намеревался замкнуться в своей частной жизни. Анализируя свою прошлую общественную деятельность, он с грустью пришел к выводу, что либо он не пригоден для борьбы на общественном поприще в Израиле, либо само поколение еще неспособно принять его "исключительные" идеи. Во всяком случае, Жаботинский пытался, никого не обвиняя, оставить политическое поприще и начать зондировать почву в поисках источников

средств к существованию. На первый взгляд казалось, что ему будет нетрудно прокормить себя и семью журналистским трудом, и казалось бы, Париж был особенно подходящим местом для его новой деятельности. В конце 1923 года этот город был центром русской эмиграции, поскольку большая часть "старой" интеллигенции осела именно там, покинув Россию после октябрьской революции. Жаботинскому было легко войти в эмигрантскую прессу русской колонии, но такая мысль даже не пришла ему в голову. В годы своего пребывания в Париже Жаботинский свел личное знакомство с некоторыми лидерами русской эмиграции, но никогда не пытался сойтись с ними ближе. К русским делам он продолжал оставаться совершенно равнодушным. Уже в юные годы, примкнув к сионистскому движению, он "перешел Рубикон" и сжег за собой все мосты, ведущие в страну своего рождения. Его мало занимала судьба России. В его многочисленных статьях найдется не много строк, посвященных советской России. Советский режим был неприемлем для него ни в каком отношении, и "красный" опыт погасил в его душе последние слабые искры симпатии к социализму и к социалистическому учению о равенстве, которым он отдал дань в дни своей молодости. Отношение к России и ее строю было прямым следствием его монистического мировоззрения. Он довольствовался сионистским идеалом и не испытывал потребности в "сопутствующих" идеалах. Напротив, он безоговорочно отвергал "широту еврейского сердца", которая выражалась в стремлении внести лепту также в "гуманизм" и "универсализм" чужих народов. Он был убежден в том, что всякий взгляд, украдкой брошенный в сторону чужого мира, должен в конце концов привести к раздвоению личности еврея-сиониста и к утечке энергии, которая целиком необходима для осуществления идеи национального возрождения. Художественно этот тезис воплотился в образе одного из героев его повести "Пятеро" Марко. Вот символический эпизод. Однажды ночью в Петербурге, на исхо-

де зимы юноша-еврей переходил по льду Неву и услышал душераздирающий женский вопль. Ему показалось, что женщина тонет и зовет на помощь. Переполненный жалостью и стремлением спасти, Марко сорвался с места с ответным криком: "Я иду!" Он бежал изо всех сил, но подтаявший лед обломился под ним, и он провалился под воду. Тело его не было выброшено рекой на берег; он бесследно исчез. Впоследствии выяснилось, что отчаянные крики раздавались вовсе не со стороны реки. Кричала на берегу женщина, которую бил смертным боем ее благоверный. Хотя драка была нешуточной, они оба прогоняли, пуская в ход кулаки, всякого "чужого", пытавшегося разнять их. "Бестолковый Божий дурак бежал не туда..."

В конце 1923 года Жаботинский вошел в редакцию сионистского еженедельника "Рассвет", издававшегося на русском языке в Берлине (некоторое время спустя еженедельник переместился в Париж и стал выходить в свет под редакцией Жаботинского). Он предпринял лекционное турне по Латвии, собирая деньги с целью улучшить финансовое положение журнала. В результате этой поездки в его жизни снова произошла перемена. Жаботинский был вынужден покинуть свою "башню из слоновой кости". Группа молодых активистов в Риге очаровала его. Он увидел в них подходящий человеческий материал, из которого можно было вылепить новый национальный еврейский тип. Они явились первой закладкой фундамента для создания Бетара (Союза молодежи имени Иосефа Трумпельдора*, молодежного движения сионистов-ревизионистов). Это движение Жаботинский впоследствии стал считать своим лучшим творением.

В апреле 1925 года в Париже сионисты-ревизионисты оформили свое движение как партию, и в своей программе четко сформулировали воспринятые ими ос-

*Бетар – оплот Бар-Кохбы, вождя последнего восстания против Рима (132–135 н. э.); на иврите акроним: Брит Иосеф Трумпельдор.

новные положения Жаботинского. Суть была в том, что предстояло произвести ”ревизию” путей сионизма, то есть пересмотр его облика.

Вскоре новая партия расправила крылья, и число присоединившихся к ней сионистов во всем мире росло, в особенности в Восточной Европе и внутри Эрец-Исраэль. На 14 сионистском конгрессе (1925), в котором партия участвовала впервые, она была представлена лишь одним делегатом, на 15 конгрессе (1927) – 10 делегатами, на 16 конгрессе (1929) – 21, а на 17 конгрессе (1932) – 52. Линией водораздела послужили погромы 1929 года – один из наиболее тяжелых кризисов, пережитых сионизмом за всю его историю. Полагают, что в 1931 году ревизионизм был близок к тому, чтобы овладеть Сионистской организацией. 17 конгресс был одним из наиболее бурных из всех конгрессов, и на нем Жаботинский потребовал принять декларацию о том, что цель сионизма – подготовительная работа по созданию еврейского государства с еврейским большинством на территории Эрец-Исраэль по обе стороны Иордана. Доктор Вейцман отмежевался от этих ”максималистских принципов”, но он не был переизбран президентом движения, и, оставляя свой пост, сам договорился о передаче его главе оппозиции, своему великому противнику Жаботинскому. Однако из-за колебаний ”гражданских кругов” и неустанной борьбы сионистского рабочего движения ревизионисты в последнюю минуту не были допущены к руководству движением. Жаботинский на глазах у делегатов порвал свой делегатский мандат. С этого момента он стремился лишь к одному: выйти из международной Сионистской организации и основать новую Сионистскую организацию.

Но осуществление этого решения растянулось на четыре года из-за резко обострившихся отношений между рабочим движением и ревизионистами в Эрец-Исраэль, вследствие чего образовалась реальная угроза братоубийственной войны. Рабочие партии и Гистадрут осуществляли гегемонию, и право членов Бетара на

выезд в страну было сильно урезано. В 1933 году, когда был убит один из руководителей рабочего движения Хаим Арлозоров, вокруг движения Жаботинского создалась зловещая атмосфера "кровавого навета". Ревизионистов обвиняли в убийстве Арлозорова. Разжигание ненависти и распространение впоследствии оказавшегося ложным обвинения дали результаты. (На выборах делегатов конгресса в 1933 году рабочая партия получила 42% голосов, тогда как на предыдущем конгрессе она располагала 29%, а ревизионисты потерпели жестокое поражение, и их доля снизилась с 21% до 14%!)

В 1935 году Жаботинский основал новую сионистскую организацию. С обновленными силами он приступил к многогранной деятельности по осуществлению своей программы. В области внешних отношений он провозгласил "политику союзов" с целью обеспечения поддержки со стороны таких государств, как Польша, Румыния и Чехословакия, на территории которых было сосредоточено большое еврейское население и которые были заинтересованы по самой природе вещей в еврейской эмиграции, дабы облегчить тяжелое экономическое положение своих народов. Жаботинский заручился поддержкой этих государств для оказания давления на Великобританию, государство-мандаторий, и открытия настежь ворот в Эрец-Исраэль перед еврейскими иммигрантами.

В 1936 году Жаботинский провозгласил программу "эвакуации" евреев Польши; он агитировал за организованную и упорядоченную эвакуацию евреев в массовом масштабе в Эрец-Исраэль на государственной основе. Выдвигая этот план, он руководствовался чувством, которое преследовало его в течение многих лет, что не сегодня-завтра разразится катастрофа. Уже в 1898 году (он был тогда юношей, которому не исполнилось еще 18 лет) Жаботинскому явилось страшное видение Варфоломеевской ночи в Европе. Его призыв вызвал бурю негодования в среде еврейской общественности. Некоторые сионистские круги даже не

удержались от обвинения Жаботинского в антисемитизме!..

В 30-х годах началась нелегальная иммиграция евреев в Эрец-Исраэль. На этом этапе она была организована эмиссарами ревизионистской партии. Плыли они на жалких суденышках (не нашлось достаточно средств, чтобы арендовать суда, достойные этого названия). Они плыли по Средиземному морю, уклоняясь от встречи с британскими сторожевыми судами, и высаживали на берега родины молодых людей, у которых не было будущего в Европе. В 1937 году Жаботинский был назначен командующим подпольной национальной военной организации (Эцел), которая предпринимала "ответные действия", реагируя на арабский террор против евреев Эрец-Исраэль. В принципе он не был сторонником подпольной деятельности в Израиле. Он верил в силу политического давления и в необходимость формирования еврейской армии открыто. Но после казни Шломо Бен-Иосефа, члена Бетара, который решил отомстить за жертвы террора, Жаботинский счел оправданным существование Эцела в качестве гарантии стабильности политического климата в подмандатной Палестине.

Тем временем на международной политической арене начались события огромного значения. В сентябре 1939 года разразилась Вторая мировая война, и евреи Восточной Европы оказались в западне. Все мечты Жаботинского созвать "Сейм Сиона" (парламент помощи евреям, находящимся в бедственном положении), чтобы принять программу эвакуации и всеобъемлющей политической борьбы с целью проложить путь в Сион, развеялись как дым. Казалось, мир его рухнул. И все же Жаботинский стремился увидеть луч света в воцарившейся тьме. В его душе пробудились воспоминания о днях Первой мировой войны, и он собирался возобновить сотрудничество сионистского движения с Великобританией. Он стремился создать еврейскую армию численностью в 100000 человек, которая, сражаясь плечом к плечу с союзниками, приняла бы участие в

разгроме нацистской Германии, в награду за что еврейский народ обрел бы суверенные права на Эрец-Исраэль.

Жаботинский начал свою последнюю кампанию в Соединенных Штатах. Однако тяжелая болезнь не позволила развернуть ее. Еще в 1935 году у него началось сердечное заболевание. Быть может, последние месяцы его жизни в Нью-Йорке были самыми печальными за всю его жизнь. Он жил по большей части в одиночестве, вдалеке от членов своей семьи. Его жена осталась в Лондоне, ибо гражданское пароходное сообщение между Англией и Америкой было почти прекращено, а сын его, Эри, сидел в тюрьме в Акко, куда его бросили за деятельность по переброске нелегальных иммигрантов в Эрец-Исраэль. Средства его были скудными, он не располагал источниками для финансирования широкой пропагандистской кампании в Соединенных Штатах, где в этот период безраздельно царил дух изоляционизма и нежелания быть вовлеченными в войну в Европе.

Во время посещения им летнего лагеря Бетара, неподалеку от Нью-Йорка, с ним случился сердечный удар, и он скончался 4 августа 1940 года. В своем завещании Жаботинский распорядился перенести свои останки в независимое Еврейское государство лишь по постановлению его правительства. В том, что еврейское государство будет создано через несколько лет, у него не было сомнения.

Лишь в 1964 году его предсмертная воля была выполнена, и его прах был захоронен в Иерусалиме, рядом с могилой основателя политического сионизма Т. Герцля, по чьим стопам он шел всю свою жизнь.

Было бы заблуждением увидеть в богатой событиями повести жизни Зеева Жаботинского трагедию. Исторический деятель, чьи идеи осуществились и пустили глубокие корни в народе, деятель,который оставил неизгладимый след в истории своего народа, не трагическая, а героическая личность.

ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ

Повесть моя написана кратко, и в определенном смысле, отрывочно. Происходит это, прежде всего, оттого, что я никогда не пытался (за исключением одного-двух случаев) изобразить в ней знаменитых людей, с которыми свела меня судьба, даже и в том случае, если они сыграли видную роль в жизни поколения и нации; и этим я, понятно, снизил ценность и занимательность сего сочинения, ибо ценная сторона всякой автобиографии не в автопортрете, а в портрете другого, но что поделаешь? Отпущенное мне время не позволяет воскресить все, что столь живо еще в моей памяти, да и не судья я людям, ни живым, ни уже умершим. Но разве сумеешь изобразить существо из плоти и крови, удержавшись вовсе от оценки или суждения?

Однако и летопись моих дней я развернул здесь только наполовину, показав жизнь писателя и общественного деятеля, но не жизнь частного человека. Две эти сферы жизни разделены во мне очень высокой перегородкой: по мере возможности, я всегда избегал их смешения. В частной жизни были и есть у меня друзья и враги, дорогие связи, невосполнимые потери и незабываемые воспоминания – все это ни разу не сказалось и никогда не скажется на моей публичной деятельности. И хотя на весах моей внутренней жизни эта половина перевешивает все остальные впечатления, и хотя роман моей личной жизни более глубок, многоактен и содержателен, чем роман публичной деятельности, – здесь вы не найдете его.

Мое родословие

Мать моя родилась в Бердичеве более ста лет тому назад. Отец ее, реб Меир Зак, был торговцем. Насколько мне известно, в моей родословной не было раввинов или каких-либо священнослужителей ни с той, ни с другой стороны. Единственным утешением мне может служить то, что моя жена как-никак ведет свое происхождение от Дубенского маггида. Хотя я не слышал подробностей о детских годах моей матери, из того немногого, что она иногда нам рассказывала, у меня сложилось представление, что члены ее семьи принадлежали к городской верхушке.

Память моя сохранила несколько эпизодов из ее рассказов, в особенности великолепие субботы и пасхальный вечер в доме ее отца. Я побывал в Бердичеве в начале этого столетия и даже тогда застал еще на железнодорожной станции православных грузчиков, которые изъяснялись на гораздо более чистом идиш, чем я сам, а в говоре их звучал настоящий еврейский распев. Даже и тогда это все еще был самый еврейский город из всех городов Украины, и таким, с еще большей определенностью, был он в дни маминого детства. Дедушка был несомненно человеком просвещенным и прогрессивным и, может статься, даже вольнодумцем, по мнению окружающих, ибо он послал маму в обновленный *хедер* учиться немецкому языку и западным манерам. Этим манерам обучались с помощью куплетов. Например, если тебя представляли важной даме, следовало сказать:

Bonjour, madame charmante,
Un tekef a Kusch in die Hand*.

Мама говорила по-немецки, хотя и с ошибками, и по ее выражениям было заметно, что она учила

*Добрый день, очаровательная дама (*франц.*), – и тут же поцелуй в руку (*идиш*).

литературный язык, и любимыми писателями ее юности были Шиллер и еще один автор, ныне забытый в самой Германии, – Цшокке. Русский язык она стала учить только после замужества, видно, из необходимости общаться с прислугой, и, хотя с сестрой и со мной она говорила всю жизнь только на этом языке, она производила решительные разрушения в русской грамматике. Она понимала также древнееврейский язык, язык Пятикнижия и молитвы, и была большим знатоком и немалым педантом во всем, что касалось религиозных установлений и обрядов.

Однажды я спросил маму: "Мы хасиды?*" – и она ответила не без раздражения: "А ты что думал – миснагдим?**" С тех пор и поныне я себя причисляю к потомственным хасидам. Еще одну решающую вещь узнал я из ее кратких ответов. Было мне тогда лет семь или меньше, и я спросил ее: "А у нас, евреев, тоже будет свое государство?" Она ответила: "Конечно будет, дурачок!" Я не задавал больше этого вопроса, хватило с меня ее ответа.

Кроме сестры Тамары, был у меня еще брат Мирон, или "Митя", первенец в семье. Его я совершенно не помню, потому что он отошел в иной мир, когда я был еще младенцем.

Пока жив был отец, мы не знали нужды, но он умер, когда мне было шесть лет, и мы остались без всяких средств к существованию. Мы едва сводили концы с концами, пока не подросла сестра и не начала, с шестнадцатилетнего возраста, давать уроки; этим она спасла нас от нищеты. Мои воспоминания – воспоминания о лишениях. Жили мы в мансарде, и родители моих богатых товарищей, с которыми я играл во дворе, не позволяли им посещать меня,

*Хасид – приверженец хасидизма, религиозно-мистического народного движения, основанного в XVIII веке.

**Миснагдим *(идиш)*, или митнагдим *(иврит)*, букв. 'оппоненты' – противники хасидизма.

чтобы к ним не пристал дух бедности, и мама, со своей стороны, тоже не разрешала мне преступать порога их дома.

Вообще мама слыла гением. После смерти отца, когда она вернулась в Одессу с двумя сиротами, был созван семейный совет в доме ее брата Абрама Зака, чтобы обсудить, что делать с нами, и один из сыновей дяди, процветающий адвокат, высказал такое мнение: ”Достаточно у нас образованных, пошли девочку учиться на швейку, а парня научи столярному ремеслу”. Совет, быть может, был и не плох, да еще не проникла в те дни идея Umschichtung* в сердца среднего класса, – и с тех пор ни мы не появлялись в доме этого советчика, ни он у нас, и если бы я встретил на улице его жену и сыновей, – а они были самыми близкими нашими родственниками, – то не узнал бы их. Лет двадцать спустя попытался этот племянник заговорить с мамой во дворе синагоги, просил прощения и объяснял, что она не поняла его. Мама отвечала: ”Я не сержусь, всего доброго”. И прошествовала в женское отделение синагоги.

Я не из поклонников Яфета (также как не из поклонников Сима...), но есть черта в характере северных народов, которую я разделяю: поклонение женщине. Я убежден: каждая, даже самая обычная женщина – ангел, и это правило не знает исключения. Если женщина не проявила этого качества, то потому только, что не представился случай, но придет день – и вы увидите. С тремя женщинами свела меня жизнь, и у всех трех нашел я это качество, что же касается первой из них – мамы, – то я не помню ни одного дня в жизни, чтобы она не была вынуждена биться, хлопотать, преодолевать трудности.

Я почти ничего не знаю о нашей жизни до болезни отца – одни обрывки, но это фрагменты эпопеи: не в смысле необычайности событий, напротив, это гла-

*Букв. переход в другой класс, здесь 'пролетаризация'.

ва, похожая на тысячи глав из истории тысяч женщин, чья жизнь — повседневный подвиг. Она родилась в богатстве, жила в богатстве, еще вчера был у нее дом полная чаша, муж — повелитель, царь и вождь в своем кругу, а она царица его, и в момент все рухнуло: положение, капитал, будущее, и на ее плечах больной старик, одряхлевший за одну ночь и уже приговоренный к смерти. Она собрала всех нас, привезла в Берлин, созвала лучших врачей. Те обследовали отца, покачали лысинами, пошептали друг другу какие-то латинские слова и затем изрекли на непонятном немецком языке: продолжим лечение...

Мать покинула нас на два месяца, вернулась в Одессу, продала или заложила мебель и драгоценности и вернулась бороться за жизнь отца. В течение двух лет профессора пытались обмануть себя, что рак — это не рак, наконец, признали, что надежды нет. Мать не отступила: в России тоже есть знаменитые хирурги, как знать? Повезла нас в Киев, повезла нас в Харьков, из Харькова нас едва не выслали, потому что отец перестал делать взносы в купеческую гильдию, и мы лишились права жительства в этом городе. Мама добилась приема у губернатора и получила отсрочку от высылки, пока не будет оперирован отец. Но ничего не помогло. Не знаю почему, но оттуда мы поехали в Александровск, небольшой городок на Днепре: может быть, отец хотел умереть в родных местах, на берегах реки, свидетельницы дней его молодости и его прошлого величия.

После смерти отца мы вернулись в Одессу. Помнятся мне маленькие комнаты и свежие булки, которые мама дает каждое утро сестре и мне, а сама ест только то, что осталось со вчера. Но совет дядиного сына был отвергнут без оговорок: и сестру, и меня она послала в гимназию.

Отца я совершенно не помню, вернее, помню очень смутно, но слышал о нем рассказы и даже легенды. В те годы закладывалось и подымалось торговое

богатство Одессы, стольного града хлебной Украины, и отец, по-видимому, был одним из лучших создателей этого богатства. Заправляло на хлебном рынке "Русское общество пароходства и торговли", РОПИТ, а оно числило отца среди главных своих агентов. Говорили, что он был главным скупщиком зерна на всей территории правобережной Украины, области, которая кормила Европу в те годы. Стоило бы написать пространный роман (но такая опасность не грозит, ибо не найду я для этого досуга) о поездках отца на пароходах РОПИТ'а по Днепру, от Херсона до уступов, перегораживающих русло реки, которые называются "пороги" по-русски и "гирло" (устье) по-украински, в сопровождении многочисленной свиты помощников, специалистов по определению качества зерна, учетчиков и просто людей без пользы и без профессии, которых в Одессе звали странным именем "лаптот"; может быть, его можно ближе всего передать только словом "бездельник". Отец, видимо, был человеком очень ценным в глазах правления, ибо спустя много лет после его смерти я привык видеть в нашей мансарде одного из директоров РОПИТ'а, который являлся с визитом к маме всякий раз, когда заезжал в Одессу. Даже имя его я случайно запомнил – Пчельников. Он выпивал стакан чаю и не уставал расточать похвалы отцу.

Евреи звали отца Ионой, русские – Евгением. Он родился в Никополе, городе на берегу Днепра. Отец его держал семь почтовых станций на одном из главных трактов, ибо тогда железная дорога не дошла еще до этого края. Станции имели смешанное назначение: постоялого двора, харчевни, почты и конюшни для почтовых лошадей. Один из моих друзей нашел имя дедушки в списке первых подписчиков на первую газету на древнееврейском языке, которая выходила в России, "Гамелиц", если я не заблуждаюсь.

Адмирал Чихачев, директор компании РОПИТ,

однажды сказал отцу: "Имя тебе Евгений и ты гений". Может быть, он преувеличивал, а может быть, и был прав, но во всякое свое посещение Приднепровья я слышал от многих то же самое. Однажды в Александровске собрался вокруг меня десяток стариков, ветеранов торговли зерном, и до полуночи пытались они растолковать мне, в чем состояли чары, которыми обладал мой отец. Я не понял их, но у меня осталось огромное впечатление от переплетения связей, отношений, сетей, нитей влияния, которые связывают Аргентину с Украиной, Черное море с тремя океанами, Валплац в Вене, резиденцию министра иностранных дел Австро-Венгрии, с Капа Ровиной, где собирались зерноторговцы в Одессе. Одно уразумел я: они говорили мне, что отец совершал свои расчеты в уме "до осьмушки копейки" (я не унаследовал этого дара, для меня даже таблица умножения китайская грамота). И еще одно: много раз предупреждали его, что помощники обворовывают его. Он неизменно отвечал: "Тот, кто ворует у меня, беднее меня, и, может быть, он прав". Именно эта философия и передалась мне по наследству.

Способности отцу достались, как видно, от его матери, о которой я тоже слышал немало легенд, но здесь не место рассказывать их. Духовное наследие со стороны деда было другого рода: преувеличенная нервозность, граничащая с истерией, симптомы которой я обнаружил у многих представителей моей родни. Один из них, мой младший дядя по отцовской линии, из странной породы обаятельных прохвостов, гениальный лжец, лжец милостью Божьей, обладатель единственных в своем роде музыкальных способностей — он умел щелкать соловьем, и половина населения Никополя собиралась у окна его дома, чтобы послушать его трели, — на старости лет спятил с ума и подписывал свои письма ко мне "Иисус II". Но отец любил его больше, чем многих других братьев, и однажды дал ему ответственное поручение — надзирать за отгрузкой зерна за границу, а сам уехал

на две недели. Вернувшись, он застал полное расстройство в делах и мрачные лица в конторе РОПИТ'а. Через несколько дней после этого открытия он почувствовал подозрительную боль внутри, врачи поставили диагноз – рак, и послали его в Германию. Мы провели там два года, останавливаясь в Берлине зимой и в Эмсе на Рейне летом. В Берлине я ходил в немецкий детский сад, а в Эмсе видел однажды старого кайзера Вильгельма, который приподнял шляпу в ответ на мой поклон: тогда еще в мире существовала вежливость, даже и в этой части света. Отец не выздоровел.

Одним из трех факторов, которые наложили печать свободы на мое детство, была Одесса. Я не видел города с такой легкой атмосферой, и говорю это не как старик, думающий, что на небосклоне потухло солнце, потому что оно не греет **ему**, как прежде. Лучшие годы юности я провел в Риме, живал в молодые лета и в Вене и мог мерять духовный "климат" одинаковым масштабом: нет другой Одессы – разумеется, Одессы того времени – по мягкой веселости и легкому плутовству, витающим в воздухе, без всякого намека на душевное смятение, без тени нравственной трагедии. Я не скажу, Боже упаси, что обнаружил в этой атмосфере избыток глубины и благородства, но ведь ее ласкающая легкость именно и состояла в отсутствии какой бы то ни было традиции. Из ничего, из нуля возник этот город за сто лет до моего рождения, на десяти языках болтали его жители, и ни одним из них не владели в совершенстве. Среди моих многочисленных знакомых был только один, чей отец тоже родился в Одессе: поистине, нет благородства без традиции и без трагедии. Город эфемерный, как клещевина пророка Ионы, и все, что произрастает в нем, – материальное, нравственное, общественное – тоже Ионова клещевина, преходящий случай, острота, авантюра. Правда, конечно, дело почтенное, но и ложь не преступление, ибо ведь и у собеседника есть кипучее, гиб-

кое, мгновенно вспыхивающее воображение. Добавьте еще ненасытное любопытство к тому, что принесет восходящий рассвет, всякая весть о нем — великое событие, толпа бурлит, руки взметаются ввысь, стены биржи и столики кафе сотрясаются от буйства криков. Поцелуи тоже дешевы, более чем дешевы — даром (и однако эти девушки, сколько мне помнится, все впоследствии вышли замуж и все до одной стали напористыми матронами).

На ребенка, воспитывающегося в такой среде, она может оказать дурное или хорошее влияние, это зависит не от среды, а от самого ребенка. Один впитает подлость (Полонский, русский поэт, написал роман из жизни Одессы и назвал его "Дешевый город"), а другой, напротив, усвоит буйство, авантюризм, любопытство, неиссякаемую бодрость — так что каждое утро чудо — снисходительную улыбку, которою равно откликнется на поражение и на удачу. Странно: как раз в книгах английского поэта, воспитанного самой строгой традицией в мире, всю свою жизнь отстаивавшего эту традицию, нашел я отголосок этой психологии. Киплинг написал (я не помню дословно): "Победа или беда: умей отнестись равно хладнокровно **и к той и к другой**, ибо и то и другое — обман". На старости лет он обобщил опыт своей жизни, обратившись к Создателю: "Боже! Я обозрел всю землю Твою и не увидел на ней ничего обыденного: все, что я увидел, — чудо". Быть может, я тоже представитель этого второго рода.

Отрочество

В моей метрике значится: "Девятого дня месяца октября 1880 года родился сын у никопольского мещанина Евгения Жаботинского и его супруги Евы, которая нарекла его именем Владимир". Здесь три ошибки: отца звали Ионой, сыном Цеви, мать — Хавой, дочерью Меира, а родился я 5 октября, (18

по новому стилю), по расчету моей матери в неделю, когда в синагогах читают раздел Торы "Ваейра" ("И явился") из кн. Бытие. До своего семнадцатого года я жил в Одессе, дома и на улице мы разговаривали только по-русски, мама пользовалась идиш только в беседах с моими престарелыми тетушками; сестра и я научились понимать этот язык, но ни разу нам не пришло на ум обратиться к маме или к кому-нибудь другому на идиш. Сестра научила меня читать по-русски, было мне восемь лет, когда один из наших соседей вызвался обучать нас обоих древнееврейскому языку, и этот добрый человек был Иегошуа Равницкий. В течение нескольких лет, пока мы не сменили квартиру, я брал у него уроки, и я протестую против басни, будто я не знал слов "Берешит бара элохим...", до того как вступил в лагерь сионистской деятельности. Мама никогда не допустила бы этого! После появился у меня другой учитель, имя которого я забыл. Он готовил меня к бар-мицве. Читали мы с ним и стихи Иегуды Лейба Гордона. Один из сыновей дяди, который квартировал у нас в течение года, обучал меня французскому языку, а у сестры, изучавшей в гимназии английский, я взял несколько уроков этого языка.

Помимо уроков древнееврейского, в ту пору у меня не было никакого внутреннего соприкосновения с еврейством. После смерти отца я до конца года ходил три раза в день в небольшую синагогу ювелиров, что была неподалеку от нашего дома, но не участвовал ни в каких других молитвах, кроме кадиша. Дома строго соблюдался кашрут, мама зажигала свечи вечером в пятницу и молилась утром и вечером, и сестра тоже выучила благодарственную молитву и "Шма", но все эти обряды не проникли в наши сердца. В библиотеке еврейских служащих торговых предприятий, куда я бегал каждый день, чтобы сменить том, "проглоченный" мною накануне, было много еврейских книг. Я их не читал. Раз или два попробовал и не нашел в них никакого движения,

только печаль и уныние: "неинтересно". "Убеждений" у меня в эти дни и позднее, возможно, до двадцатилетнего возраста и далее, не было ни в том, что касается еврейства, ни по какому-либо социальному или политическому вопросу. Если бы меня тогда спросил христианский юноша, как я отношусь к евреям, я ответил бы, что я "люблю", но на вопрос еврея я дал бы другой и более полный ответ. Разумеется, я знал, что в конце концов у нас будет "государство" и что я тоже перееду туда жить, ведь это известно и маме, и всем тетушкам, и Равницкому, но это было не "убеждение", а такая же естественная вещь, как, например, помыть руки утром и съесть тарелку супа в обед.

Я ошибся: одно "убеждение" выработалось у меня еще на заре детства, и по сей день оно определяет все мои отношения к обществу. Правда, некоторые люди утверждают, что это не убеждение, а мания. Поистине, я помешался на идее "равенства". Тогда эта моя склонность выражалась в гневных протестах против всякого, кто осмеливался обратиться ко мне на "ты", а не на "вы" – то есть против всего совершеннолетнего человечества. Этой мании я остался верен по сей день: на всех языках, на которых имеется это различие, даже к трехлетнему ребенку я не обращусь иначе, чем на "вы", и если бы я даже захотел поступить иначе, то не смог бы. Я ненавижу всей душой, и это органическая ненависть, которая берет верх над всяким аргументом, над рассудком и над самим бытием, любое представление, которое намекает на "неравноценность" людей. Возможно, это не демократизм, а нечто противоположное ему: я верю, что каждый человек – царь, и если бы я мог, то создал бы новое общественное учение, учение о "панбасилевсе".

Когда мне исполнилось семь лет, мама послала меня в частную школу, учрежденную двумя еврейскими девицами, госпожой Лев и госпожой Зусман. В ней было два класса, одна девица была учитель-

ницей по общеобразовательным предметам в первом классе, а другая — во втором. Мальчики и девочки учились вместе: очень редкая вещь в те дни. Я бегло описал эту школу в рассказе "Белка", также как историю моей отвергнутой любви, вспыхнувшей в соседстве с женской купальней: правда священна. Добавлю только, что я не помню, чтобы мы учили что-нибудь "еврейское" — историю еврейского народа, например, или молитвы, — и то обстоятельство, что именно этого я не помню, характерно для моей "национальной" индифферентности, о которой я упоминал ранее.

Четыре раза держал я экзамен для поступления в гимназию, в реальное училище, в коммерческое училище — и проваливался. С 1888 года был введен закон, согласно которому в государственные учебные заведения принимался один еврей на девять христиан, и поэтому возросла конкуренция между экзаменующимися Моисеева закона. Поступить удавалось лишь настоящим вундеркиндам или тем, чьи родители давали солидный куш учителям, а я был гол с обоих боков. Наконец, не знаю каким чудом, меня приняли в подготовительный класс второй прогимназии, курс обучения которой я завершил в возрасте 14 с половиной лет и перешел в пятый класс Ришельевской гимназии. Два этих учебных заведения я ненавидел, как и все гимназисты: до сих пор, услышав от своих маленьких друзей, что они любят свою школу, я только диву даюсь. Отпетым и закоренелым лентяем был я все годы своей учебы, ненавидимым большинством учителей, и не было счета скандалам и конфликтам, которые возникали у меня с чиновниками от российской педагогики.

Из этой цепи происшествий упомяну одно: меня прогнали с выпускного экзамена в прогимназии. Я передал соседу шпаргалку с переводом латинского отрывка, учитель перехватил ее, и нас обоих отослали домой, и только после каникул нам разрешили экзаменоваться снова. Я не знаю другого примера та-

кого наказания за столь мелкое преступление, но между мной и учителями существовала взаимная ненависть.

Должен, однако, признать, что я почти не чувствовал антисемитского духа в этих государственных учебных заведениях: может быть, потому, что вообще русское общественное мнение – правое и левое – было погружено в спячку весь этот период, вплоть до последних лет XIX века, недаром называют его в России "безвременьем", то есть периодом безликости. Ни со стороны наших учителей, ни со стороны наших однокашников, мы, еврейские ученики, не испытывали гонения, и, что всего страннее, несмотря на это, мы всегда держались особняком от своих христианских товарищей. Нас было десять в классе: сидели мы вместе, и если встречались в частном доме, чтобы играть, читать или просто болтать – все это было только в своем кругу. Лишь у некоторых из нас были друзья из русского лагеря. Меня, например, связывала верная дружба со Всеволодом Лебединцевым, отличным юношей, чье имя будет еще упомянуто в этом повествовании. Много раз я ходил к нему в гости, и он навещал меня, но ни разу не пришло мне на ум ввести его в наш обособленный круг, и он не ввел меня в свой круг, – хотя мне и неизвестно, был ли у него "круг". Еще более странно, что и в нашем еврейском "кругу" не веяло еврейским духом: если мы читали вместе, то иностранную литературу, предметом наших споров были Ницше и вопросы морали, морали вообще или морали половой, а не судьба еврейства и не положение евреев в России, которое тяготело над всеми нами.

Кроме отрывочного знания латыни и греческого (и это я ценю по сей день), всему, чему я выучился в детские годы, я выучился не в школе. Разумеется, я много читал, без руководства и наблюдения, но по воле случая я мог выбирать. Прежде всего, от времени отцовского величия нам остался книжный шкаф, в котором я нашел все сочинения Шекспира

в русском переводе, Пушкина и Лермонтова. Этих трех авторов я знал от доски до доски еще до того, как мне исполнилось четырнадцать лет, и еще и поныне не без труда нахожу я стихотворение Пушкина, которое не было бы мне знакомо и которого я не знал бы до конца. Но остальную русскую литературу я и тогда не очень жаловал (быть может, кроме поэзии), да и теперь она чужда моему духу. Я не склонен углубляться в бездны души, сердце мое вожделеет действия, моими любимцами в детстве были приключенческие писатели, которыми зачитывались мои сверстники, и я сожалею, что новое поколение молодежи, как я слышал, отошло от них: от Майн Рида, Брет Гарта, Вальтера Скотта и им подобных. Этот выбор, банальный и здоровый, спас меня от преждевременной духовной зрелости, болезни молодежи, которая появилась в позднейший период. Когда же я исчерпал все богатства той библиотеки, и в ней не осталось ни одной не прочитанной мною приключенческой книги, и я был вынужден перейти к "серьезной" литературе, я предпочитал таких иностранных авторов, как Диккенс и Золя, Шпильгаген и Джордж Элиот гениям русского романа – из страха перед психологией. И все же, следует признать, что наиболее сильное впечатление произвела на меня русская книга – "Обрыв" Гончарова: этот роман обозначил духовную границу между моим детством и юностью, сам не знаю почему. С другой стороны, четыре творения из сокровищницы мировой поэзии, которые я любил больше всего (и люблю поныне), служат решительным доказательством поверхностной простоты моего вкуса: "Сирано" Ростана, "Сага о Фритьофе" Тегнера, "Конрад Валенрод" Мицкевича (мой польский однокашник в прогимназии научил меня своему языку) и больше всего – "Ворон" Эдгара По. Будь я богат, я бы сделал себе подарок: эти четыре вещи, переплетенные вместе, каждая из них на языке оригинала, памятники культа великолепного жеста и прекрасного слова, которого

я не встречал в жизни.

Не подумайте, упаси Боже, что в эти годы я был домоседом. По вечерам я читал, но всякий свободный час до наступления сумерек я проводил в городском парке (парк в Одессе по своему размеру занимает изрядную часть самого города) или на берегу моря. Порою я отправлялся поутру в гимназию, — но вот улыбается солнышко, распустилась сирень... и я бросал ранец в бакалее, что была около нашего дома, и бежал в порт ловить раков на огромных камнях мола, которые называются "массивами". В парке с компанией таких же бездельников я играл в "казаков и разбойников" и возвращался домой, гордясь царапинами и синяками на лице и на теле, полученными от соприкосновения с палкой, мячом или камнем. Однажды я и еще двое товарищей заплыли так далеко, что встревожился смотритель пляжей и погнался за нами на лодке с багром в руках. Несколько лунных ночей мы провели на арендованной шаланде (возможно, без ведома самого рыбака), которая заплыла за маяк. Мы сочиняли русские морские песни или нашептывали нежные признания девушкам.

Было мне 15 лет, и я учился первый год в гимназии Ришелье, когда один из еврейских учеников пригласил меня к себе домой и представил своим сестрам. Одна из сестер играла на рояле, когда я вошел в комнату; впоследствии она призналась мне, что странное явление — негритянский профиль под буйной шевелюрой — заставило ее расхохотаться за моей спиной. И все же в тот первый вечер я снискал ее благосклонность, когда назвал ее — первый из всех ее знакомых, "мадемуазель". Было ей десять лет и звали ее "Аней", Иоанной Гальпериной, и это моя жена.

И ремесло свое я избрал тоже в детстве: начал писать еще в десятилетнем возрасте. Стихи, разумеется. "Печатал" я их в рукописном журнале, который издавали два молодых человека, ученики не моей

школы (один из них, если я не ошибаюсь, теперь посланник советов в Мексике); позднее, в шестом классе, мы в нашей школе тоже основали тайную газету, и ее мы уже распространяли на гектографе, а я был одним из ее редакторов. ”Тайную!” Ибо это было запрещено согласно российским законам вообще и гимназическим правилам в частности; однако в нашей газете не было даже намека на ”политику”, не из страха, а из того равнодушия к ней, которое я описал ранее, и тем не менее газета наша называлась ”Правдой”, и главный редактор, христианский юноша, чьи родители были выходцами из Черногории, влюбился в том году сразу в двух девиц. Одну из них звали Лидой, а другую Леной; в конце концов верх взяла первая, и он избрал всевдоним Лидин, которым подписывал свои статьи; если бы победу одержала Лена, то он подписывался бы Лениным!

Я перевел на русский язык ”Песнь песней” и ”В пучине морской” И. Л. Гордона и послал их в ”Восход” – не напечатали. Перевел ”Ворона” Эдгара Аллана По и послал в ”Северный вестник”, русский ежемесячный журнал в Петербурге, – не напечатали. Написал роман, название и содержание которого я не помню, и послал его русскому писателю Короленко, и он из вежливости ответил мне, то есть посоветовал ”продолжать”. Не сосчитать всех рукописей, что я посылал редакторам и получал назад – или не получал – в возрасте между 13 и 16 годами. Я уже отчаялся в своей будущности, уже страшился, что мне написано на роду быть адвокатом или инженером. Однажды я случайно развернул ежедневную одесскую газету и нашел в ней статью под названием ”Педагогическое замечание”. Моя статья! Довожу до сведения грядущих поколений дату – 22 августа 1897 года – и содержание: острая критика системы выставления отметок в школах, ибо такая практика может вселить зависть в сердца слабых учеников.

В эти дни в Одессе жил Александр Федоров, известный русский поэт. Он увидел перевод ”Ворона”,

пригласил меня к себе, ободрил меня и представил редактору газеты "Одесский листок". Я спросил последнего: "Стали бы вы публиковать мои корреспонденции из-за границы?" И получил ответ: "Возможно. При двух условиях: если вы будете писать из столицы, в которой у нас нет другого корреспондента, и если не будете писать глупостей".

У него были корреспонденты во всех европейских столицах, за исключением Берна и Рима. Мама просила: "Только не в Рим! Поезжай с Богом, раз ты уж решил оставить гимназию, но на худой конец в Берн, там среди студентов есть дети наших знакомых".

Кстати, среди прочих волшебных сказок, которыми незаслуженно разукрасили летопись моей жизни, слышал я и такую, будто меня "исключили" из гимназии. Боюсь, что если бы я не оставил тогда ее, в конце концов меня бы действительно выгнали, но случайно я ушел из нее по своей доброй воле еще до этого неотвратимого события.

Ибо мне атмосфера гимназии опротивела, и я решил оставить ее при первой же возможности, даже не закончив курса. Жестоко боролся я за это решение с членами своей семьи, родственниками и знакомыми. Молодой читатель не поймет, что значила "гимназия" в глазах еврейского общества сорок лет тому назад: аттестат зрелости – университет – право жительства вне "черты", – короче говоря, человеческая, а не собачья жизнь. А я уже ученик седьмого класса, еще полтора года, и я смогу надеть синюю фуражку и черную тужурку студента. Что за безумие пожертвовать такими возможностями и разрушить их, и, прежде всего, Бога ради, почему?

Хоть убейте меня, я не знал почему. Потому. И, быть может, нет объяснения тайнам хотения, которое более точно выражало бы их, чем "потому".

Де Монзи, известный французский политик и друг сионизма, однажды сказал мне: "Я понимаю в сионизме все, кроме постановки вопроса о языке". И

он привел мне с большой аналитической силой и превосходной логикой множество убедительных аргументов против древнееврейского языка, который разрушает всякую связь между мировой культурой и "народом, который создал эту культуру". Я искал удовлетворительный ответ, не нашел и ответил: "И все-таки древнееврейский язык. Почему? Потому". Де Монзи воздел руки горе и сказал: "Теперь я понял. Вы правы. Страсть, не поддающаяся объяснению, выше всяких объяснений".

Не следовало бы вспоминать об упорном характере народа, собираясь всего лишь поведать о подростке, улизнувшем из школы. Но это был не единственный случай в моей жизни, когда я покорялся необъяснимому "потому", и я не раскиваюсь.

Был у меня в Одессе дядя, старший брат матери, дядя Абрам, состоятельный коммерсант, знаток древнееврейского языка и бритый маскил*, человек умный и многоопытный. Он – единственный из всех родственников – ни разу не спросил меня "почему?", но в канун моего отъезда, когда я зашел проститься с ним, сказал мне вещь очень разумную и полезную:

– Я слышал, что ты хочешь стать писателем и ради этого избрал странный путь. Это не мое дело. Но вот что ты должен помнить: если ты преуспеешь, все согласно станут уверять, что ты умница, а если не повезет, скажут: "невежда, и мы всегда знали, что он просто дурак".

Весной 1898 года я оставил гимназию и отправился в Швейцарию, и этим завершился период моей юности и созревания. Было мне 17 лет, был я не очень "симпатичный", ибо склонялся к парадоксам и позе и имел преувеличенное мнение о себе, и не было у меня плана или линии в жизни, одна лишь жажда жить.

*Маскил – приверженец просветит. движения Хаскала.

Берн и Рим

Я проехал через Подолию и Галицию, третьим классом, разумеется. Поезд полз, словно черепаха, останавливаясь во всех местечках. На всех станциях, днем и ночью, в вагон входили евреи; на перегонах между Раздельной и Веной количество слышанного на языке идиш было больше, чем за все прошлые годы моей жизни. Не все я понимал, но впечатление было сильным и горестным. В поезде я впервые соприкоснулся с гетто, своими глазами увидел его ветхость и упадок, услышал его рабский юмор, который довольствовался вышучиванием ненавистного врага вместо бунта... Теперь, состарившись, я научился различать под покровом этого пресмыкательства и насмешки достаточную степень гордости и смелости; тогда я не знал этого, тогда я склонял голову и молча вопрошал себя: и это наш народ?

В Бернском университете (который размещался в том же здании, что и главное полицейское управление) я записался на отделение права. Признаюсь к своему стыду: я не помню имен своих профессоров, кроме имени еврея Рейхсберга, да будет земля ему пухом, из уст которого я впервые услышал об учении Карла Маркса. Гораздо больше заинтересовала меня жизнь "русской колонии". Было в ней около трех сотен душ, в большинстве своем евреев и евреек, и я был самым молодым из них. Сначала я несколько выделялся, потому что решил быть вегетарьянцем и не столовался в их общественной столовой. Но мои попытки самому готовить себе окончились неудачей: поныне помню я "какао" собственного производства — плотные коричневые комья, плавающие на поверхности молока, которое чаще всего перекипало и сбегало на пол, прежде чем я успевал снять кастрюлю со спиртовки. После двух недель такого режима, в продолжение которых я был голоден, словно целая волчья стая зимой, я отчаялся в своей вегетарьянской вере и обратился в постоянного посетителя столовой

колонии.

Я не стану описывать жизнь колонии, это уже делали неоднократно. Описано уже и то пьянящее и завораживающее впечатление от перехода из царства гробового молчания, каким была Россия сорок лет тому назад, к этому шумному бурлению. Все слова, запрещенные в России, превратились здесь в обыкновенные слова вроде "здравствуйте", "спасибо" или "пожалуйста". Революционная литература, о которой еще какой-нибудь месяц назад мы говорили только шепотом и намеками между собой в Одессе, здесь вся была в книжном шкафу, доступном каждому. Свобода — это свобода говорить и спорить, но не действовать. Мы жили под сенью Альп, а видели во сне Волгу. Мы уподоблялись шутихе, рассыпающей свои искры с невероятной скоростью, поскольку она вертится в воздухе, не связана ни с каким двигателем и ничто ее не сдерживает.

Дважды в неделю собирались сходки в колонии, на которых, как правило, велись споры между фракциями Ленина и Плеханова или между "эсдеками" и "эсерами" (люди моего поколения помнят, в чем заключалось различие между ними, остальным нет смысла и объяснять). Иногда устраивались "вечера", пели русские песни, но Житловский — не помню, учился ли он в Бернском университете или его на какое-то время занесло к нам, — требовал неизменно, чтобы пели также песни на идиш. Однажды колонию посетил Нахман Сыркин и много говорил о слиянии сионизма и социализма. Он не нашел большого числа приверженцев, потому что среди нас было еще мало сионистов. Но мне хорошо запомнилась эта беседа, ибо я тоже выступил с речью, впервые в моей жизни, и при том с "сионистской" речью. Я говорил по-русски примерно так: не знаю, социалист ли я, ибо я еще не познакомился как следует с этим учением, но то, что я сионист, — несомненно. Ибо еврейский народ очень скверный народ, соседи ненавидят его — и поделом, изгнание его ожидает,

Варфоломеевская ночь, и его единственное спасение в безостаточном переселении в Палестину. Председатель собрания – молодой Лихтенштейн (годы спустя он стал почтенным деятелем в Палестине и там умер несколько лет тому назад), перевел мою речь на немецкий язык с энергической лаконичностью: "Оратор не социалист, потому что он не знает, что такое социализм, но он законченный антисемит и советует нам укрыться в Палестину, иначе всех нас вырежут". Видно, впечатления от поездки через Галицию проникли в самую глубь моей души! После окончания собрания ко мне подошел Хаим Раппопорт (один из нынешних руководителей коммунистических лидеров во Франции) и сказал, улыбаясь во весь рот: "Я не предполагал, что в среде **русской** молодежи сохранился еще такой зоологический юдофоб!" "Но я не русский!" – воскликнул я. Он не хотел поверить мне.

В это же лето я начал свою литературно-сионистскую деятельность, избрав на сей раз более подходящую форму: в петербургском ежемесячном журнале "Восход" я напечатал стихотворение "Город мира". Боюсь, я позабыл, чему учил меня Равницкий и что слово "עיר" ("город") начинается с буквы "ע" и думал в простоте душевной, что "ירושלים" следует переводить как "город мира". Теперь я, разумеется, знаю, что это противоречит и правописанию и действительности.

Осенью я переехал учиться в Рим и оставался там три года подряд. Если есть у меня духовное отечество, то это Италия, а не Россия. В Риме не было никакой русской колонии. Со дня прибытия в Италию я ассимилировался среди итальянской молодежи и жил ее жизнью до самого отъезда. Все свои позиции по вопросам нации, государства и общества я выработал под итальянским влиянием. В Италии научился я любить архитектуру, скульптуру и живопись, а также литургическое пение, над которым в те времена потешались приверженцы Вагнера и теперь

потешаются приверженцы Стравинского и Дебюсси. В университете моими учителями были Антонио Лабриола и Энрико Ферри, и веру в справедливость социалистического строя, которую они вселили в мое сердце, я сохранил как "нечто само собой разумеющееся", пока она не разрушилась до основания при взгляде на красный эксперимент в России. Легенда о Гарибальди, сочинения Мадзини, поэзия Леопарди и Джусти обогатили и углубили мой практический сионизм и из инстинктивного чувства превратили его в мировоззрение. В театре уже сошли со сцены Сальвини, Росси, Аделаида Ристори; Д'Аннунцио писал лучшие свои пьесы для Элеоноры Дузе, Эрмети Нобели возродил классическую трагедию от Шекспира до Альфиери, Эрмети Цакони предоставил права гражданства в душе южной публики горькому колдовству Ибсена, Толстого и Гауптмана; и место на деревянной скамье на галерке в театре стоило от 40 грошей до лиры, не считая четырех часов стояния в "хвосте" до открытия дверей. В большинстве музеев я чувствовал себя как дома; не осталось ни одного заброшенного уголка в переулках предместий Богго и по ту сторону Тибра, который не был бы знаком мне, и почти в каждом из этих предместий мне довелось снимать квартиру, здесь месяц, там два, потому что неизменно после опыта первой недели хозяйки, жены торговцев или чиновников, вечно на сносях, протестовали против непрерывной сутолоки в моей комнате, визитов, песен, звона бокалов, криков спора и перебранок и наконец всегда предлагали мне подыскать себе другое место, чтобы разбить там свой шатер.

Славной страной была Италия тех дней, на пороге XX столетия. Если бы от меня потребовали найти слово, которое передает в полной мере общую основу всех потоков политической мысли, взаимоборствовавших в итальянском обществе, я избрал бы тот устаревший термин, над которым уже тогда смеялись и который теперь стал сущей мерзостью и табу в

глазах молодежи в Италии и во всем мире: "либерализм". Это понятие широкое, расплывчатое благодаря своей широте: мечта о порядке и справедливости без насилия, всечеловеческое видение, сотканное из сострадания, терпимости, веры в то, что человек по природе своей добр и справедлив. Тогда еще не ощущалось в воздухе ни малейшего намека на тот культ "дисциплины", который нашел свое выражение в фашизме. Если сохранились в моей памяти симптомы, предвещавшие уже тогда приближение какой-то перемены в умах, то еще не Муссолини предвещали они, а Маринетти, литературное и философское течение, присвоившее себе (и это тоже произошло не тогда, а несколько лет спустя) титул "футуризма", течение, историческое назначение которого, возможно, состояло в том, чтобы послужить прологом для движения Муссолини. Среди моих товарищей студентов я уже знал нескольких, которые с горечью и гневом протестовали против иностранного туриста, упорствовавшего в своем восприятии Италии как "музея", хранилища остатков прошлого великолепия, относившегося к новому итальянцу как если бы он был лишь элементом пейзажа: элементом, радующим глаз, если это лаццарони, одетый в лохмотья и играющий на мандолине, элементом излишним и мешающим, если он пытается строить фабрики, которые портят впечатление от живописного вида древних руин. Из уст этих избранных я уже слышал: "Придет день, и мы пошлем ко всем чертям этих туристов. Новая жизнь, фабричные трубы – вот истинная Италия; может быть, лучше сжечь все картины от Ботичелли до Леонардо, разбить все скульптуры, и на месте Колизея построить колбасную фабрику". Словно раннее эхо учения Маринетти слышится в этих идеях: аэропланы прекраснее трелей неаполитанского романса, будущее лучше прошлого; Италия – страна фабрик, страна машин и электричества, она никак не выпас для прогулок мирового безделья, которое ищет в ней эстетическую забаву;

новый итальянец – любитель порядка, организатор, педант в ведении бухгалтерских книг, строитель и завоеватель, упорный и жестокий – таково было предвестье фашизма. Но в те дни даже Маринетти еще не знали. По долгу журналиста (я перешел в газету "Одесские новости", и она осталась моей постоянной газетой почти до самой мировой войны) и по внутренней склонности я всматривался с особой пристальностью в жизнь Монтечитторио, то есть здания, в котором помещалась палата депутатов Италии. Его лицо мало чем отличалось от лица большинства парламентов той наивной эпохи: "правое" правительство и "левая" оппозиция. Но как умеренны были и "правые" и "левые" по сравнению с сегодняшним экстремизмом с обеих сторон! Во главе "левых" стояла, разумеется, фракция социалистов, и к ней примыкал духовно и я, хотя ни разу ни в Италии, ни в России я формально не вступал в партию. Ее конечную цель – национализацию орудий производства – я считал тогда естественным и желательным последствием развития общества; я верил также в то, что "рабочий класс" – знаменосец всех неимущих, независимо от того, наемные ли они рабочие, лавочники или адвокаты без клиентуры. Еще не обозначилось со всей резкостью и точностью эгоистическое содержание "классового сознания", которое только после победы Ленина в России раскрылось в полной мере. Антонио Лабриола, главный глашатай марксистской доктрины в Италии, проповедовал ее не только с университетской кафедры: ежевечерне встречался он со своими студентами в кафе "Эранио" на улице Корсо (теперь она называется Корсо Умберто). Я тоже был в числе этих студентов. Он беседовал с нами о событиях в Италии и за границей, о Трансваальской войне, о "боксерском" восстании в Китае, о прошлом и о будущем. Он относился к нам как наставник и советчик: однажды он велел мне сопровождать его ночью и по дороге выговаривал за то, что за день до этого видел меня в компании

нескольких юношей, подозреваемых в склонности к анархизму.

Энрико Ферри я лично не знал, но он оказал еще большее влияние на мой ум, чем Лабриола. Официально его курс в университете назывался "Уголовное право", то есть был посвящен учению о преступлении и наказании, но его лекции отличались поистине энциклопедической широтой, охватывая ближнее и дальнее, явное и тайное, общество, душу, наследственное право, материю и дух, переустройство общества, литературу, искусство и музыку. Также благодаря своему ораторскому искусству он властвовал над нами: он считался, если я не заблуждаюсь, одним из десяти лучших ораторов в Европе своего поколения, собратом Жореса по гениальности в этой области, — но Жореса мне не довелось слышать.

И странное дело: не было проблемы, которой мы не занимались бы в кружке Лабриолы или в своем студенческом кругу — от положения негров в Америке до поэзии декадентов, кроме единственного вопроса, которого мы никогда не касались — еврейского вопроса. Помню, однажды вечером, в ходе спора о тех же декадентах, Лабриола подверг резкой критике книгу Макса Нордау "Вырождение" и припомнил при случае несколько других грехов автора, но и на сей раз обошел молчанием его самый большой грех — сионизм. Не умышленно — забыл, и все мы забыли, забыл и я. Не было тогда в Италии не только **антисемитизма**, но и вообще не было никакого выработанного **отношения** к евреям, как не было установившегося **отношения** к бородачам. Впоследствии (по прошествии многих лет) я узнал, что в числе наиболее близких мне членов этого кружка было два или три еврея; тогда однако, в годы моего учения в Риме, мне не пришло на ум спросить их, кто они, так же как они не спросили меня об этом.

Возможно, я допустил неточность, когда сказал: "Забыл и я". Возвращаясь всякий раз из Одессы в

Рим после каникул, я еще трижды проезжал не только Галицию, но и часть прежней Венгрии между Мункачем и Кашау (теперь их называют Мукачево и Кошице в Чехословакии) – области с плотным еврейским населением, и то же впечатление, что вызывало у меня тогда чтение истории итальянского Возрождения, возникло в моей душе, скорее неосознанное, подспудное, но, быть может, и более сильное. Не **забыл**, возможно, уже тогда дал я обет в душе, что после лет учения отдамся сионистской работе, ведь я подмечал все то, что относилось к идее еврейского государства. Но этот "обет" был пассивным обетом: я не думал о нем, не интересовался даже конгрессами, которые собирались из года в год в Базеле, и после единственного "туристского" посещения римского гетто (и это тоже только благодаря историческому палаццо семейства Беатриче Ченчи) больше не посещал его. Признаюсь со стыдом в еще большем преступлении: как-то раз, находясь в веселой компании девушек и юношей, в ходе их беседы (полупочтительной, полунасмешливой) об обычаях католической церкви одна из девушек, сидевшая возле меня, спросила: "А вы, господин, православный?" Я ответил утвердительно. Не знаю сам, почему я так ответил: нет сомнения, что я не упал бы в их глазах ни на волос, если бы сказал правду, – но возможно, я опасался, что потеряю в их мнении, если признаюсь перед этими свободными людьми в том, что я раб.

...Однако все это лишь одна сторона моих римских воспоминаний, и не самая существенная. Главным в этот мой римский период была **жизнь**, жизнь молодого, здорового и легкомысленного существа, живущего, как и все остальные итальянцы вокруг. Я настолько ассимилировался в этой среде, что не выделялся из нее. Это был единственный период во всей моей жизни, когда я действительно жил в другом народе, одной жизнью с гражданами этой страны. С русскими в России я почти совсем не "жил". А

теперь, вот уже более десяти лет я обитаю в Париже среди эмигрантов – словно оказался на заброшенном острове в обществе спасшихся после кораблекрушения, как будто кроме нас никого здесь нет, так что мало-помалу я забываю французский язык... Итальянский по сей день для меня мой язык, возможно, даже в большей степени, чем русский, хоть я теперь и запинаюсь и подыскиваю забытые слова в разговоре. Тогда, в дни моей молодости, я говорил по-итальянски, как итальянец, жители Рима принимали меня за уроженца Милана, а сицилианцы за римлянина, но не за чужеземца. Между моими и их мыслями, реакциями, выражениями радости и гнева и повседневными привычками не было никакого различия. Нет недостатка в людях, которые назовут такой образ жизни пустой тратой времени и сил, но я не сожалею. Действительно ли "промотал" свою молодость тот, кто умел и выпить и погулять, познал легкие суетные удовольствия и сумасбродства, отдал молодости то, что ей причиталось, и только пройдя этот коридор, ступил на порог зрелости со всеми ее заботами? Я видел жизнь русской колонии в Берне, видел впоследствии жизнь своего поколения в России, которая готовилась к трем революциям, и читал слова Бялика, приговор и горестный и уничтожающий: "Душу мою сжег ее собственный пламень". Души своей я не сжег, во всяком случае, даже если я и обжигался иногда, то это был не внутренний сухой огонь, но огонь действительности, ожог от контакта с людьми и вещами вне меня самого. Так лучше, и я не раскаиваюсь.

Я повествовал о фрагментах из этой жизни (разумеется, сильно приукрашивая их) на страницах "Новостей". Когда не было другой темы или цензор решал "зарезать" мою статью, я писал "Итальянский рассказ". Большинство этих рассказов невозможно спасти от могилы, да и не имеет смысла – для читателя; но я, если речь идет обо мне, быть может, получил бы все-таки удовольствие от беглого обо-

зрения глав моей юношеской глупости. Не изобразил ли я в них коммуну, которую мы основали с компанией таких же сумасбродов, как я сам? Не рассказал ли я о деле Пренады, невесты моего друга Уго, которую мы выкупили из публичного дома и вывезли оттуда в торжественной процессии с мандолинами и факелами? А спор, который вспыхнул между мною и Уго, тем самым другом моим Уго, и как я послал двух "секундантов", чтобы вызвать его на дуэль от моего имени, и как уже было назначено утро для нашей встречи на вилле Борджиа, и куплены пистолеты, и особый совет наших товарищей-студентов провел несколько ночей за "Рыцарским кодексом" (Il Codice Cavalleresco), пока они не отыскали в нем параграф, согласно которому не было основания для поединка в таком случае (а вот в чем заключался сам **случай**, я уже забыл)? Или появление мое в официальном качестве свата, в черном фраке и желтых перчатках, когда я уселся перед синьорой Эмилией, прачкой и женой извозчика, и от имени своего товарища Гофридо просил "руки" ее старшей дочери Дианы?

Я много писал. Дважды в неделю мои письма печатались в "Новостях" под псевдонимом "Альталена" (признаться, я избрал этот псевдоним по смехотворной случайности: тогда я еще не слишком хорошо знал итальянский и полагал, что это слово переводится как "рычаг", лишь впоследствии я выяснил, что оно означает "качели"). Некоторое время спустя мои статьи стали печататься в петербургском "Северном курьере", либеральной газете, издаваемой князем Баратинским; некоторые вещи я печатал по-итальянски в социалистическом "Аванти", а одну довольно большую статью опубликовал в римском ежемесячнике, название которого не помню, — о "литературе настроения" в России, о Чехове и его направлении, я и Горького причислил к этому разряду. В то время мы знали Горького только по коротким рассказам, казавшимся отголоском учения

Ницше, которое облекалось в русское одеяние. Он прославлял людей воли и действия, казнил презрением рабов "рефлексии", выхолащивавших и глушивших всякое смелое начинание. Читателям ежемесячника я представил Чехова и Горького в виде двух противоположных концов одной и той же логической цепи: один выражал уныние, тоску, жажду перемен, и да здравствует перемена, строить или разрушать – все равно; а другой отвечал: отдайтесь на произвол судьбы, живите в полную силу, и будь что будет! Я упоминаю о содержании этой статьи здесь потому, что впоследствии нашел эти противоположные концы одной цепи и в поэзии Бялика: первую – в "Далекой звезде", вторую – в "Мертвецах пустыни".

Весной 1899 года я поехал в Одессу держать экзамен на аттестат зрелости со своими однокашниками, но провалился по очень важному предмету – по древнегреческому языку. Я вернулся в Рим и продолжил свои занятия там – вне университета больше, чем в нем. Летом 1901 года я снова приехал в Одессу, намереваясь затем вернуться в Италию и закончить курс обучения на юридическом факультете. К своему великому удивлению, однако, я обнаружил, что за это время я "приобрел имя" как писатель, и господин Хейфец, редактор "Новостей", предложил мне писать ежедневный фельетон с немалым месячным окладом в 120 рублей. Я не устоял перед этим искушением, отказался от диплома, от карьеры адвоката и от любимой Италии и остался в Одессе, начав новую главу в истории моей молодости.

Журналист

Эта новая глава длилась два года, и она – последний этап на моем пути к сионистской деятельности.

Я застал другую Россию. Вместо "уныния и тоски"

– нервическое беспокойство, всеобщее ожидание чего-то, весеннее настроение. За время моего пребывания за границей произошли важные события: революционные партии вышли из подполья, убили пару министров, там и сям вспыхивали волнения среди рабочих и крестьян, все студенчество было охвачено брожением. Нелегко объяснить молодому читателю общественную и политическую функцию, которую выполнял университет в эти дни. Назначение этого учреждения в качестве школы было совершенно забыто: университет превратился в фронт борьбы за освобождение. Если бы нас спросили: "Кто встанет во главе тогда, когда придет день?" – мы бы ответили в один голос: "Конечно, совет выборных студентов". Так оно в Одессе и было: когда разразилась первая русская революция 1905 года, рабочие-электрики обратились к студенческому совету и потребовали, чтобы тот дал приказ: тушить фонари на улице или нет?

В правительственных кругах уже замечались признаки смятения. Ослабла узда: вопреки предварительной цензуре (всякая строка без исключения, даже хроника и объявления, подлежали цензурной проверке перед печатаньем), в каждой газете появлялись крамольные статьи; опасные слова "конституция" и "социализм" произносились вслух на публичных лекциях. Я застал в Одессе "Литературно-художественный клуб": раз в неделю, по четвергам, мы собирались, чтобы обсудить новую книгу или пьесу, которую ставил в те дни городской театр, но во всех речах и докладах звучали намеки на "освобождение", и в спорах по поводу "Потонувшего колокола" Гауптмана сталкивались (каким образом – не знаю) принципы Маркса и "Народной воли". Всеволод Лебединцев, тот самый мой русский друг, которого я упоминал на первых страницах, делил свое время и энтузиазм между тремя устремлениями: он изучал астрономию в университете; проводил свои вечера в итальянской опере и ухаживал за молодой певицей

Армандой Делли-Абатти; а сверх того был активным членом партии эсэров. На мой вопрос, как все это совмещается в одной душе, он ответил: "Как ты не понимаешь, что все это одно и то же". Теперь мне этого не понять, но тогда это было мне понятно.

В таком же ключе писал и я сам. Несколько лет тому назад я случайно наткнулся на отрывки из статей тогдашнего "Альталены". Чепуха и болтовня, по моему отстоявшемуся и установившемуся мнению, теперешнему мнению. Но тогда, как видно, в этой болтовне таился некий глубинный намек, связывавший ее с основным вопросом эпохи. В этом меня убеждало не столько возрастание числа адептов и почитателей, сколько — и, быть может, даже в большей степени — гнев врагов. Враги объявились у меня с самого начала моей деятельности в качестве фельетониста, и не только из лагеря консерваторов, напротив, из таких же прогрессистов, как я сам, и к тому же из наших братьев, сынов Израиля. Такие люди были и в редакции "Новостей", и несчастный редактор Хейфец немало претерпел из-за моей статьи "Скрывают тенденцию газеты". С той же ненавистью я столкнулся и в Литературном клубе. Меня пригласили прочесть доклад, и я избрал тему: "Судьба литературной критики". Я попытался доказать, что эта профессия — профессия прославленная и важная в истории русской словесности, целью которой всегда было обнаружение **идеи** или **направления**, которые скрываются за художественным образом, уже выполнила свое назначение и отжила свой век, ибо "есть периоды мысли и есть периоды действия, и наш век — век действия". К моему вящему удивлению, мой доклад был принят с гневом со всех сторон, оратор за оратором поносил и бранил меня, и когда, наконец, подошла моя очередь выступить с ответным словом, председатель, человек спокойный и вежливый, один из уважаемых членов греческой общины, объявил, что не предоставит мне слова, ибо "аплодисменты, раздавшиеся после последних речей,

служат удовлетворительным завершением этого диспута". Я не думаю, что в этом проявилась некая смутная склонность к антисемитизму: еврейские докладчики в большом числе выступали с той же кафедры, и ко всем к ним публика относилась с любовью или равнодушием; среди моих хулителей были и евреи, и христиане, и единственный, кто защищал меня, был как раз христианин. Не антисемитизм, а другая причина, причина, которая была связана, как видно, со мной, – некое особое качество или свойство, вызывавшее раздражение. После этого первого опыта я несколько раз убеждался в одном: то, что прощалось другому, не прощалось мне. Даже от друга я слышал: "Ты обостряешь противоречия". Возможно, в продолжение этого рассказа мне еще представится случай указать на эту неудобную особенность, которая часто запутывала и затрудняла мою общественную деятельность. И все же я наслаждался жизнью в эти годы. Ощущение "популярности", от которой теперь я хотел бы бежать на край света, сладостно и приятно юноше в двадцать один год. **Журналист** – это было важное звание в русской провинции тех лет. Приятно пройти (бесплатно) в городской театр, один из лучших в стране, и приятно, что капельдинер, одетый в ливрею эпохи Марии-Антуанетты, кланяется тебе и провожает к креслу в пятом ряду, в начале которого прибита табличка с гравированной надписью: "г-н Альталена". Редактор Хейфец умел подбирать способных молодых людей: под его крылышком начали свою литературную деятельность Кармен, автор рассказов о жизни босяков в одесском порту и голытьбы из нищих предместий, и Корней Чуковский, который ныне считается крупнейшим писателем красной России. Когда мы входили с ними в кафе, соседи перешептывались друг с другом: может, было бы лучше, если бы мы не слышали, что они шептали, но, поверьте мне, они пели нам дифирамбы, и Кармен подкручивал кончики своих желтых усов, Чуковский проливал свой стакан

на землю, ибо его чрезмерная скромность не позволяла ему сохранить спокойствие духа, а я в знак равнодушия выпячивал свою нижнюю губу, хотя и знал, что в этом не было надобности – она и без того была достаточно выпяченной от природы...

Этой осенью 1901 года городской театр поставил мою первую пьесу "Кровь". Кто поверит теперь, что в дни своей молодости я сочинил пацифистскую пьесу, против войн вообще и против Англии в частности? Я писал ее еще в Риме: тему, связанную с бурской войной, я взял из рукописи одного из своих друзей (он Гофридо в моем рассказе "Диана"), но изменил сюжет, ввел новые лица и т. д. и т. п.: три действия в стихах! Звезды нашей городской труппы с Анной Пасхаловой во главе играли в пьесе, но театр был пуст: может быть, пришли три сотни человек, может быть, меньше, и половина из них были мои приятели или знакомые. Они аплодировали, разумеется, и вызывали меня на сцену в конце спектакля. Я вышел кланяться, в черном и длинном рединготе, который я заказал специально к этому дню, наткнулся на подъемный канат и несомненно упал бы навзничь, если бы меня не удержала за руку госпожа Пасхалова. Я не спал всю ночь, встал, едва занялась заря, и побежал купить газеты, **все** газеты, даже "Полицейские ведомости", и проглотил рецензии, и они не отравили моей радости. Но только дважды, не больше, играли мою пьесу в Одессе... Год спустя, на той же сцене поставили мою вторую пьесу, тоже в стихах, но в одном действии, и в ней тоже играла Пасхалова (мы стали с ней друзьями, после того как она спасла меня от позора перед занавесом). На сей раз рецензенты не сжалились надо мной и приготовили, словно заранее сговорившись друг с другом, одни и те же остроты по поводу названия пьесы "Ладно". Они писали: "Неладно", "Нескладно".

Хотя я не помню, – и слава Богу, что не помню, – о чем я писал изо дня в день все эти два года, я уверен, что мои статьи не обнаруживали никакой

постоянной политической линии. Учение Лабриолы и Ферри? Я не отрекся от него в глубине души, но просто не прибегал к нему и не интересовался им. Может быть, только одну идею я подчеркивал и на страницах газет и в своих выступлениях с трибуны "Литературного клуба" (ибо, несмотря на обиду, я не прекратил посещать его): идею "индивидуализма", той "панбасилеи", о которой я уже упоминал несколькими страницами ранее и на которой, если бы Творец благословил меня достаточным умом и знанием, чтобы формулировать новую философскую систему, я основал бы и построил все свое учение: в начале сотворил Господь Индивидуума; каждый индивидуум – царь, равный своему ближнему; ближний твой – в свою очередь – тоже "царь", и уж лучше пусть личность прегрешит против общества, чем общество против личности; ради блага индивидуумов создано общество, а не наоборот; и грядущий конец истории, пришествие Мессии – это рай индивидуумов, царство сияющей анархии, игра взаимоборствующих человеческих сил, не стесненных законом и границами, и у общества нет иного назначения, кроме как помочь павшему, утешить его, поднять его и дать ему возможность снова вернуться к этой игре борений. Если вслед за этими томами, первый из которых ныне предлагается еврейскому читателю, появятся мои стихи "Ноэла" и "Шафлох" в прекрасном переводе Райхмана и они поразят читателя своим полным отрицанием обязанностей личности в отношении нации и общества, – то должен признаться, что такова моя вера по сей день.

Мне могут указать на противоречие между таким взглядом на вещи и содержанием моей национальной пропаганды: один из моих друзей, который читал эту рукопись, напомнил мне, что слышал от меня и другой припев: "В начале сотворил Бог нацию". Здесь нет противоречия. Разве второй куплет не сформулирован против тех, кто утверждает, что "в начале" сотворено "человечество": я верю всем своим

существом, что в состязании между понятиями **нация** стоит впереди **человечества**, так же как индивидуум стоит перед нацией. И если подчинит некий индивидуум всю свою жизнь служению нации, то и это не противоречие в моих глазах: такова его воля, а не долг. В небольшой пьесе "Ладно", которая была поставлена на одесской сцене в 1901 году, я посвятил длинный монолог этой идее. Быть может, и его г-н Райхман переведет, и он появится в одном из следующих томов тоже. Но вот вкратце его содержание: ты рожден свободным, свободным от долга по отношению к высокому и к низменному; не приноси жертв, ибо не из семени жертвы произрастет благословенный плод. Воле своей воздвигни алтарь, воля — твой единственный водитель, куда она поведет тебя — туда иди, куда бы ни вел твой путь, на небеса или в преисподнюю, и чем бы ни оказался: подвигом или грехом, празднеством или мытарством, или даже бременем служения народу: ибо и это бремя возложил ты на себя не как покорный раб, по приказу, а как свободный человек и как властитель, который осуществляет свою сволю. Кто знает, хоть я и состарился и уже не жду перемен в беге своей жизни, но, возможно, еще до конца повести моей жизни мне выпадет вписать в нее также главу, которая выпятит и воплотит эту мою главную веру.

Большинство читателей "Новостей" читали охотно мои статьи, но ни один из них не относился серьезно к ним и к их тенденции, и я знал это. Однажды — и это была, кажется, единственная из всех статей этого периода, которую стоило бы спасти от погребения, — я назвал себя и всех остальных своих собратьев по перу черным по белому "клоунами". Статья была направлена против одного журналиста из конкурирующей газеты, человека достойного, спокойного и безликого, не умного и не глупого, **анонима** в полном смысле этого слова, который стал для меня своего рода забавой и над которым я

потешался при всякой возможности и без всякой возможности, просто так. Однажды я обратился к нему прямо и написал: разумеется, без причины и нужды травил я тебя и буду травить, потому что мы **клоуны** в глазах бездельника-читателя. Мы болтаем, а он зевает, мы желчью пишем, а он говорит: "Недурно написано, дайте мне еще стакан компоту". Что делать клоуну на такой арене, как не отвесить пощечину своему собрату, другому клоуну?

К моему сионизму тоже относились как к чему-то несерьезному. Действительно, я не присоединился тогда еще ни к одной организации, не знал никого из сионистов в городе, но несколько раз посвятил один или два абзаца этой теме. В почетном петербургском ежемесячнике появилась статья некоего Бикермана, написанная в стиле, который величали в то время "научным". Он разносил сионизм в пух и прах, доказывал, что еврейскому народу выпала счастливая и завидная судьба. Я написал пространный ответ, с аргументами, к которым и ныне мне нечего прибавить; на другой день я встретился с одним из своих знакомых, Равницким, тоже несомненным почитателем Сиона. Он сказал мне: "Что это за новую забаву вы нашли себе?"

Жил я дома у мамы с сестрой. У них произошли большие перемены за время моего пребывания в Италии: сестра вышла замуж за врача, уроженца Александровска-на-Днепре. Это река и город отца. Я побывал там. Половина его жителей еще помнила "Иону", маму приняли, как вдовствующую царицу, и вечерами за чайным столиком на веранде нам рассказывали легенды о подвигах отца, о былом величии Днепра и об украинской торговле зерном. Полтора года спустя – я был тогда в Риме – умер зять, и в доме остались две вдовы и четырехмесячный младенец (теперь он инженер электрической компании в Хайфе). Сестра совладала с горем, открыла женскую школу и начала развивать ее мало-помалу в гимназию. Всегда в их квартирах была комната,

которую они называли "моей", и при каждом моем возвращении в Одессу требовалось только постелить простыни на мою кровать.

Однажды посреди ночи – это было в начале 1902 года – сестра разбудила меня и прошептала "полиция". Вошел офицер в голубом жандармском мундире. В течение часа он рылся в моих книгах и бумагах, нашел какую-то "запрещенную" брошюру и пачку моих статей, которые напечатали в итальянской газете, издававшейся в Милане, и предложил следовать за ним: "Я получил приказ доставить вас в Крепость". Я поцеловал маму и сестру. Они не плакали и не жаловались, мама только сказала мне тихо: "Да благословит тебя Господь", и мы уехали. Крепость находится далеко за городом, за горой Чумкой, позади христианского и еврейского кладбищ. Дорогу я скоротал за любезной беседой с околоточным надзирателем, и он сказал мне: "Читал я, сударь, ваши статьи; весьма недурственно".

Одесская крепостная тюрьма помещается в великолепном здании. Мне, слава Богу, есть с чем сравнить ее, и ни разу не была посрамлена моя патриотическая гордость. Она построена крест-накрест, в четыре этажа, внутренние перекрытия все из цемента и железа. Тогда еще не было в ней электрического освещения, и в камере, куда меня поместили, я нашел маленькую газовую горелку. Я лег и уснул как мертвый. Утром меня разбудили крики со всех сторон, то есть крики действительно раздавались со всех сторон, но разбудил меня один и тот же монотонный речитатив, который повторялся без перерыва и без остановки: "Новый сосед – номер 52 – подойдите к окну – не бойтесь – мы все друзья – все политические. Новый сосед – номер 52..." Не сразу я понял, к кому обращается кричащий, но в конце концов вспомнил, что на двери моей камеры я видел номер 52. Окно было высоко, но, подставив стул, я взобрался на широкий подоконник и представился соседям через железную решетку. Мне дали

кличку "Лавров", по имени одного из основоположников русского социалистического движения. "Желябовым" прозвали предыдущего обитателя моей камеры, который был уже в Сибири, и по традиции я должен был унаследовать это имя, но я отказался от этой опасной чести (настоящий Желябов был одним из убийц императора Александра II). Я узнал также клички своих соседей: "Гэд", "Мирабо", "Гарибальди", "Лабори" (в честь адвоката Дрейфуса), моего верхнего соседа прозвали "Саламандра", нижнего "Селезень", а один парень с верхнего этажа был "Господом Богом". Через сутки я уже знал наперечет истории большинства заключенных и их общественные обязанности в тюрьме. Половину из них посадили месяцем раньше за демонстрацию с красным флагом на Дерибасовской: "Гарибальди", столяр с Молдаванки, нес знамя и был смертельно избит во дворе полиции, о чем он рассказывал с очень веселым смехом. Некоторые были ветеранами движения, в частности "Мирабо", душа общества, неизменный председатель всех "собраний", верховный арбитр в спорах и высший духовный судья, выносивший решение по любому спорному вопросу марксистского учения, – это был Абрам Гинзбург, инженер из Литвы; года два тому назад его имя попалось мне на глаза в газетах красной России – ему был вынесен очень суровый приговор за "вредительство" на одном из процессов, характерных для советского режима. Горе государству пролетариата, если такие люди у него во "вредителях": был он достойный человек в полном смысле слова, образованный марксист, революционер без страха и упрека, прирожденный вождь. Лица его я не видел ни разу, но изо дня в день, семь недель подряд, я слышал его голос, когда он вел, расположившись на подоконнике, наше самоуправление, спокойно и корректно, тактично и уверенно.

Я написал – председатель всех "собраний", и поистине, такой свободы слова мы не знали даже в

Литературном клубе. Каждый вечер, когда стихал шум в крыле воров, которое было в другой стороне корпуса "крепости" (ибо эти простодушные люди засыпали с закатом солнца), мы проводили лекции с дискуссиями. "Мирабо" читал лекцию о великой французской революции, другой ветеран по прозвищу "Зейде" ("дедушка" на идиш) излагал нам историю Бунда; меня тоже пригласили прочесть лекции по вопросам моей профессии – о декадентах, о возрождении Италии (из уважения к "Гарибальди") и, разумеется, об "индивидуализме" (эту лекцию меня, однако, не попросили повторить). Для рабочих, попавших в это общество, тюрьма превратилась в школу революции. Проводились и демонстрации: Первого мая. Те, у кого были деньги, покупали в тюремном ларьке какой-то особый сорт табака. Табак был форменная отрава, но продавался он в красных бумажных пачках. Красную оберточную бумагу распределяли между всеми обитателями политического отделения. Вечером мы залепливали ею стекла наших ламп, а лампы выставляли в окнах; и гуляющие, которые ехали конкой к "Фонтану" или к "Аркадии", видели издалека красное освещение и аплодировали; возможно, они не аплодировали, возможно, также ничего не видели, ибо первого мая еще нет дачников. Но если уж выбирать между "действительностью" и легендой, то лучше верить в легенду.

Меня вызвали на допрос: в канцелярии тюрьмы я застал жандармского генерала и помощника гражданского прокурора, молодого человека, которого я несколько раз видел в Литературном клубе. Я спросил: "Запрещенная книга, которую вы нашли у меня, – это памятная записка министра Витте "Земство и самодержавие". Что в ней преступного?"

Мне ответили, что книга печаталась в Женеве. Это было очень скверно. Но в ней имелось также предисловие на четырех страницах, написанное Плехановым, и это было еще хуже. Помимо того, у меня нашли итальянские статьи, и они-то были подписаны

моим именем.

– Разве запрещается печатать статьи в Милане?

– Разрешается, более того – разрешается писать в них что угодно, если они не содержат ложных сведений, порочащих государство. Поэтому-то мы послали ваши статьи, сударь, официальному переводчику, который определит, не опорочили ли вы наше государство...

Семь недель провел я в этой тюрьме, и это одно из самых приятных и дорогих мне воспоминаний. Я полюбил своих соседей, хотя и не видел их лиц. Я поднаторел в "телефоне". Веревку с грузом на конце вращают за решеткой и в определенный момент отпускают, чтобы она полетела в сторону соседа, чья камера справа, слева или вверху и который должен поймать ее. Таким способом можно передать ему книгу, записку или красную бумагу. (В воровском отделении это устройство называлось "леха доди", ибо усилилось еврейское национальное влияние на этот особый народ и на его lingua franca.) Полюбил я и воров, особенно юношу, который приносил мне борщ и мясо со словами: шампанское! И даже начальника тюрьмы я полюбил, жандармов и стражников: они были вежливы и очень предупредительны с нами, то ли благодаря приказу свыше, то ли вследствие сложного положения в стране, ибо кто знает, не бросят ли их завтра в тюрьму и не наденет ли этот самый "Мирабо" голубой мундир?

Но через несколько месяцев после моего освобождения этой идиллии пришел конец. Однажды ночью стражники напали на моих друзей, избивая их кулаками и дубинками, а начальник "крепости" был уволен от службы без пенсии. Он встретил меня однажды на улице и спросил, не найду ли я ему другой должности.

Я вышел на свободу, потому что официальный переводчик не нашел в моих статьях "посягательств на достоинство государства", но тяжелого преступления – брошюры министра Витте – с меня не сняли

и мне запретили выезд из Одессы до суда. Я и не выезжал, кроме одного раза: в октябре того же года подошла моя очередь явиться для отбывания воинской повинности в Никополь, город, где родился мой отец. Прибыл туда я ночью, а уже на заре пришли жандармы, чтобы посмотреть, что в чемодане у одесского революционера. На призывном пункте я набрал очень большое число очков (ибо отбирали новобранцев по жребию) и вернулся домой счастливый и в полной уверенности, что до скончания своего века я не надену солдатской шинели.

Кишинев

Начало моей сионистской деятельности связано с двумя явлениями: с итальянской оперой и с идеей самообороны.

Всегда у нас в Одессе в зимний сезон гостила итальянская опера. В ту зиму царила Арманда Делли-Абатти, подруга моего приятеля Лебединцева, и он пропадал в театре каждый вечер. Однажды во время антракта я встретил его в буфете в обществе элегантного господина с черными усиками и западными манерами, которого я и прежде видел несколько раз, всегда на одном и том же месте, во втором ряду партера. Лебединцев представил нас друг другу: господин оказался специальным корреспондентом миланской газеты по вопросам музыки и пения.

Впоследствии я встретился с ним в доме госпожи Делли-Абатти. Там мы говорили по-французски и, выйдя на улицу с ним, я продолжал беседовать на том же языке.

— Мы можем говорить по-русски, — сказал он мне, — я такой же одессит, как и вы, хотя и родился в Литве.

Я и прежде знал, что он еврей — "синьор Зальцман". Уяснив это обстоятельство, я представлю теперь его по имени: Соломон Давидович. Он не утаил,

что сотрудничество с итальянской газетой для него всего лишь хобби, а главное его занятие – торговля, как и у всех евреев, и он поведал мне, что он – сионист.

Мы встретились еще несколько раз в театре, он показал мне свои статьи в итальянской газете, но ни о чем другом не говорили.

Между тем приближались дни Пасхи, Пасхи 1903 года. От некоторых знакомых я слышал странные тревожные речи, что в городе и во всей округе, во всей губернии витает опасность еврейских погромов: ничего подобного не происходило более двадцати лет. Один утверждал, что слухи – пустая болтовня и вздор, полиция не допустит; другой шептал, что полиция как раз и собирается организовать погром, третий советовал направить делегацию уважаемых еврейских граждан для переговоров с городским головой. Странные вещи, непривычные нам.

Я засел за стол и написал десяток писем десятку еврейских деятелей, большую часть которых я не знал. Я предлагал наладить самооборону.

Я не получил ответа, но прошла неделя, и ко мне заглянул друг детства, студент, у которого были контакты со всеми "движениями". Он сказал мне:

– Имя рек показал мне твое письмо, совершенно конфиденциально, разумеется. Зачем было писать? Прежде всего, именно те, к кому ты обратился, не осмелятся и не сдвинутся с места. И, во-вторых, и это главное, – здесь уже есть группа самообороны, пойдем и увидишь.

Мы поехали на Молдаванку, и там в просторной и пустой комнате, похожей на торговую контору, я увидел нескольких молодых людей, одним из них был Исраэль Тривус, мой друг с того дня и в отдаленном будущем также мой коллега по правлению движения ревизионистов. Имена других я запамятовал, а жаль – это была, насколько мне известно, первая попытка организовать еврейскую самооборону в России. Еще до того как разразился по-

гром в Кишиневе, мы поработали на славу: собрали деньги, до 500 рублей, если мне не изменяет память, — огромная сумма в наших глазах; Ройхвергер, владелец оружейного магазина, подарил нам двадцать револьверов, а остальные продал по дешевке, большей частью "в кредит", без надежды на оплату. Оружейный склад был в той же конторе: револьверы, ломы, кухонные ножи, ножи для убоя скота. В конторе круглосуточно дежурили двое; юноша за юношей, каждый с "запиской", с подписью одного из членов "комитета", приходят и получают то, что им причитается. Во второй комнате конторы мы поместили гектограф и на нем размножали листовки на русском языке и на идиш; их содержание было очень простым: две статьи из уголовного кодекса, в которых написано ясно, что убивший в целях самообороны освобождается от наказания, и несколько слов ободрения к еврейской молодежи, чтобы она не давала резать евреев как скот.

Вначале я удивлялся долготерпению полиции. Невозможно, чтобы она не обратила внимания на наши действия. После непродолжительного расследования эта тайна раскрылась мне, когда мне представили владельца этой конторы и объяснили — шепотом и за его спиной — его специальную функцию. Это был молчаливый и вежливый молодой человек, с шелковистой бородкой, и сам он как бы символизировал разновидность, известную под именем "шелковый молодой человек". Имя его уже пользовалось известностью в левых кругах, и дурной известностью: Генрик Шаевич. Я, однако, еще не слышал его имени, и не знал всего того, что было связано с ним. Теперь мне рассказали, что Шаевич — посланец и агент известного петербургского жандарма, офицера Зубатова, автора нового метода воздействия на рабочее движение. В соответствии с законом и традицией, забастовки рабочих считались в России государственным преступлением. Зубатов сказал: "Почему? Разве таким путем вы не делаете

рабочих врагами государства? Напротив: экономическую забастовку мы разрешим и позволим, и даже организацию рабочих не распустим, но лишь с тем условием, что они не будут вмешиваться в вопросы политики". Начальство согласилось с ним. Он подыскал посланцев – в большинстве своем, видимо, наивных людей, действительно уверовавших, что эта система в будущем облегчит положение рабочих, – и они уже начали свою пропаганду в Петербурге, Москве, Вильне, Минске, Сормове и на донецких шахтах. Самым значительным из этих посланцев был Гапон. Он был священником и создал сильное движение в Петербурге. А Генрика Шаевича послали в Одессу. Не думаю, что в числе заданий, которые поручил ему Зубатов, значилась еврейская самооборона, и нет сомнения, что, занимаясь этим, Шаевич рисковал своим официальным положением. Но местное начальство боялось задеть агента Зубатова; возможно, они писали докладные записки в Петербург и не получали ответа. Мне безразлично, был ли этот Шаевич честным и заблуждающимся человеком или шпионил и предавал сознательно: на мой взгляд, с того дня, когда он предоставил нам такое надежное убежище, чтобы вооружить евреев, он искупил все свои грехи...

Пришла наша Пасха, пришла и христианская Пасха, а с ней и погром, – но не у нас в Одессе, а в Кишиневе.

Странное дело: я не помню впечатления, которое произвело на меня это событие, исходная точка целой эпохи нашей жизни в качестве народа; возможно, вообще никакого впечатления оно не произвело на меня. Сионистом я стал еще до того, до того я уже думал об обороне, как и о еврейской трусости, которая проявилась в Кишиневе; никакого "открытия" мы не сделали, ни я, ни один еврей и ни один христианин. Меня никогда не оставляет чувство: из событий нам нечему учиться, в них нет никакой неожиданности для меня, словно я и прежде знал,

что так оно будет и да будет так... Редакцию "Новостей" наводнил поток пожертвований в пользу пострадавших от Кишиневского погрома: деньги, одежда – и мне направляли их, чтобы распределять в городе бедствия. Я навестил места резни, говорил с очевидцами, в больнице видел еврея, помнится, ремесленника, которому за несколько лет до того кто-то случайно выколол левый глаз; с тех пор он жил в одном из предместий среди христиан, занимался своим ремеслом, любил беседовать и играть с соседями, и в тот же день пришли эти соседи и вырвали у него и правый глаз.

Там впервые познакомился я с деятелями русского сионизма. Коган-Бернштейн был кишиневским жителем, Усышкин приехал туда из Екатеринослава, Зеев Темкин из Елисаветграда, Сапир из Одессы. Я увидел там и Бялика, и мне сказали, кто он, – к своему великому стыду, я этого не знал прежде.

Когда я вернулся в Одессу, ко мне пришел тот самый синьор Зальцман и сказал:

– Пришел я к вам от имени своей сионистской организации, она называется "Эрец-Исраэль". Мы решили предложить вам отправиться на сионистский конгресс в качестве нашего делегата.

– Но ведь я совершенный профан во всех вопросах движения.

– Научитесь.

Я согласился. Пригласили меня на заседание союза "домовладельцев", людей среднего и пожилого возраста, – я не нашел ни одной молодой физиономии во всем обществе, помимо самого Зальцмана. Они просили меня, как это водится, предложить свою программу. Да простит мне Всемилостивейший Господь всю чушь, что я нагородил перед ними; как видно, не было границ милосердию членов этой организации, и они не прогнали меня. Напротив, они обращались ко мне с вопросами, и один из этих вопросов я еще помню: как я отношусь к программе Эль-Ариша, за нее или против нее я буду голосовать,

если попаду на конгресс? (Зальцман успел объяснить мне за несколько дней до собрания, что нам предлагают заселить эту область в Египте, которая граничит с Палестиной, и что туда послана делегация сионистов обследовать эти места). Помню я и свой ответ, который был чистым экспромптом:

– Мое голосование будет зависеть от отношения массы, которая соберется на конгрессе. Если я увижу, что от этого нет опасности раскола в сионистской организации, поддержу эту программу. Если же я увижу, что этот вопрос раздробит движение как знак того, что нет сионизма вне Сиона, – тогда я проголосую против Эль-Ариша.

Меня выбрали, и я отправился в Базель на шестой конгресс, и с этого началась новая глава в моей жизни.

Конгресс

О моих похождениях на конгрессе можно было бы написать очень веселую комедию. Прежде всего, у меня еще не было права участвовать в нем, ибо мне не хватало почти полутора лет до требуемого возраста, и я не помню, кто были те добрые лжесвидетели, которые присягнули, что мне 24 года. Было у меня детское выражение лица, и служащий, раздававший билеты, отказался впустить меня, пока я не представлю свидетелей. После этого я слонялся, в одиночестве, по коридорам казино. Ни одного человека я не знал, кроме тех великих мужей, которых я видел в Кишиневе, а они были членами исполнительного комитета, занятыми на внутренних заседаниях. Меня представили худому и высокому молодому человеку с черной бородкой клинышком и блестящей лысиной. Его звали доктором Вейцманом, и мне сказали, что он стоит во главе "оппозиции": я тотчас же почувствовал, что мое место тоже в оппозиции, хотя и не знал еще почему. Итак, увидев этого молодого человека, который сидел с группой товарищей за столиком в кафе и вел шум-

ную беседу, я подошел к нему и спросил: "Я не помешаю?" Вейцман ответил: "Помешаете", – и я удалился.

Я попытался подняться на трибуну конгресса, чтобы высказаться по одному животрепещущему вопросу. Несколько месяцев до того Герцль беседовал с министром внутренних дел Плеве, тем самым Плеве, которого мы считали вдохновителем Кишиневского погрома. В сионистской общине России разгорелся жаркий спор: позволительно или не позволительно вести переговоры с таким человеком. Со временем стороны пришли к соглашению не касаться этого опасного вопроса с трибуны конгресса, и я тоже знал об этом, и все же решил, что на меня этот запрет не распространяется, потому что мой опыт, опыт русского журналиста, который умеет писать на "скользкую" тему, не раздражая цензуры, поможет мне и здесь обойти этот риф. Моя очередь подошла, когда регламент ораторов был ограничен 15 минутами, но и этой четверти часа не предоставили мне, чтобы закончить мое витийствование. Я решил доказать, что нельзя смешивать два понятия: этики и тактики, и немедленно в углу оппозиции почувствовали, куда клонит никому не известный юноша с черной шевелюрой, который говорит на отточенном русском языке, словно декламируя стих на экзамене в гимназии, – и они стали шуметь и кричать: "Довольно! Не нужно!" В президиуме поднялся переполох, сам Герцль, который был занят в соседней комнате, услышал шум, взошел торопливо на сцену и обратился за разъяснением к одному из делегатов: "В чем дело? Что он говорит?" Случайно этим делегатом оказался доктор Вейцман, и он ответил коротко и ясно: "Quatsch"*. Тогда Герцль подошел к кафедре сзади и промолвил: "Ihre Zeit ist um"**, – это были первые и последние слова, которые я удо-

*Вздор *(нем.)*.
**Ваше время истекло *(нем.)*.

стоился услышать из его уст, – и доктор Фридман, один их трех ближайших сподвижников вождя, истолковал эти слова в духе своей родины – Пруссии: "Gehen Sie herunter, sonst werden Sie heruntergeschleppt"*. Я сошел, не закончив своей защитительной речи, которую отверг человек, на защиту которого я встал.

Я понял, что моя роль на этом конгрессе – молчать и наблюдать, и так и поступил. Я нашел здесь множество объектов для наблюдения. Шестой конгресс – последний конгресс при жизни Герцля и, быть может, первый конгресс зрелого сионизма. Экзамен на аттестат зрелости проходил под известным девизом: Уганда. Я был в числе меньшинства конгресса, которое голосовало против Уганды, и вместе с остальными сказавшими "нет" вышел из зала. И про себя я удивился движущей силе, сокрытой в глубинах моей души, которая побудила меня голосовать против, вопреки тому, что я говорил перед своими избирателями. Никакой романтической любви к Палестине у меня тогда не было, и я не уверен, что она есть у меня теперь, я не мог знать, существует ли опасность раскола движения, – народа я не знал, посланцев его видел здесь впервые и ни с одним из них еще не успел сойтись. И подавляющее большинство их, в том числе многие из тех, кто, как и я, прибыли из России, голосовали "за". Никто не уговаривал меня голосовать так, а не иначе. Герцль произвел на меня колоссальное впечатление – это не преувеличение, другого слова я не могу подобрать, кроме как "колоссальное", а я вообще-то нелегко поклоняюсь личности. Из всех встреч жизни я не помню человека, который бы "произвел на меня впечатление" ни до, ни после Герцля. Только здесь я почувствовал, что стою перед истинным избранником судьбы, пророком и вождем милостью Божьей, что полезно даже заблуждаться и ошибаться,

*Сойдите, иначе вас стащат *(нем.)*.

следуя за ним, и по сей день чудится мне, что я слышу его звонкий голос, когда он клянется перед нами: "Если я забуду тебя, о Иерусалим..." Я верил его клятве, все мы верили, но голосовал я против него, и я не знаю почему. Потому что – **потому**, которое имеет большую силу, чем тысяча аргументов.

И странное дело: я почувствовал, что после этого голосования конгресс вознесся на высоту, несравнимую с уровнем его начала. Вопреки расколу и слезам досады, сообщалось ему какое-то внутреннее единство, более глубокое – голосовавшие **против** сблизились с голосовавшими **за** духовной близостью, которой не было прежде. Возможно, научились больше, чем прежде, чтить друг друга или движение; да и все движение, кажется мне, поднялось выше в день, когда посланцы народа оплакали свою первую политическую победу. Я уверен, что и Чемберлен (автор угандийского проекта), и Бальфур, и еще несколько политиков в Англии и в других странах только в тот день поняли, что такое сионизм, также как многие ветераны.

Из Базеля я поехал в Рим: теперь я всматривался в него новыми глазами, искал и находил евреев среди товарищей, с которыми расстался два года назад. Несколько раз я побывал в историческом гетто, не ради палаццо Ченчи, как прежде, но чтобы познакомиться с еврейской беднотой, которая, вопреки гражданскому равенству и отсутствию антисемитизма, все еще не оставила еврейского квартала, упоминаемого еще в одной из речей Цицерона и в сатирах Ювенала. Особенно я сблизился с бродячими торговцами старой одеждой, ибо в Италии сосредоточивается в еврейских руках это "наше национальное ремесло". У старьевщиков был национальный союз под звучным названием "Negozianti di generi usati", и они пригласили меня на торжественное открытие их ежегодного съезда. В редакции "Трибуны", которая была для Италии в те дни чем-то вроде "Таймса", я беседовал с знаменитым публи-

цистом, печатавшим свои передовые статьи под псевдонимом "Италико". Все они: студент, бродячий торговец, журналист – классические образцы полной и утонченной ассимиляции, предел растворения в чужой среде, который даже в Германии, Франции и Англии был еще недосягаем. Однако, уже после первых бесед я услышал из их уст то же слово "гой" и в их сердцах нашел то же семя тревоги или страха, то же внутреннее беспокойство, словно они чувствовали в воздухе опасность, которой я ни ранее, ни тогда не ощущал, опасность, которой на самом деле не было и не будет. Но главное ведь не действительность, а чувство: **они** чувствовали.

Я многое узнал в ходе этой поездки и в Базеле, и в Риме. Прежде всего, я узнал, что совершенно незнаком с наукой моей новой деятельности. Я вернулся в Одессу, разыскал Равницкого, который учил меня древнееврейскому языку в детстве, и попросил его продолжить наши занятия. С его помощью я познакомился с сочинениями Ахад Гаама и Бялика. Теперь, если я не заблуждаюсь, начали уже и читатели "Новостей" принимать всерьез мою сионистскую веру: уже известный нам Зальцман издал тонкой брошюркой сборник моих статей под общим названием "Противникам Сиона" и распространял его в Вильне, Петербурге, Саратове. Общество приняло меня.

Петербург

Я не помню, какие планы были у меня в конце 1903 года. Быть может, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на пороге которых я стоял: обрести лавровый венок "русского" писателя и фуражку рулевого сионистского корабля; но скорее у меня не было никакого твердого плана – я очень сомневаюсь вообще в том, что мне отпущена способность, или хотя бы желание, заранее определять свой путь. Но за меня решила судьба, явившись ко

мне в лице гороподобного русского хама, отправлявшего должность пристава в центральном околотке Одессы. Звали его Панасюк.

Не только в городском театре, но и в остальных одесских театрах у меня было постоянное место в первых рядах партера. В тот вечер, незадолго до христианского Нового года, Панасюк не узнал меня, когда я поднялся со своего кресла во время антракта в Русском театре. Он остановил меня у выхода и заревел как бык: "Почему ты пролез вперед?" У меня было лицо подростка и одет я был по-цыгански (то, что теперь называют за границей в стиле богемы) – согласно полицейской мерке место мое, как видно, было среди студентов на галерке, а не здесь, внизу, среди городской знати. Я оскорбился и ответил ему. Вокруг нас собралась толпа. Жандармский генерал Бессонов, начальник охранного отделения, которого я встречал некогда в тюрьме, привлеченный криками, подошел и обратился ко мне с наставлениями. Я и здесь не полез за словом в карман. По прошествии нескольких дней я получил повестку: явиться к градоначальнику графу Шувалову.

Я одел свой парадный костюм, как это было заведено в те времена, – тот самый черный редингот, достававший мне до щиколоток, который я заказал в честь премьеры своей пьесы, и стоячий воротничок, врезавшийся мне в уши, и отправился в крытой пролетке во дворец градоначальника. Перед отъездом я сунул свой паспорт в один карман, а в другой положил весь капитал, оказавшийся в наличии дома, около 30 рублей, и, подъехав к дворцу, велел извозчику ждать меня. Аудиенция была назначена на 11 часов, а в полдень из Одессы отходил прямой поезд на север. Я собрал дома также свой чемодан и вручил его одному из своих друзей, чтобы он принес его к этому поезду.

Беседа моя с правителем города была очень краткой. "Он всегда рычит, – сказал Шувалов, показав на Панасюка, который стоял перед нами, вытяну-

вшись в струнку. — Говоря со мной, он тоже рычит. Мы уведомим вас еще сегодня о том, какое наказание мы наложим на вас".

Я вышел, вскочил в пролетку и помчался на вокзал. Купил билет до Петербурга. Друг не поспел с чемоданом к отходу поезда, и я отправился в двухдневную поездку без мыла и зубной щетки. Легко понять, какое впечатление производил на пассажиров молодой человек в рединготе на скамье третьего класса.

В Петербурге я знал только двух человек: один из них — мой дальний родич, сверстник, студент зубоврачебной школы; а второго я ни разу не видел, но за месяц до этого он обратился ко мне с письмом, в котором сообщал, что собирается основать ежемесячный сионистский журнал на русском языке, и приглашал меня послать ему статью. Звали его Николай Сорин. С одной станции я послал телеграмму своему родственнику: он встречал меня на вокзале в Петербурге, привел в свою комнату, помыл, побрил, дал мне ночную рубаху и прочие спальные принадлежности — все, кроме ночлега, ибо хотя у меня и был паспорт, но в нем значилось — *еврей*, а такие люди не пользовались правом жительства в столице, и дворник был агентом полиции, как все дворники на святой Руси, и очень строго выполнял свои обязанности. Я спал весь день, а ночь мы провели — мой несчастный и верный родич не хотел отпускать меня — в театре, а потом в шумном ресторане, а после того как тот закрыли — на островах и на песчаной отмели, вдающейся в Финский залив, которая называлась Стрелкой. Удовольствие вместе с нанятым до утра крытым экипажем стоило нам всех имевшихся у нас двоих наличных денег.

Утром я поехал к Сорину — молодому адвокату, который говорил по-русски, как коренной петербуржец. Его жена, красивая золотоволосая дама была родом из Ковно, а воспитание получила в Париже. Приняли они меня, словно я был их другом с дет-

ства: Сорин призвал одного еврея, специалиста по этим делам, и тот разрешил вопрос моего ночлега, устроив меня в заброшенной гостинице, которая платила постоянную дань полиции, чтобы та не проверяла паспортов у сынов Израиля, нашедших прибежище под ее сенью. Чуть ли не с того же дня мы начали готовить первый выпуск нашего ежемесячника. Журнал назывался "Еврейская жизнь" — и только за одно название и за разрешение издавать его Сорин заплатил 7000 рублей. Деньги он получил в качестве беспроцентной ссуды, надеясь вернуть эту сумму по мере поступления взносов от подписчиков. Этот ежемесячник, который впоследствии превратился в еженедельник, несколько раз закрывался правительством, несколько раз менял свое название и переезжал из Петербурга в Москву, оттуда в Берлин и из Берлина в Париж. Теперь это "Рассвет", и Сорин все еще самый деятельный из его редакторов.

Еще один человек, тоже журналист, писал мне из Петербурга до того, как я выехал из Одессы: Алексей Суворин, сын известного издателя "Нового времени", **твердыни** российского антисемитизма. Алексей Суворин не пошел по стопам своего родителя, основал радикальное обозрение "Русь" и думал сделать его средоточием молодых сил; меня он тоже приглашал сотрудничать, издалека или на месте его издания, как мне будет угодно. Я вошел в его контору и представился: Альталена. Явился по вашему приглашению, сударь. Он назначил мне жалованье, о существовании которого я даже не подозревал: 400 рублей в месяц за две статьи в неделю (половину из них он, правда, не печатал, но жалованье платил с педантичной точностью). Так решились бытовые вопросы на этом этапе моей новой жизни, и я беззаботно отдался сердцем и душой воздвижению сионистского алтаря, над чем я тружусь поныне и, видно, буду трудиться до конца своих дней. На счастье или на погибель свою? На благо сионизму или во вред ему? Я, во всяком случае, не раскаиваюсь.

В конце месяца, за несколько дней до выпуска ежемесячника, я не только дневал, но и ночевал на квартире Сорина, в которой помещалась также наша редакция. Это был первый опыт учреждения официального органа сионистского движения. Во всех еврейских общинах подписывались на журнал, в редакции царило приподнятое настроение, в частности потому, что все ее сотрудники, за исключением главного редактора М. М. Марголина, были моими сверстниками или даже моложе меня. Марголину было 40 лет, и он был известен в российском сионистском движении благодаря своей книге "Основные течения в истории еврейского народа", книге краткой и содержательной, из которой я многому научился и которую полезно было бы перевести и распространять даже теперь. Был он человеком образованным, ответственным секретарем двух больших энциклопедий, русской и еврейской, которые выходили тогда в издательстве Эфрона. Младшего брата его Элиэзера, переселившегося еще в детстве в Эрец-Исраэль, я узнал впоследствии в дни мировой войны: это полковник Марголин, командир одного из батальонов еврейского легиона.

Остальные столпы нашего ежемесячника – пятеро студентов: Соломон Гепштейн, Александр Гольдштейн, Арье Бабков (он тоже был моим учителем древнееврейского языка), Арнольд Зейденман, Макс Соловейчик и инженер Моисей Цейтлин, который оставил доходную должность в Баку и переехал со своей семьей в Петербург – "просто так", чтобы работать с нами. Из "выдающихся людей поколения" был в нашей редакции также доктор И. Бруцкус, врач, общественный деятель и журналист, человек с именем и **почитаемый** в общине. Я подчеркнул слово "почитаемый", ибо такое отношение к сионистам со стороны просвещенного общества было редким в Петербурге в те времена. Тогда еще была в большом ходу известная поговорка: "У человека два сына: один умный, а другой сионист". Среди прочих фун-

кций наш журнал выполнял и такую: он искоренял эту традицию, в особенности начиная со второго года своего существования, когда мы добавили к нему еженедельник и для руководства им прибыл из Москвы Абрам Идельсон, в чьем лице наша группа обрела духовного руководителя. Я уверен, что не преувеличу, если скажу: слово **талант** недостаточно, чтобы определить масштаб дарования Идельсона: этот человек стоял на пороге гениальности. "Мозг, полный кислоты, разъедающей камни", — сказал мне о нем однажды Грузенберг, и это справедливо, но это лишь одна сторона. "Жгучая кислота" его мозга прожигала оболочки явлений, добираясь до самой сердцевины, он умел выжимать волшебный сок из жизни. Проклятие его судьбы, бедность, тяготевшая над ним, как над большинством людей нашего круга, или, может быть, отчасти принижение себя, проистекавшее из того же источника, что и "кислота", помешали ему обобщить свои мысли в форме ученого труда. Из его уст я слышал такой стон: "Кто возьмет и запрет меня в тюрьму на пару лет, чтобы я мог написать "Werk"...* Но для нас, молодежи, его общество и без того служило университетом.

Помимо корреспондентов, к центральным фигурам "шайки" (так называли нас в Петербурге, используя для этого польское слово "halastra", принадлежал Израиль Розов. Тогда встречались изредка такие дома, то там, то здесь в местах еврейского рассеяния, которые, не по договоренности или соглашению, а по своему значению служили сборными пунктами сионистского движения. И написать хронику этих домов значило бы написать всю историю сионизма того периода. Такими были дом Исаака Гольденберга в Вильне, Бецалеля Яффе в Гродно, Гиллеля Златопольского в Киеве, дом Ахад Гаама в Одессе. Таким был и дом Израиля Розова в Петербурге.

*"Труд" *(нем.)*.

Кочевник

Семь лет я был связан с "халястрой". Не все это время провел я в Петербурге. Вел я кочевую жизнь. Была в Вильне гостиница, хозяин которой сказал мне однажды: "Это уже пятьдесят пятый раз, что господин останавливается у нас".

В Вильне раскрылся мне новый еврейский мир, мир, о существовании которого я знал лишь из встреч с "экстернами", когда вернулся из Италии в Одессу для сдачи экзаменов, да еще из кратковременного соприкосновения с обитателями тюрьмы. Литва – особый университет для такого человека, как я, который прежде не дышал воздухом традиционной еврейской культуры и даже не думал, что есть такой воздух где-либо на свете. Уже минул век **Иерусалима Литовского** в прежнем понимании, но и то, что осталось от него, слепило своим светом и пьянило меня. Я увидел суверенную еврейскую вселенную, которая движется в согласии со своим собственным внутренним законом, словно связи ее с Россией только государственные, но никак не нравственные. "Биржа" дюжины ее собственных партий находилась на углу каждой улицы; идиш оказался громадной силой, приводящей в движение мысль и культуру, а не "жаргоном", как в Одессе и Петербурге; древнееврейский язык становился живым языком в присутствии дочери Исаака Гольденберга; стихи Бялика, Черниховского, Кагана и Шнеура одушевляли еврейскую молодежь, и я, поклонник поэзии на четырех иностранных языках, свыкшийся уже с мыслью, что сочинение стихов в наши дни пало до уровня пустой забавы, был поколеблен в убеждении, что оно хоть и может подчас потешить твое эстетическое чувство, но никогда не повлияет на толпу!

Я уже писал о том, что дом Исаака Гольденберга был сборным пунктом и штабом сионистов Вильны, да и не только Вильны. Несть числа общим совеща-

ниям от различных губерний **черты**, которые собирались в этом доме. И программа национальных прав для евреев России, известная как "Гельсингфорсская программа", не в Гельсингфорсе формулировалась, но в Ландварове, возле Вильны, на даче Гольденбергов; и большинство сионистских деятелей, которых я знаю, из своего и предыдущего поколения, я встретил в этом доме, и свое сионистское образование я продолжил в этом доме.

Не стоит описывать географические подробности моих скитаний между 1904 и 1908 годами; прежде всего, я их не помню, и, во-вторых, немало нас тогда было, постояльцев железных дорог: Литва, Волынь, Подолия, Киев. В Киеве я принимал участие в собраниях **"Сторонников Сиона"**, которые планировали отмену вопроса Уганды на седьмом конгрессе; вместе с Розовым я изъездил все Нижнее Поволжье, от Нижнего Новгорода до Астрахани, и оттуда спустился в Баку; я и в Одессе пробыл несколько месяцев, – видно, то государственное преступление, которое обратило меня в беглеца, забылось.

Отмечу здесь также две моих кратких отсидки в тюрьме: одну в Херсоне, после сионистского собрания, проведенного без разрешения, и вторую – в Одессе, в конце 1904 года; эта последняя пришлась на известную в историю первой русской революции полосу митингов. Такой митинг был устроен в Одессе, и я тоже выступил на нем с речью. Помнится мне, что я завершил ее любезным мне итальянским выражением: "Баста!" На сей раз оно относилось к царскому режиму. Раз в два года я ездил на конгрессы, но не было у меня на них никакой особой роли, и потому не о чем и рассказывать.

Я продолжал сотрудничать в русской прессе, но без чрезмерного успеха. Алексей Суворин, редактор "Руси", большинство моих статей хоронил в ящиках своего стола: "Не отвечает направлению газеты". Я подумал: может быть, и в самом деле его направле-

ние – это не мое направление, в конце концов разве не рос этот Суворин под сенью божественной благодати своего родителя, юдофоба и консерватора? Я отправился к нему и сказал: "Алексей Алексеевич, я решил расстаться с вами". После этого я вошел в редакцию другой петербургской газеты, которая тогда только открылась, – в редакцию "Нашей жизни". Несколькими месяцами прежде, будучи в Одессе, я получил приглашение от ее главного редактора, прогрессивного профессора. Но он поступал со мной так же, как Суворин: жалованье платил, а большинство статей хоронил: "не отвечали направлению". И здесь невозможно было уж ворчать на "направление" или подозревать чистоту его радикальных риз: здесь педантично и бескомпромиссно соблюдали радикализм, как раввины надзирают за кошерностью птицы. После ареста в Одессе (из-за речи с "баста") я писал, что "весь город **смеялся** над глупостью полицейских". Мою статью зарезали: "ибо в таком случае следует "протестовать", а не "смеяться". Наконец, меня прорвало: "Зачем вы пригласили меня?" Госпожа Екатерина Кускова, один из столпов редакции, ответила мне не мудрствуя лукаво: "У вас отличный слог, мы думали, что вы согласитесь облечь в этот слог мысли, которые мы предложим вам". Я вскочил в пролетку, поехал в "Русь" и спросил у Суворина: "Вы примете меня назад? Сударь, менее всего почитаю я себя граммофоном". Он ответил: "С удовольствием". Как бы то ни было, он был личностью и умел уважать другую личность: он не мешал мне (факт беспрецедентный в "общей" печати, который подрывал все нравственные устои российского либерализма) писать: "мы, евреи..."

Кстати, я не знаю, кто распространил слух, будто я принадлежал в свое время к "первой шеренге" авторов **общей** печати в России. Это преувеличение, одна из "легенд". В Одессе и на юге я был популярен, среди евреев по большей части, но Петербурга я не "завоевал". Если я не ошибаюсь, более сильное

впечатление производили мои письма из Лондона в годы войны, которые печатались в московской газете "Русские ведомости", но от этой славы я уже не успел вкусить, потому что не вернулся в Россию, да и газета эта была разгромлена и ее читателей уже нет в живых.

В грозах российской "весны"

Тем временем был убит Плеве, рабочие в Петербурге, которых священник Гапон обещал отвлечь от "политики", провели 9 января шествие к Зимнему дворцу, чтобы потребовать дарования конституции, и несколько десятков было убито братьями-солдатами. Уже всем было ясно, что эта победа окажется решающим поражением существующего режима.

В моей деятельности этих лет наметились три основных линии: полемика с ассимиляторами и еще более жестокая полемика с Бундом, пропаганда самообороны и борьба за национальное равноправие евреев России.

"Чистого" ассимиляторства я уже не застал в Петербурге. Лагерь, который отвергал сионизм и группировался вокруг Винавера-Слиозберга и их еженедельника "Восход", уже уразумел в эти дни, что Россия – не Франция и не Германия и что нет в ней места **русакам Моисеева закона**. По распоряжению самого правительства были обнародованы результаты переписи народонаселения за 1897 год; смотрите, черным по белому написано, что в государстве имеется более ста народностей, и самая многочисленная из них русская – даже не составляет большинства, еврейский же народ занимает четвертое место в списке. Хотя сами ассимиляторы и признавали, что в России имеется еврейская народность, они не поняли еще, чего следовало именно требовать для нее в национальном плане, и довольствовались устаревшим лозунгом гражданского равноправия.

Платформа Бунда, разумеется, была более сложной и более путанной. Там уже вырабатывалось признание национального обособления, вплоть до лозунга "культурной автономии". Обосновывали это требование ссылками, с одной стороны, на работы австрийского автора Рудольфа Шпрингера, а с другой стороны, учением Дубнова. И следует отметить, что Бунд в эти дни пользовался решающим влиянием во всех слоях народа и не было "прогрессивного" обывателя, который не произнес бы речи или не написал бы статьи по текущим вопросам, не осыпав комплиментами могучее еврейское пролетарское движение. В тени этого бундо-дуба, но с трудом, чуть ли не украдкой, прорастали первые побеги левого сионизма, и мы, "халястра", далекие от всякого классового мировоззрения, мы оберегали их цветение против нападок Бунда... Неважно, что я писал и что я говорил, но когда минул год после моего переезда на север, уже ненавидели меня в кругах "Восхода" (мы их называли "национал-ассимиляторами"), и еще сильней в кругах Бунда, чье дерзновенное историческое назначение заключалось в том, что он служил мостом, по которому массы рабочих переходили от чистого марксизма к чистому сионизму.

Самооборона. После одесского опыта я не много работал в этой области в качестве организатора, хотя и принимал участие в какой-то конференции, которая собралась в Одессе, если я не ошибаюсь; но я слышал, что в духовном отношении этому движению помогли листовки и брошюры, которые распространялись тайно, в особенности "Сказание о погроме" Бялика в моем переводе и с моим предисловием.

В лето 1905 года я посетил Варшаву, – кажется, впервые. С детских лет я любил Польшу, что, разумеется, неудивительно, ибо такое отношение к Польше было общей традицией тех лет и поддерживалось любым прогрессивным обществом – как в России, так и во всем мире. Стихи Мицкевича я заучивал наизусть. Однажды в Одессу попала вар-

шавская театральная труппа, и мою статью, посвященную ее представлениям, перевели и напечатали в польской газете, крайнем органе националистического движения. В некоторых городах и местечках, на севере, на юге и на востоке, я уже выступал с речами и лекциями, но ни разу не пришло мне в голову выступить в польском городе, ибо я тогда еще не умел говорить на идиш, а что до публичной лекции на языке "москалей", то в глазах польского общества это выглядело бы как оскорбление. Я посетил Варшаву только, чтобы посовещаться с сионистской молодежью, которая группировалась вокруг еженедельника "Глос жидовски", и договориться с ними о времени и месте созыва конференции "Национальная автономия в галуте".

Эту группу варшавской молодежи мы считали украшением нового поколения сионистов галута и справедливо считали. Особая глубина и утонченность, свойственные возвышенным душам, чувствовались во всем их существе, в подходе ко всем проблемам национального бытия, в духе их откликов на всякое решающее событие: то ли из-за их близости к Западу, то ли из-за особой атмосферы, насыщенной трагизмом и романтикой Польши. И в человеческом плане такие духовные явления, как Ян Киршрот и Ноах Давидсон, редки в нашем мире теперь как и тогда.

Там в Варшаве до нас дошла весть о белостокском погроме, первом серьезном погроме за пределами Украины, в городе, где половину населения составляли фабричные рабочие... Вместе с молодым Гартглассом мы вскочили на поезд и поехали в город резни. До конца своих дней не забуду я этой поездки. Вагон был полон евреями, но когда мы приблизились к Гродненской губерʼнии, они стали исчезать один за другим, и немногие поляки избегали смотреть на нас с Гартглассом и переговаривались шепотом. Одна дама пыталась все-таки выразить свое сожаление о судьбе красивого юноши Гартгласса и умоляла его сойти с поезда. Он отклонил ее советы

с ласковой варшавской любезностью и объяснил мне тихо психологическую тайну ее сострадания:

– На самом деле ей безразлично, убьют ли еще одного или нет, но она мне сказала, что она едет в Гродно, а это за Белостоком, и она решила, что если убьют еврея на ее глазах, то это неприятно.

Возможно, он был прав, потому что она внезапно встала, собрала свои саквояжи и перешла в другой вагон.

С приближением к станции Белосток мы подошли к окну: на привокзальной площади было полно сброда, они толпились около забора вдоль железнодорожного полотна и смотрели на поезд. Увидев нас, они стали показывать на нас пальцами, подзадоривать друг друга, кричать. В этот момент – поезд еще не остановился – в вагон вошел пожилой носильщик и сказал:

– Ради Бога, если есть здесь евреи, пусть не выходят, а едут дальше.

– Еще не кончилось? – спросили мы.

– Какое там "кончилось". В самом разгаре...

Разумеется, мы послушались. Поезд простоял на станции около десяти минут. Не помню, о чем я думал, но хорошо помню, что мы с Гартглассом не решались посмотреть друг другу в глаза.

Мы поехали в Гродно, и там, не знаю почему, решили навестить известную польскую писательницу Элизу Ожешко, друга евреев и вообще властительницу дум того гуманного столетия, семя которого погибло с закатом XIX века. В ее гостиной на стене висел польский флаг с белым орлом посредине. Нас встретила седовласая дама, великолепная и благородная, в ее манерах чувствовался настрой той старинной куртуазности, который также исчез с этим поколением. Она прочла мое имя на одной из визитных карточек, которые мы послали ей, и сказала мне по-польски:

– Я видела последний номер "Глос жидовски".

Пан возражает против предоставления самоуправления Польше?

— Это зависит от одного обстоятельства, пани — отвечал я. — Я готов всем сердцем солидаризоваться с восстановлением Польши "от моря до моря", государства, в пределах которого будет проживать большая часть евреев России и Австрии, если польское общество согласится с нашим равноправием в двух аспектах: гражданском и национальном. Но ныне среди варшавской общественности преобладает совсем другая тенденция. Господин Дмовский заявил открыто, что его фракция использует автономию, чтобы, прежде всего, погубить евреев. Полагает ли пани, что и при таких условиях мы должны поддерживать приход его к власти?

Она не дала мне прямого ответа. Она вообще не "полемизировала" с нами, ибо это было противно традиционным законам гостеприимства, принятым у таких властителей дум. И все же впоследствии в ходе естественно завязавшейся беседы она заметила с тихой печалью:

— Всю свою жизнь я пыталась трудиться ради взаимопонимания и добрососедских отношений между вашим народом и моим. Видно, напрасно трудилась...

Гельсингфорсская программа, ее история и принципы. Немногие заинтересуются ею сегодня, и все же в развитии сионистского мировоззрения нашего поколения она означала душевный и духовный перелом. Мы начали с отрицания галута, то есть с того, что галут не следует исправлять, что нет лекарства против него, кроме исхода из него. И вот жизнь привела нас к необходимости улучшения галута, улучшения методического и всестороннего, каким явилось бы достижение не только гражданского равноправия, но и равноправия национального. Выставив такое требование, обязаны были мы, именно мы, сионисты, сделать для него вдвойне больше всякой другой еврейской партии, ибо сильнее у нас националь-

ный аппетит. Наши противники смеялись над нами и язвили, что мы впали в противоречие и отрицаем сионистский принцип: если национальное возрождение возможно и в галуте, то к чему Сион? Это возражение обязывало нас найти разумную возможность воздвигнуть национальные замки в изгнании с тем, чтобы их оставить, без срама и без сожаления, на другой день после их воздвижения. Появилось несколько философских систем, обосновывавших такую возможность. Одна из левых партий, которую я упоминал, – "Возрождение", или "Серп" – небольшая, но отборная группа молодой сионистской интеллигенции – предложила доктрину, согласно которой сионизм представлял собой не разрыв или скачок в истории нашего народа, а лишь высшую, конечную ступень лестницы возрождения. Сионизм осуществляется посредством накопления сил и завоевания позиций, через создание еврейской нации в галуте, еврейской нации, освобожденной и чтимой, как и остальные народы, пока мы рассеяны среди этих народов, и затем лишь из стремления к национальному усовершенствованию, а не из желания уйти от юдофобства он построит отдельное государство, подобно тому, как миллионер, обладающий уже сотней домов во всех столицах мира, вдруг строит для себя виллу на острове посреди океана. Бер Борохов, духовный вождь "Поалей Цион", еще один сионист, стоявший "на пороге гениальности", сформулировал другое учение: "нормализации галута". Галут – это беда и проказа; все попытки исправить его не более чем иллюзия и самообман, но и у проказы, как и у всякой болезни, есть две формы: форма хроническая, спокойная и форма обостренная, инфекционная. Галут с отсутствием прав, галут с погромами – это галут острый, инфекционный; галут спокойный – это галут, как на Западе, галут сытый, тучный, галут с почестями, и все же это – галут, в котором в конце концов тоже вспыхнет восстание при всем сознании его ценности! И наша миссия в России

заключается лишь в "нормализации" галута с полным сознанием того, что это не решение проблемы. Еврейство России подобно страннику, который торопится к своей цели, идя долгой и изнурительной дорогой, его томит жажда, и лицо его покрыто пылью, но вот он нашел родник, напился, помылся — и продолжил свой путь дальше.

Я, человек маленький, тоже решил потягаться с этими великими мира сего и сочинил третью теорию. Что такое национальная автономия в галуте? Это не что иное, как организация всего народа с помощью официально предоставленных возможностей вместо частичной организации народа в форме такого ограниченного объединения, как сионистская организация. И что сделает народ, когда сорганизуется? То, чего покойный Герцль хотел добиться посредством ограниченной организации: он осуществит возвращение в Сион. Национальные права в изгнании — это не что иное как "организация Исхода" и т. д. и т. п.

На первых порах мы пытались заронить семя этой идеи, идеи борьбы за предоставление евреям России национальных прав, в общееврейскую почву. С начала 1905 года мы начали проникать в Петербурге в беспартийные круги: мы провели собрание врачей, адвокатов, собрание торговцев, ремесленников и т. п. и всем предложили девиз: "гражданское и национальное полноправие" (слово "полноправие" вместо обычного "равноправия" почиталось очень дерзким нововведением). В конце концов мы созвали совещание делегатов, избранных от каждого из этих кругов, и там была принята какая-то программа, деталей которой я не помню. Центр по развертыванию всего этого движения находился в нашей редакции. Приглашения мы печатали на поломанном ротапринте. Но хотя мы были лишь сионистами и в своем большинстве людьми молодыми, без постоянной поддержки в обществе, на наш призыв откликнулись многие видные представители общины.

Фракция Винавера и Слиозберга, разумеется, не примкнула к нам. Они созвали отдельную конференцию в Ковно и там основали другую организацию. Но в конце концов две эти организации слились и стали называться длинным именем "Союз для достижения полноправия еврейского народа в России", и я был выбран в его центральный комитет. Люди моего поколения, несомненно, еще помнят взрывы хохота, которыми везде встречали это предусмотрительное "достижение" вместо "борьбы". Прозвали нас "ди дергрейхер", **достиженцы**.

Летом я отправился на седьмой конгресс, первый конгресс без Герцля, и после этого совершил пешую прогулку по Швейцарии, с небольшой группой друзей, девушек и юношей. Как был бы я рад, да и читатель семикратно выиграл бы от этого, если бы вместо автобиографии деятеля мне довелось рассказать ему об этом переходе, конечным пунктом которого явилась Венеция, куда мы прибыли без гроша во всех наших многочисленных карманах. Здесь, в этой моей книге, я ограничусь лишь тем, что установлю связь между путешествием и общим предметом, упомянув о двух фактах. Первый: на берегу Луганского озера я купил итальянскую газету и в ней прочел об унизительном конце войны на Дальнем Востоке, о признании японской победы и о новом стимуле для освободительного движения в России. Второй: в середине октября, в Монпелье, на юге Франции, до меня дошла весть о даровании конституции и Государственной думы, и на другой день — о шквале ударов, обрушившихся на евреев, — наш выкуп и расплата за день радости всей России.

Я вернулся в Петербург, там сионисты провели публичное собрание в зале, называемом "Соляной городок", выступил на нем с речью и я. В первый и последний раз я видел такое: на собрание, посвященное еврейской беде, еврейской проблеме, пришли и неевреи, и в немалом количестве. Но за несколько дней до этого появилась листовка, подписанная от

имени двух рабочих партий, эсдеков и эсэров. Содержание листовки – энергичное обвинение правительства в надувательстве народа: оно обещало освобождение, а вместо освобождения сделало то-то и то-то; я уже не помню, какие грехи вспоминались в этом протесте, но резня евреев в ста городах (или больше ста?) совершенно не упоминалась в ней. Когда подошла моя очередь говорить, я сказал им: "Нас пытались утешить тем, что среди наших убийц не было рабочих. Мол, русский пролетариат защищает равенство и дружбу народов. Может быть. Может быть, не пролетариат громил нас. Пролетариат поступил хуже: он забыл о нас. Это – настоящий погром!" Хвала им вдвойне: они не только пришли слушать нас, но и слушали, молчали и опускали головы.

Вскоре началась предвыборная борьба: рабочие партии бойкотировали выборы, ибо не было введено всеобщее избирательное право, но и без них в нашем лагере было достаточно волнений. И в черте оседлости и вне черты, не были выставлены еврейские кандидаты. Однажды ночью мы сидели в редакционной комнате, мы, члены "халястры", и решили: потребовать от всех кандидатов обещание, что если они будут выбраны, то присоединятся к еврейской фракции. Винавер со своей группой противился изо всех сил нашему требованию, но его мы тоже заставили подписать обязательство, что он подчинится, если съезд "Союза для достижения...", который будет созван после выборов, решит большинством голосов создать фракцию. Были выбраны 12 евреев, в том числе пять сионистов, и в Петербурге был созван съезд. Хотя я не был еще в числе делегатов и кандидатов (я еще не достиг тогда требуемого 25-летнего возраста), мои товарищи сионисты почтили меня ответственным заданием: сделать доклад перед съездом о насущной потребности в отдельной фракции. Со своей стороны группа Винавера назначила своим главным докладчиком Острогорского, делегата от Ковно, эрудита, политика, известного и за гра-

ницей, автора классической книги о партиях Северной Америки. Никогда, ни до этого дня, ни после, я не испытывал такого страха, готовясь к публичному выступлению: что возражу я, полный профан, на научные доводы знатока и специалиста? Острогорский выступал после меня. Я слушал и не верил своим ушам: так ли должен говорить эрудит, учитель учителей, величайший хранитель тайн большой политики, по вопросу, от разрешения которого зависят (или мы верили, что зависят...) судьбы шести миллионов? Даже в первые дни моей молодости, в легких фельетонах для "Новостей", не выходило из-под моего стрекочущего пера такого несусветного вздора, как его доклад. Тогда узнал я впервые, и впоследствии этот опыт имел неоднократно подтверждение: нет еще еврейской политики, наше положение и наши нужды не имеют еще прецедента, мое поколение – поколение зачинателей, и нам создавать государствоведение Израиля, от алеф до тав, и то же относится к сионизму, в особенности к сионизму.

Съезд большинством голосов принял наши требования, но вопреки своим письменным обязательствам наши противники не подчинились его решению. Еврейские делегаты разделились на две фракции – шестеро против шестерых (делегат Френкель, антисионист, примкнул к пятерым сионистам). В конце концов вмешались посредники и нашли какой-то компромисс, я уже забыл его детали, но я вышел из комитета "достиженцев", и ночью после окончания съезда в редакционной комнате снова собралась "халястра" – сделать выводы из этого опыта. И мы решили: в будущем борьбу за права в галуте сионисты тоже будут вести отдельно, под своим сионистским знаменем.

От этого съезда "дергрейхерс" в моей памяти осталась речь ныне покойного доктора Даниэля Пасманика: одна из лучших и самых глубоких речей, какую мне довелось слышать за всю свою жизнь. Вообще, я всегда считал его человеком необычайного

ораторского дарования. Он немного заикался, но и этим своим дефектом умел пользоваться для усиления впечатления: он так управлял своим голосом, что задержки в речи наступали именно перед центральным и решающим словом, чтобы с тем большей силой выделить его. И вот он сказал на заключительном заседании: "Мы достигли компромисса, и это покамест тоже хорошо, ибо мы еще слабы, слабее одних и слабее других, и зажаты между двумя лагерями: но мир этот только преддверье войны. Здесь вставали один за другим выдающиеся ораторы и воспевали мир, и их слова напоминали мне сладкозвучную музыку Доницетти и Беллини. Но время такой музыки истекло: музыка нового поколения – это музыка Вагнера, а она основывается на диссонансе... Есть грубая глиняная посуда, которая если и разобьется, то беда невелика, склеют черепки – и забудется трещина. Но есть старинный греческий кувшин, тонкое и изысканное произведение художника, и если в нем появится трещина – ее не заделаешь. Мы, евреи, – старинный сосуд, дорогой и редкостный, и дефект в нем невозможно исправить".

Пасманик был членом центрального комитета сионистов России, местопребыванием которого была тогда Вильна (вместе с Исааком Гольденбергом и его покойным братом Борисом, Львом Яффе и доктором Иосифом Лурией, редактировавшим официальный еженедельный журнал). Для меня судьба этого человека – загадка: хотел бы я понять, почему подчас пролегает пропасть между истинной величиной личности и тем впечатлением, которое она производит на окружающих, и пропасть эта образуется без всякой видимой причины. По сей день слышу я рассказы о том, что "этот ханжа" покрыл голову ермолкой, поднимаясь на трибуну, чтобы выступить перед собранием Мизрахи. Случайно я оказался очевидцем аналогичного эпизода на шестом конгрессе, и я помню слова, которые он сказал тогда: "Если от меня требуют, чтобы этим я выразил чувство моего ува-

жения к вашему собранию, — я надену ермолку; но если вы увидите в этом выражение моего отношения к вере, то лучше я расстанусь с вами". Собравшиеся ответили ему в один голос: "Нет, нет, мы не требуем этого от вас". И тогда он покрыл свою голову, не как ханжа, а как благовоспитанный человек, и я бы поступил так же, как он.

Столь же несправедлива и фальсифицирована легенда о его склонности менять убеждения как по легкомыслию, так и ища рукоплесканий толпы. Напротив, по большей части или почти всегда. Даже в Гельсингфорсе он был среди немногих, кто выразил глубокое сомнение в правильности нового курса: он противился в частности и в особенности вере в "меньшинства" — в мечту, что установится нечто вроде союза между нами и украинцами, латышами, литовцами, татарами и пр. и пр., союза, направленного против господствующей нации; он утверждал, что все они ненавидят евреев, и господствующая нация, и меньшинства, но лучше все же господствующая нация. Известно, что этой своей веры он держался до дня смерти, отошел ради нее от сионистской общественности и умер в холодном и горьком одиночестве.

Дефект "верхоглядства" возможно и был присущ ему, но это не вина его, а беда. Всю свою жизнь он много читал и учился; кроме Бера Борохова и Абрама Идельсона, я не знал другого такого библиофила, как он, в том поколении сионистов. Но способность "популяризатора" — самая редкостная способность: лишь немногим дано раскрыть тайны науки перед аудиторией совершенных профанов, излагать их таким образом, чтобы, с одной стороны, быть понятым, а с другой, не измельчить и не опошлить науку. В этом он не преуспел, потому-то вообще я не отнесу его — в качестве писателя — к выдающимся дарованиям, но нет сомнения, что он обогатил теорию сионизма несколькими мыслями, получившими в нем права гражданства, и был в числе первых, кто научил

нас различать экономические и социальные аспекты галута.

Летом 1906 года мы собрались на совещание, которое я упомянул ранее, на даче Исаака Гольденберга. В Ландварове, около Вильны. "Конференцией сионистских журналистов" мы назвали его. Наша "халястра" из Петербурга, группа "Глос жидовски" из Варшавы, редакторы "Еврейской мысли", учрежденной незадолго до этого в Одессе. Там, меж высокоствольных сосен старинного парка, в поместье польского графа Тышкевича, на берегу прелестного пруда, в котором мы купались в перерывах между заседаниями, три дня и три ночи мы редактировали программу, получившую впоследствии название "Гельсингфорсской". Там же на третий день нас настигла злая весть: император распустил первую Думу, и через несколько месяцев должны были состояться выборы в новую Думу.

В октябре мне исполнилось 25 лет. В Волыни, в заброшенном городе около Ровны (высокомерное название этого местечка – Александрия!) я "купил" одноэтажный домик о трех окошках и тем самым приобрел право избирать и быть избранным. Я объездил города губернии, иногда поездом, но в большинстве случаев в бричке. На этот раз положение было более запутанным, чем в первые выборы, ибо изменились позиции левых партий, и Бунд тоже принял участие в кампании и выставил своих кандидатов. В одну ноябрьскую ночь я созвал представителей сионистских организаций губернии в Мирополе, тоже небольшом городке, и они утвердили программу, составленную в Ландварове, и выбрали меня своим кандидатом. На рассвете я отправился на север – в Гельсингфорс, на шестую конференцию сионистов России.

Не без приключений я добрался до Гельсингфорса. На пути я остановился в Петербурге, побывал на последнем совещании в редакции. Посреди нашего заседания в комнату вошел наш русский слуга Архип

(неизменный слуга Идельсона, преданный ему собачьей преданностью, которая могла жить только в сердце мужика Ярославской губернии. Даже выговор своего барина он усвоил со временем и говорил по-русски с еврейским акцентом) и прошептал: ”Полиция!” Почему неожиданно нагрянула полиция — не знаю. Остальных это не коснулось, но у меня не было права жительства в Петербурге, и меня арестовали. До полуночи просидел я в околотке и уже отчаялся, что вернусь на наше совещание. В конце концов меня спас адвокат Слиозберг: он пришел в полицию и поручился, что я не революционер. ”Ладно, — сказал мне пристав, — мы выпустим вас на свободу, но на вашем паспорте поставим **красную печать**”. Это означало: этот еврей высылается из Петербурга и должен покинуть столицу в течение 24 часов”.

”С какого вокзала выслать вас? — спросил меня полицейский. — Николаевский в сторону черты оседлости”. ”С Финляндского”, — ответил я, и сердце мое замерло, как бы он не отказал, ибо в Финляндии у меня тоже не было права жительства. Он посмотрел на меня, посмотрел на паспорт, подумал, поколебался, широко зевнул и, наконец, сказал: ”Ладно, сделаем вам Финляндию”. Я отправился на вокзал в сопровождении городового, славного парня, который рассказал мне по дороге о мужицких бедах: нет земли, вся земля в руках дворян! Я дал ему рубль серебром, и он стоял навытяжку, пока не тронулся поезд, и прощался со мной на военный лад, приложив руку к козырьку.

Вершина моей сионистской молодости — Гельсингфорсская конференция, и я уверен, что то же самое скажут многие из ее участников, также как представители поколения, предшествующего моему. Ибо молодость была не только в нас, она была в воздухе, молодость всей страны, молодость всей Европы. Не часто повторяются эпохи в истории человечества, эпохи, в которые дрожь нетерпения пронзает народы,

словно юношу, ожидающего прихода возлюбленной. Такой была Европа до 1848 года, такой предстала она перед нами в начале XX столетия, лживого столетия, обманувшего столь много наших надежд. Тот, кто скажет, что мы тогда были наивны, неопытны, верили в то, что прогресса можно достигнуть легкой и дешевой ценой, одним молниеносным прыжком из тьмы в свет, – тот заблуждается. Разве не были мы на другой день после праздника свидетелями очередного убийства, и в частности тогда, именно в ту зиму? Разве не знали, что все силы реакции уже строятся снова в несметное и грозное войско? Но вопреки всему еще жила в наших сердцах глубокая и тайная вера, основа и чудо девятнадцатого века, – вера в принципы закона, в священные пароли – свобода, братство и справедливость. И вопреки всему мы были уверены, что настал день их восхождения и что в недалеком будущем перед ними падут все преграды. И я, которого только что унизили произвольным арестом, я тоже не видел никакого противоречия между этим оскорбительным опытом и дерзновенными требованиями, которые я должен был провозгласить на другой день в своем докладе на конференции: в России нет господствующей нации, все ее народы – **меньшинства**; русские, поляки, татары, мы – все равны перед законом, автономию – всем.

Я не сравниваю Гельсингфорсскую конференцию с всемирными сионистскими конгрессами: кроме шестого конгресса (первого на моем счету) я не любил их, неприкаянным чужаком слонялся я на них, и по сей день для меня нравственная пытка одна мысль, что когда-нибудь я буду вынужден принять в них снова участие... Конференции ревизионистов и слеты Бетара я очень люблю, но все же нет сионистского воспоминания более милого моему сердцу, чем воспоминание о Гельсингфорсской конференции. Причина этого, вероятно, в том, что пафос ревизионистов и бетарцев смешан с горечью, ибо

наша борьба теперь – борьба с нашими братьями-сионистами, и все, что обновляется на наших съездах, – суровый приговор тому, что дорого им. Тогда, в Гельсингфорсе, плечом к плечу, рука в руку стояли мы, все ветви сионистского движения России, этого центра мирового сионизма, и все, что мы провозглашали, провозглашалось от имени всех нас. Мы верили, что творим новый сионизм, синтез исконной любви к Сиону и политической мечты Герцля (ибо и принцип "практической работы" и "завоевания позиций в Эрец-Исраэль" был провозглашен в Гельсингфорсе); и, с другой стороны, синтез крепостей, что мы воздвигнем своему народу в изгнании, и великой твердыни, которую мы завоюем к западу и востоку от Иордана. Исаак Гринбаум, глава делегации из Польши, мы называли их "коло" и считали украшением конференции, ибо еще были среди них Ноах Давидсон и Ян Киршрот, два великолепных человека, подобных которым нелегко найти сейчас среди нас. Гринбаум резюмировал наши устремления в следующих словах: "Мы пришли сюда, чтобы вознести нашу сионистскую идею от воззрения катастрофического к воззрению эволюционному и подвести под наше национальное возрождение базу мирового прогресса". Боюсь, что юный читатель не поймет этой терминологии, я должен был бы объяснить ее, но нет смысла, ведь те дни прошли и прошли безвозвратно, и слова утратили свою ценность и значение, но мы понимали их и верили в них.

Один из весьма и весьма немногих, я все еще верю и теперь в программу Гельсингфорса; вопреки всему верю, что забрезжит рассвет, рассеются смерчи хаоса в странах, посланцы которых собрались тридцать лет назад в столице Финляндии, и что порядок, который укрепится в них, навеки будет тем порядком, о котором мы мечтали в Гельсингфорсе.

Моя совесть заставляет меня сделать здесь отчаянно дерзкое признание: в глубине своего сердца я считаю себя "редактором" Гельсингфорсской програм-

мы. Я отчетливо сознаю, что все направления мысли придал этой программе не я, а Идельсон; знаю я и то, что все детали, все без исключения, выработались и выкристаллизовались в беседах членов нашей "халястры", а также в тесном общении с участниками варшавской группы, упомянутой ранее, и с одесской группой, с которой у нас тоже была постоянная связь: с Израилем Тривусом, Нахумом Шимкиным, Шаломом Шварцем, Хаимом Гринбергом. И все-таки, если я не обуздаю своего порыва, не сдержусь и заполню список доказательств, что именно я, я и никто другой собственноручно сподобился сформулировать ее... но лучше, если я преодолею свой порыв, ибо нет сомнения, что все еще живет и здравствует тот **другой** или двое или четверо **других**, у которого (которых) имеется та же уверенность в глубине сердца, и, может быть, тот же перечень доводов и, может быть, то же право.

Об искусстве политики судят так же, как и об искусстве архитектора; пример — здание университета, которое я видел несколько дней назад в одном из городов Соединенных Штатов. Это башня в пятьдесят этажей, прекрасная, как сон на заре, как поток дней, который рвется из бездны в поднебесье, — и во всем городе я не нашел ни одного человека, который бы помнил имя строителя. Даже кельнер из ресторана, юноша, от которого ничего не могло скрыться (он и был тем, кто посоветовал мне посмотреть новый университет), он тоже не знал имени архитектора и с большой мудростью сказал:

— Это неважно, сударь. Архитектор сделал эскиз, пришли и исправили; пришли подрядчики и испортили, пришли болваны из муниципалитета и разрушили все, что можно было разрушить, но результат остается, и это главное. Кто построил? Америка построила.

Из Гельсингфорса я отправился снова на Волынь. Фракция "национал-ассимиляторов" объявила нам войну, запрещено выставлять напоказ сионистское знамя в русской Думе, ибо наши прогрессивные союзники могли покинуть нас и заявить: "Если вы сионисты, то почему вы требуете гражданских прав в России?" Я поехал в Петербург, "мобилизовал" там своего доброго приятеля Ш. Полякова-Литовцева (был он старым сионистом и единственным из всех известных мне с той поры и поныне журналистов, который умел брать интервью и верно воспроизводил содержание и дух слов своего собеседника). Он посетил руководителей партий освобождения – Милюкова, Ковалевского, Керенского и пр. и пр., и все они клялись ему, что будут защищать права евреев, независимо от того, будут ли выбраны в черте оседлости сионисты, ассимиляторы или раввины. Я опубликовал эти беседы в "Руси", поехал в Ровно и т. д. и т. п.

В итоге меня не выбрали в Думу. Еврейские "выборщики" (выборы были двухступенчатыми) избрали своими кандидатами еврея Ратнера и украинца Максима Славинского. Это был тот самый Славинский, который через пятнадцать лет был назначен министром в правительстве Петлюры и с которым я подписал известное соглашение, то соглашение, из-за которого меня кляли на всех перекрестках еврейской улицы и которое я готов подписать вторично. Но и эти двое не были выбраны. На Волыни избрали "черных", как и в остальных западных губерниях, и черта еврейской оседлости обогатила вторую Думу многочисленным воинством заклятых ненавистников Израиля. Из всех еврейских кандидатов избрали только трех. Но и вторая Дума просуществовала недолго, ее тоже распустили, и в конце года я снова предстал перед избирателями, на сей раз в своем родном городе Одессе, и снова не был выбран.

Но не этим памятна мне та осень, октябрь 1907

года. За несколько дней до выборов я кликнул извозчика и отправился в синагогу, вместе с мамой и сестрой. На пороге синагоги я встретил Аню, тоже в сопровождении ее матери и сестер. Аню, ту самую девочку, которую я назвал "мадемуазель", когда ей было десять лет и этим полонил ее сердце, как было рассказано ранее в воспоминаниях о моем детстве. В синагоге нас ожидал казенный раввин, миньян и хуппа. Я сказал Ане: "Вот ты и посвящена мне", и в сердце своем я дал обет "Я посвящен тебе", и из синагоги я поспешил на собрание избирателей.

Должен заметить здесь, что по всей строгости еврейского закона не было никакой необходимости в этой свадьбе. За семь лет до этого дня однажды вечером я был в доме Ани. Это была дружеская вечеринка, и кроме нее и меня в ней участвовали Анин брат Илья Гальперин и еще трое студентов — Илья Эпштейн, Александр Поляков и Моисей Гинсберг, — все друзья, о которых я мог бы многое рассказать, если бы мне довелось описать "вторую сторону" своей жизни, которую я решил похоронить. В тот день я получил гонорар в "Новостях" и в моем кармане еще осталась золотая монета. Я вручил ее Ане и сказал в присутствии всех: "Теперь ты посвящена мне этой монетой согласно вере Моисея и Израиля"... Господин Гинсберг-старший, отец моего товарища Миши, фанатичный еврей из истинно верующих, покачал головой и предостерег Аню, с полной серьезностью, что она должна будет потребовать от меня развод, если она соберется вступить в более солидный брак...

На другой день после голосования я сидел в конторе Усышкина около телефона: каждый час нас извещали о результатах подсчета голосов. Уже прежде полудня стало ясно, что меня не избрали. Не помню, сожалел ли я, но запомнилось, что меня преследовали другие думы. С детских лет и поныне я подвержен периодам "чистки", по-иностранному — "ревизии". Тяну я, тяну цепь своей жизни без претензий и

получаю от этого по большей части удовольствие в течение двух или трех лет, и вдруг как гром среди ясного неба раскрывается мне великая внутренняя тайна, что не могу я ничего выносить, и что все мне опротивело, и что не мой это путь. И на этот раз уже давно начался в моей душе бунт, бунт против себя – я не видел определенной линии в своей жизни, красной линии собственного желания и воли; как щепку на волнах, кидает меня в разные стороны внешний случай, меня вели, а не я вел, теперь я растворился в сионистской толпе, как ранее, в годы "легких" фельетонов – в ряду либералов, клоунов пера, которых нанимают на потеху читателя-бездельника, как до того, в Риме, я растворился среди итальянской молодежи, любителей вина с виноградников Фраскати и Гротаферрати в обществе молодой швейки. А меня, меня, меня нет? И вот еще что: я даю и не получаю. Грубый невежда и наглец, я проповедовал учение людям, учение, которого я еще не знаю, ибо с того дня как оставил университет, я ничему не учился, а только учил, только учил. Каждому журналисту знаком этот голод, голод мозга, который он выпрастывает изо дня в день, изливая свое содержимое перед читателем, и нет у него времени заполнить пустоту... "Баста!"

Моя жена паковала вещи для поездки во Францию – она изучала агрономию в Нанси. Я сказал ей: "Я провожу тебя до Берлина, там мы расстанемся, и я поеду в Вену. Я хочу учиться".

Около года прожил я в Вене. Не встречался ни с одной живой душой, не ходил на сионистские собрания, за исключением одного или двух раз. Я пожирал книги. Австрия в те времена была живой школой для изучения "национального вопроса". Дни и ночи я проводил в библиотеке университета и в библиотеке Рейхсрата. Я научился читать по-чешски и по-хорватски (теперь, разумеется, забыл), познакомился с историей русинов и словаков – вплоть до хроники 4000 ретороманов в кантоне Гризон в Швейцарии,

до обрядов армянской церкви (есть в Вене монастырь махитаристов, и в нем тоже библиотека), вплоть до жизни цыган, что в Венгрии и Румынии. Из каждой книги или брошюры я делал выписки: делал я их по-древнееврейски, чтобы усовершенствоваться в нашем языке, которого я тоже не знал как следует: кстати, с тех пор я привык к написанию еврейских слов латинскими буквами, так что и поныне оно мне легче и удобнее, чем ассирийская клинопись.

Константинополь

Тем временем разразилась революция в Турции, и одна петербургская газета предложила мне отправиться в Константинополь. Я поехал. Младотурки жаждали рекламы: несть числа министрам, которые приняли меня и заявляли в один голос, что их страна отныне и вовеки веков – Эдем и что отныне нет различия между турком и греком или армянином, все "оттоманы", одна нация с одним языком. "Разве есть, эфенди, такой язык – турецкий?" "Нет турецкого языка, господин, есть оттоманский язык!" То же говорили мне и в Салониках, там видел я Джавида-бея, мусульманина еврейского происхождения, члена секты саббатианцев, и Энвера-пашу, молодого и интеллигентного офицера, прекрасного, как дамский парикмахер. И в вопросе въезда евреев – одно и то же мнение у всех: "Почему нет? Будем очень рады, если они рассеются по всем углам государства, и в особенности если поселятся в Македонии, а также если возьмут на себя обязательство говорить по-оттомански".

И в Константинополе, и в Салониках я нашел сионистов: еще до революции было учреждено в Константинополе отделение Лондонского сионистского банка, но под нейтральным названием; Виктор Якобсон был назначен его директором. Я выступил

с речью по-итальянски о возрождении Израиля и Сиона и на другой день увидел в газете на испанском языке "Эль темпо": "Синьор Ж. произнес речь, проникнутую истинным оттоманским патриотизмом" (Vibranti di patriotismo ottomani). Моего терпения достало до Салоник, но после беседы с Энвером-пашой и Джавидом мое терпение лопнуло. Меня пригласили выступить перед учениками Альянса, этой цитадели ассимиляторов, которые вчера еще считали себя французами, а теперь не знали, что им делать и среди кого ассимилироваться. Я сказал им, чтобы они не торопились. Привел им в качестве примера Австрию: там немцам не удалось германизировать славян, несмотря на весь их огромный перевес более высокой культуры и высокий уровень и процветание экономики, и я намекнул, что здесь, в Турции, культурное и экономическое преимущество не за господствующей нацией, а за греками, армянами и арабами. Я покинул обновленную Турцию, и в сердце моем царила полная уверенность в отношении двух вещей: во-первых, что этот обновленный режим — режим слепоты и безумия, и, во-вторых, что распад его будет благом для всех народов Турции, начиная с самих турок, и, возможно, и для нас.

Из Салоник я отплыл в Палестину. Нет надобности в книге, напечатанной в Тель-Авиве, изображать еврейский ишув, каким он был в 1909 году. Напомню лишь об отдельных деталях, которые, возможно, забыты и отчасти, быть может, удивят благодаря огромной разнице между прошлым и настоящим. В Яффе я гостил в доме Дизенгофа*, моего друга по Одессе; его жена ходила каждое утро к колонке и с веселой улыбкой на благородном лице качала воду своими нежными руками. Ее муж пригласил меня пройтись по пустырям севернее Яффы и сказал мне: "Этот участок мы купили, здесь мы построим еврейский

*Дизенгоф Меир (1861 – 1936) – сионистский деятель, один из основателей и первый мэр Тель-Авива.

пригород, если Богу будет угодно, и в центре поселка воздвигнем здание гимназии, если, конечно, найдется кто-либо, кто даст деньги". В колониях я застал небольшие бригады рабочих; приняли они меня по-братски, попросили рассказать им, что делается на свете, и когда я поведал им на своем жалком древнееврейском языке о происходящем в Турции, со всех сторон раздались возгласы: "Что с того? Это неважно. Главное – почему нет алии из России?" Я отправился в Галилею: от колонии к колонии меня сопровождали бригады рабочих, ищущих работу, в большинстве своем они были с берданкой на плече и с патронташем за поясом. В дороге мы время от времени встречали еврейского стражника, который ехал верхом на коне, тоже с ружьем в руках. "А что, если вы натолкнетесь на жандарма?" Он скажет мне: "Здравствуй, хаваджа"*. В Месхе, у подножья горы Табор, я вошел в дом учителя, парня стройного, как кедр, и широкого в плечах, и он рассказал мне: "Позавчера ехал я верхом в Седжеру, встретил по дороге араба, тоже верхом на коне. Он остановил своего коня и попросил меня прикурить от цигарки, которую я держал во рту; есть такой обычай у разбойников в нашей округе: он намеревался неожиданно обхватить меня сзади, и тогда пиши пропало. Я вытащил свой револьвер, сунул свою цыгарку в дуло и поднес ему: прикуривай!" Он рассказал мне также, что всего лишь за неделю до того окончилась "война" в их округе: воевали два бедуинских племени, месяца два тянулось дело, были раненые и убитые, и никто и бровью не повел. В Тверии я попытался заговорить по-древнееврейски с сыном хозяина постоялого двора, молодым человеком 24 лет, учеником ашкеназской ешивы, он отвечал мне на идиш. "Разве ты не знаешь священного языка?" Он опустил голову и объяснил: "Мой рабби говорит, кто говорит по-древнееврейски? Отступники говорят

*Хаваджа *(араб.)* – господин, обращение к немусульманину.

на древнееврейском языке". И с вершины Табора я видел дикую пустошь – Изреельскую долину.

Вернувшись из Палестины, я задержался в Одессе, чтобы побеседовать с Усышкиным, а затем в Вильне, – местонахождении центрального комитета сионистов России. Мы решили собрать деньги и предложить их Давиду Вольфсону*, президенту Всемирной сионистской организации, для основания газеты в Константинополе.

Весной 1909 года я снова очутился в Петербурге, еще исполненный прежней жаждой учиться – неважно, чему учиться, лишь бы погружать глаза в печатную страницу, которую сочинил не я. Арнольд Зайденман, мой коллега по редакции "Рассвета" (я не помню, как называлась наша газета в то время, отныне и впредь я буду называть ее "Рассветом"), дал мне хороший совет: если ты этого так желаешь, то почему бы тебе не получить аттестат зрелости? Было мне 27 лет, возраст немного поздний для приобретения таких документов, но все же я согласился, и трудно описать удовольствие, которое я получил от азов позабытой науки, от латинской грамматики, и даже от русской грамматики (а "Ворон" Эдгара Аллена По в моем переводе был уже за несколько лет до того напечатан в "Чтеце-декламаторе"...), от русской истории в патриотическом изложении Иловайского, от теоремы, которую в Одесской гимназии называли "пифагоровы штаны". Единственным экзаменом, на котором я почти провалился, было сочинение по русской словесности: я получил балл, которым не похвастаешься, и один из экзаменующихся, репортер в народной газете, страстно захотел распространить эту сенсацию в своей газете и только с большим трудом удержался от исполнения этого намерения. Но аттестат зрелости я получил.

После этого меня снова отозвали в Константино-

*Вольфсон Давид (1856-1916) – соратник Герцля и его преемник на посту президента Всемирной сионистской организации.

поль: там я застал Вольфсона, мы посовещались, выработали программу действий, и я остался в турецкой столице обер-редакторствовать вместе с Вольфсоном не над одной газетой, а над целой прессой:

а) над общим французским обозрением под названием "Младотурок";

б) над сионистским еженедельником, тоже на французском языке; под названием "Л'орор" ("Заря");

в) над "Эль худео", еженедельником на испанском языке;

г) по истечении некоторого времени к ним добавился "Гамевассер", еженедельник на древнееврейском языке.

Я сомневаюсь, чтобы капитал, который мы собрали для их издания в России, насчитывал в целом 20000 франков, хотя франк в эти годы и котировался высоко, особенно в Турции.

Разумеется, я не мог "редактировать" этот бумажный потоп. Я выполнял ту же функцию, которую сегодня в стране советов выполняют политкомиссары. Истинным редактором обозрения был настоящий турок Джалаль Бури-бей, молодой человек, учившийся в Бельгии, сын высокопоставленного чиновника, правителя округа в Азии или что-то в этом роде. Испанский журнал редактировал Давид Эльканава, или вернее, ему незачем было "редактировать" его, ибо он собственноручно писал его от первой строки до последней. И собственноручно также наклеивал марки, вел бухгалтерские книги, равно как находил сам подписчиков и объявления. Был он юноша старательный и восторженный, верный сионист и вообще милый человек. А Люсьен Шуто, редактор французской "Зари", – тот вообще был журналист милостью Божьей, удачное сочетание ясного реалистического ума с быстротой реакции и эластичностью богатого и отточенного языка.

Финансовой стороной этого сложного дела ведал Гохберг, представитель переходного периода от "Хиббат Цион" к политическому сионизму. Он провел двадцать

лет в Эрец-Исраэль и в Сирии, знал Восток и его обычаи, был знаком с деятелями прежнего режима: вскоре я убедился в том, что это тоже очень важно, не менее важно, чем знать руководителей нового режима. Юридическим и политическим советником был у нас Исаак Нофех, который за несколько лет до этого приехал в Константинополь изучать турецкое судопроизводство.

Среди евреев наша работа процветала. Если есть переселение душ и если, прежде чем моя душа народится во второй раз, будет мне дозволено свыше избрать себе народ и племя по своей воле, я отвечу: "all right", Израиль, но на этот раз – сефардский. Я влюбился в сефардов, и, возможно, именно в те качества, над которыми смеются их ашкеназские братья: их "поверхностность" я семикратно предпочитаю нашей беспредметной глубине, их инерция милее мне нашей склонности преследовать каждую переменчивую химеру; поколения философской и политической спячки спасли их душевную свежесть; а что касается культурного богатства, – я сомневаюсь в том, что человека к порогу западной цивилизации (ибо не иначе: цивилизация и Запад – одно и то же) приблизит фунт французского и итальянского образования или тонна русской мистики. В Салониках, в Александрии, в Каире вы найдете еврейскую интеллигенцию того же уровня, что в Варшаве и в Риге; а в Италии – на голову выше той, что в Париже или в Вене. Лишь один крупный недостаток я согласен признать за ними: в сфере сионистской деятельности (хотя среди них национальная идея больше распространена, чем среди нас) еще нет у них аппетита завоевания, нет амбиций, но и они пробудят-пробудятся в свое время.

В еврейской среде наша пропаганда была успешной в обеих общинах: и в ашкеназской, и в сефардской. Но не добился я успеха, например, у Назим-бея, генерального секретаря партии младотурков, отца и истинного инициатора революции, возможно, послужившего решающим человеческим фактором, кото-

рый помог ускорить крушение Оттоманской империи. Это был человек непритязательный и бедный, как средневековый подвижник, холодный и застывший в своем фанатизме, как Торквемада, слепой и глухой к действительности, как чурбан. Снова тот же напев: несть эллина, несть армянина, все мы оттоманы. И мы будем рады приезду евреев — в Македонию. Та же песня у всех министров, депутатов парламента, журналистов. В общем, не в моей привычке считаться с первым отказом, исходящим от непреклонных, а также со вторым и с третьим отказом: может, они переменят свое убеждение, подождем и увидим. Но здесь я сразу почувствовал, что никакой опыт не поможет, никакое давление: здесь отказ органический, обязательный, общая ассимиляция — условие условий для существования абсурда, величаемого их империей, и нет другой надежды для сионизма, кроме как разбить вдребезги сам абсурд.

Я ненавидел Константинополь и свою работу, работу впустую. Зимой я поехал в Гамбург, на девятый конгресс, я очень наслаждался передышкой, великолепием Европы, стремясь забыть на какое-то время опостылевший мне Восток, но на конгрессе, как и прежде, у меня не было никакого другого дела, кроме как голосовать, по большей части вместе с остальными делегатами из России. Я вернулся в Константинополь с сердцем, снова полным тем же беспокойством неудовлетворенности и бунта против себя, которые погнали меня в Вену. Якобсон заболел еще до нашего выезда в Гамбург и после конгресса остался лечиться в Европе, и в Константинополе Гохберг показал мне бухгалтерские книги — очень немного осталось в нашей кассе от денег, собранных в России. Я написал в Кельн, где жил Вольфсон, в Одессу, в Вильну: все ответили мне просьбой дать совет — что делать? Все же мы продолжали свою работу с энергией и решительностью.

И летом 1910 года разразился между мной и Вольфсоном очень тяжелый конфликт. Сионистское руко-

водство в те времена состояло из тройки: Вольфсона, президента, и его заместителей – Якобуса Когена из Гааги и Боденгеймера из Кельна. За год до этого Якобус Коген посетил Палестину, написал книгу о своих путевых впечатлениях и выпустил ее тремя великолепными изданиями: голландским, немецким и французским. Я получил книгу в Константинополе и оторопел: простосердечно и громогласно Якобус Коген требовал в ней государственной автономии и еврейского самоуправления для Палестины, а также создания еврейской армии для поддержания порядка, и все это без промедления, тотчас же, в наши дни. Ревизионист до дарования ревизионистской Торы! Ирония судьбы и более чем ирония – комедия, что именно я, я и не кто другой, был поражен этими идеями. Однако, клянусь жизнью, меня поразили не идеи, а анархия, царившая в нашем правлении. Здесь, в Константинополе, всего годом ранее, мы вместе с президентом и с Якобсоном установили рамки нашей программы. Мы требовали алии и языка, и только алии и языка. Но даже намеком не упомянули мы такие опасные вещи, как автономия, – запретное слово, которое в ушах младотурок являлось пределом ”трефного” и верхом мерзости; и мы решили не отклоняться ни на волос от этой тактической линии, ни вправо, ни влево, пока не изгонят нас из Турции и не закроют все наши газеты. И тут выступает заместитель этого президента и заявляет совершенно недвусмысленно, что представители сионистской организации в Константинополе – обманщики. Мил мне государственный сионизм, с дней моего детства я не знал другого сионизма, но логика мне милей. Я не только поразился, но и рассердился, и написал подробное письмо Вольфсону с настоятельной просьбой приостановить распространение книги.

И все же через несколько дней после отправления этого письма нам стало известно, что Якобус Коген послал свою книгу в дар нескольким высокопоставленным туркам, депутатам парламента и редакторам

патриотических газет, и вскоре одна из этих газет объявила, что в недалеком будущем она начнет печатать "эту интересную книгу, излагающую официально и подробно требования сионистов" – день за днем и отрывок за отрывком в ясном и точном переводе.

В нашей сионистской общине поднялся переполох. Мы собрались на совещание: нас было человек двадцать, вся сионистская элита столицы, редакторы всех наших газет (разумеется, за исключением Джалаля Нури-бея), журналисты, главы организаций, руководители "Маккаби", учителя и многие, многие другие, также раввин ашкеназской общины со старым сионистом доктором Маркусом. Было единогласно принято решение немедленно послать телеграмму Вольфсону. Вот суть телеграммы: чтобы не разрушить всю нашу работу, мы требуем отставку Якобуса Когена и публичного запрещения его книги от имени правления. И я подписался.

Нет смысла рассказывать подробности обмена телеграммами и письмами, последовавшего за этим ультиматумом, да я и не помню их. Достаточно отметить, что с обеих сторон прозвучали слова гнева и осуждения, и, разумеется, Якобус Коген не "ушел в отставку", зато ушел я. Но не сразу: тем временем (об этом я говорил с Вольфсоном еще до конфликта), я решил отправиться в Россию для пополнения нашей пустой кассы: я поехал, денег я не собрал, ибо и сионисты в России тоже отчаялись в перспективах нашей турецкой пропаганды ("как об стену горох" – так резюмировал положение Ш. Розенбаум, член расширенного Исполнительного комитета сионистской организации в центральном виленском совете); и тогда я ушел в отставку. Но следует упомянуть, что до моего отъезда из Константинополя Гохберг – тот самый Гохберг, что "был сведущим в условиях Ориента" – посетил редактора, намеревающегося печатать книгу на страницах своей газеты, и перевод не появился.

Я люблю и почитаю Якобуса Когена, и если у

него есть душевная потребность в утешении, я утешу его: напечатай он даже свое сочинение на чистом турецком языке и расклей его на стенах мечети Айя-София, оно бы не повредило. Нельзя повредить там, где ничего нельзя достигнуть. И я навеки обязан ему благодарностью за то, что он помог мне освободиться от бесполезной обузы, хотя я и очень сожалел, что расстаюсь со своими друзьями-сионистами в Константинополе.

На перепутье

С середины лета 1910 года и до начала мировой войны я оставался в России. В глубине души я сомневаюсь, прав ли я, дав этой главе название "На перепутье": возможно, с точки зрения ее практического содержания больше подошло бы для этого фрагмента в качестве достойного заголовка "Конец жизни в России". Именно в этот период я выполнял работы, которых мне нечего стыдиться и как писателю и как общественному деятелю (одинокому деятелю в большинстве случаев). И, однако, каждый день в эти годы росло в моем сердце то ненасытное желание, которое некогда погнало меня в Вену, и я чувствовал, что теперь и Вена не спасет меня и что я не удовлетворюсь одним учением. Все мое существо томилось по чему-то, чего еще нет. Я не люблю воспоминания об этих четырех годах, и я сокращу описание их в этой книге.

Мы поселились в Одессе и оставались там два года, и здесь в декабре 1910 года родился мой сын, которого мы назвали Эри-Тодрос.

В 1912 году я поехал в Ярославль, губернский город, расположенный к северу от Москвы, где имелась старинная школа правоведения: я экзаменовался и получил университетский диплом, то есть право жительства вне "черты", а еще точнее, право жительства в Петербурге, без того чтобы изводить горы рублей на взятки дворникам и полицейским чинам,

как прежде.

После возвращения из Константинополя я окончил перевод стихов Бялика. Были мы тогда соседями по даче, около Одессы, и он помогал мне в переводе – объяснял места оригинала, которые мне не удавалось понять. Мы сблизились в эти недели: не знаю, изменился ли его характер впоследствии, так как с тех пор мы почти не видались, но в то лето я очень любил его за его чрезмерную скромность. Я показал ему свой перевод на древнееврейский язык "Ворона" Эдгара По, он предложил мне сделать несколько исправлений и в заключение сказал: "Но звучание искупает все". Как видно, было что искупать... Я послал перевод стихов Бялика в различные издательства в Петербурге: все они отказали, кроме одного, которое предложило мне 400 рублей за отказ от всех прав, независимо от того, появится ли книга в одном или во многих изданиях. Ибо я должен быть доволен уже тем, – объясняли они мне в своем письме, – что найдутся покупатели на такую книгу. В это время приехал из Петербурга Зальцман (он уже давно был приглашен туда вести хозяйство "Рассвета"), прочел письмо и сказал мне: "Я издам книгу". Свое обещание он выполнил и выпустил семь изданий в 35 000 экземплярах. Некоторые утверждают, что число читателей Бялика на русском языке превышало число тех, кто читали его на древнееврейском. Если это правда, – то благодаря Бялику, не мне: почти ни одна из моих книг не удостоилась переиздания.

Я снова стал писать статьи в "Новостях" раз в неделю и по большей части на еврейскую тему. Не было конца ссорам с остальными членами редакции из-за этого "шовинизма", но редактор газеты Хейфец стоял на своем и защищал меня. Большинство статей, перевод которых приводится в этом томе, напечатаны в "Новостях" между 1910 и 1912 годами, и я считаю этот период вершиной своей публицистической карьеры.

К этому же периоду относятся наши нападки на "Общество по распространению просвещения", твердыню руссификации в Одессе. Эту борьбу начал Ахад Гаам еще за несколько лет до того, но тем временем он переехал в Англию и "успокоилась земля". Теперь мы возобновили бой: но о нем мне тоже нечего рассказать. Собрания, речи, статьи, выборы, поражения, и каждое поражение – огромный шаг, приближающий к победе. Но победа пришла уже после моего отъезда из Одессы. Вспомню только один факт, факт незначительный и анекдотический; он вспоминается мне, потому что из него я узнал, что в горячке спора твой противник слышит не твой голос и не твои слова читает, а внимает лишь своему голосу и понимает только то, что желает понять. Нашим паролем в войне были слова "две пятых", то есть две пятых программы еврейской школы следует отвести на изучение еврейских предметов. Я написал статью под тем же названием: "Две пятых!" На другой день мне ответил лидер ассимиляторов в своей газете: он процитировал мою статью, процитировал название в подробном толковании и резюмировал: "Итак, сионисты требуют, чтобы **больше половины** учебного времени отводилось на изучение языка и еврейской истории".

В 1911 году разгорелся тот жестокий спор между мной и варшавскими газетами, которого до сих пор не простили мне в кругах "эндеции", и я тоже не простил им, однако, новая Польша – это теперь государство Пилсудского, а не "эндеции", и я надеюсь и молю Бога, чтобы не попали снова бразды правления над этим панским народом в такие руки, которые тогда, в дни Дмовского изменили традиции панства, и довольно... больше я ничего не скажу.

Но главное в моей сионистской деятельности в эти годы заключалось в пропаганде древнееврейского языка в качестве языка преподавания в школах диаспоры. Молодой читатель не поверит, если я скажу, что **бороться** за эту идею я должен был не с ассими-

ляторами, Боже упаси, а с такими же сионистами, как я сам, но это чистая правда; чепухой, болтовней, "фельетоном" обзывали они это мое требование. В пятидесяти городах и местечках я произносил одну и ту же речь о "Языке еврейской культуры", наизусть затвердил ее, каждое слово, и хотя я не ценитель повторения, но эта речь единственная, которой я буду гордиться до конца своих дней. И в каждом городе слушали ее сионисты и аплодировали, но после окончания ее подходили ко мне и говорили тоном, каким серьезный человек говорит с расшалившимся ребенком: химера...

В 1911 году собрался десятый сионистский конгресс: я отказался быть делегатом и не поехал в Базель, в первый раз с тех пор как я примкнул к движению. Подробностей своих аргументов я уже не помню, помню только главное, "общее" имя ему – чувство "чуждости". Уже давно, уже несколько лет как слабели и расшатывались мои связи с "халастрой" "Рассвета" и с центральным комитетом сионистов России: я сердился на них за то, что нет у них "линии", что они не умеют или не хотят "вести" движение и что сами эти слова – "линия", "вести" – они обращали в шутку, в дружескую шутку, правда. Но дружба – не отступные за ликвидацию, а что касается сионистов Запада, то с ними вообще не было у меня никакой связи и контакта. Я не поехал, вопреки мольбам со всех сторон, и характерно для того сердечного отношения, которое тогда еще объединяло всех нас, что конференция сионистов России послала мне телеграмму, в которой говорилось: "Твой дух с нами". Жаль, что по прошествии двух лет я поехал на Венский конгресс, последний предвоенный конгресс: если бы не это, возможно из Вены мне тоже послали бы дружественную телеграмму, а не оборвали бы последние нити, которые еще связывали меня с этим наивным сионизмом.

В 1912 году истек срок третьей Думы, и сионисты Одессы снова выставили мою кандидатуру. Я запро-

сил пощады: написал в центральный комитет (который за это время переехал из Вильны в Петербург), ибо не было в этом смысла: какую пользу мог принести один еврейский депутат, или двое, или даже трое, какую пользу могли принести они рядом со стаей диких зверей, вроде той, что мы видели в предыдущей Думе и что несомненно сподобимся увидеть в новой Думе? Но центр решил иначе, и я подчинился. Когда прошел месяц, решили те же самые сионисты снять мою кандидатуру в пользу Слиозберга, ибо они пришли к выводу, что в первой "курии", к которой он был приписан, имелись большие шансы на избрание еврея, чем во второй "курии", то есть в моей. Я не согласился с их мнением, но подчинился, и в обеих куриях прошли антисемиты. После этого я переехал на жительство в Петербург и оставался там до войны.

Летом 1913 года я отправился на Венский конгресс, одиннадцатый по счету, и там, на конференции сионистов России, предложил резолюцию: древнееврейский язык – единственный язык обучения во всякой еврейской национальной школе в России. За месяц до конференции с одобрения правительства был внесен законопроект о "государственном совете" ("верхней палате" в законодательном собрании, "нижней палатой" которого является Дума); суть этого закона – предоставление учредителям частной школы права самим выбирать язык преподавания в ней. Невероятно, необъяснимо, но я встретил раздражение и насмешку на сионистской конференции. Возможно, причина во мне, и вина моя в том моем странном свойстве раздражать людей, о котором я писал ранее. Их раздражала не только сущность моего предложения – они не верили фактам, которые я рассказал им: новый законопроект, проект, который был обнародован во всех газетах от имени официального агентства, – его почитали они тоже выдумкой. Они не смогли, разумеется, отклонить такое предложение на сионистском собрании. Приняли его со смехом и

с выкриками: "Это закон, который сможет быть проведен в жизнь только в мессианские времена". И я ушел с того собрания, как пасынок, что выходит из ворот дома, который он всегда называл "своим", и вот вдруг ему говорят: "Ты чужак".

Был в Израиле пророк, у которого родился сын, и он дал ему имя "Ло-Амми" – "Не мой народ". Не хочу преувеличивать, но если бы в эти дни у меня родился второй сын, я назвал бы его "Иври-Ани". – "Я еврей, говорящий на древнееврейском". Но странную отчужденность я чувствовал до глубины своего существа, и снова, теперь в силу июльской грозы, поднялся в моей душе "бунт" против моей жизни, против моего пути, против всего моего прошлого и настоящего. Тогда, в первый раз, я ясно понял: есть дикие создания, которые живут в доме братьев, дети одной матери, дети одного отца, но нет им верного и постоянного приюта, такая душа – либо построят ей кущу, шатер, каморку или хотя бы стойло, которые будут всецело принадлежать ей, либо она будет обречена странствовать по духовной чужбине, словно одинокий скиталец, от одного постоялого двора к другому. Сионизм? Это мой воздух – сионизм, мне нечем дышать без него, но и этот сионизм – не мой.

Если бы потребовали тогда от меня определить одним словом, какой сионизм "мой", возможно, я только с трудом нашел бы подходящее слово. Но пустословие утверждать, что неспособность сформулировать мысль равнозначна неспособности ясно мыслить. Мне был вполне ясен основной порок русского сионизма в эти годы (западным сионизмом я не интересовался, и он не стоил того, чтобы им интересоваться): он не творил конкретных дел. Действительно, уже началась вторая алия в Эрец-Исраэль, алия рабочих под девизом еврейского труда в колониях, и я видел их в Стране, но я вернулся из Константинополя в уверенности, что предварительным условием серьезного предприятия является изгнание турок.

Все-таки, там, в Стране, много ли – мало ли, но **строят** что-то, здесь же, в России, словно нет у нас другой заботы, кроме сочинения формулировок, "Stellungnahme", относительно всякой важной проблемы, и не более того. Струве, редактор известного ежемесячника "Русская мысль", пригласил меня написать для него статью о национальном еврейском движении. Помнится, я подчеркнул в ней эту странную болезнь: обилие размышлений и отсутствие действий. Тогда вышла в свет важная книга под редакцией ныне покойного Кастелянского – описание различных национальных движений народов России, и я указал в своей статье на характерный факт: в главе об эстонском движении содержатся данные о количестве созданных школ, в главе о евреях (написанной Дубновым) содержатся восемь программ восьми партий. Может быть я действительно легкомысленный человек, но в моих глазах нет толку в программе, если она не претворяется в дела немедленно, неважно, в успешные или нет. Дело, которое не удалось, – тоже шаг вперед. Помнится, в эти годы собралась конференция любителей нашего языка в Киеве, по приглашению Гиллеля Златопольского, который уже тогда начал свою агитацию за распространение древнееврейской речи: я не смог принять в ней участия, но послал письменное предложение: "Не принимайте никаких новых решений, кроме одного: учредить школы!" Усышкин, которому я вручил свое письмо, впоследствии сказал мне, что именно это предложение и не зачитали перед аудиторией: "Это не практическое предложение". В сфере местной политики я требовал союза между меньшинствами, переговоров с украинцами и литовцами; я сделал кое-какие практические шаги в этом направлении, у меня было много друзей в среде украинской общественности, потому что я поддерживал их движение на страницах "Новостей", но остальные сионистские деятели относились к этим моим затеям с ленивой и нескрываемой насмешкой. Что касается моего отношения к общесионистской

политике, то я давно уже чувствовал, что пришло время возобновить герцлевскую традицию: я начал писать статью по-немецки под названием "Zuruck zum Charter", кроме того, начал писать статью по-еврейски под названием "Сидим сложа руки". Но ни ту, ни другую я не окончил из-за гнетущего чувства, что не стоит, не для кого.

На Венском конгрессе было принято предложение Вейцмана об основании Еврейского университета в Иерусалиме, и я согласился войти в комитет, созданный для этой цели. Но вскоре выяснилось, что "университет" – это предлог, ибо доктор Вейцман хотел создать только "исследовательский институт", в котором работали бы ученые и стремились бы получить Нобелевскую премию, а не школу, в которой обучали бы студентов. Я направил протест в центр сионистской организации в Берлине, и я все еще помню один абзац из него: "Мне также ясно, что еще не в наших силах создать хороший университет; неважно, начнем с **плохого** университета – увидите, он будет иметь национальное и просветительное значение, равное дюжине хваленых исследовательских институтов". Я отправился в Бельгию, чтобы ознакомиться с вопросом о бюджете двух частных университетов: Лувенского и Брюссельского, затем поехал в Падую, где также имелся знаменитый университет с ограниченным бюджетом, и на обратном пути задержался в Берлине – в связи с заседанием нашего комитета. Там я потребовал отклонения программы "института" и установления принципа: высшая школа для студентов. Только один из членов комитета поддержал мое требование: Идельсон. Большинством голосов был утвержден план Вейцмана. И снова – то же самое: вместо решающего и революционного национального дела – игра.

Это было в начале лета 1914 года, за две недели до выстрела в Сараеве. Странное воспоминание: в том же городе Лувене я интересовался вопросом анатомического театра – ведь я не знал, что в Бель-

гии тоже трудно получить трупы для препарирования, а у нас в Палестине этот вопрос еще более сложный. Ван Гухустен, знаменитый невролог, который заведовал кафедрой анатомии, чуть ли не плакал передо мной, рассказывая о препятствиях, стоящих на его пути: "Нет трупов! Община, муниципалитет и церкви – все противятся передаче трупов для препарирования. Если бы я описал вам все уловки, настоящие кражи, к которым я вынужден прибегать, чтобы и у нас в будущем появилось поколение врачей, знающих свое дело, вы подумали бы, что я рассказываю вам средневековые небылицы..." Это тот самый Лувен, который по прошествии двух месяцев был потоплен в крови германской резни.

Здесь кончается первый круг повести моих дней, ибо нить прервалась сама собой, завершился период, которому нет продолжения: если я захочу жить, то должен родиться заново, а мне уже тридцать четыре года, давно минула моя юность и половина среднего возраста, и ту и другую я пустил по ветру. Не знаю, что бы я стал делать, если бы не перевернулся весь мир и не направил меня на пути, о коих я не думал: может быть, переселился бы в Страну, может быть, бежал бы в Рим, может быть, создал бы партию. Но в это лето грянула мировая война.

СЛОВО О ПОЛКУ

История Еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора

ГЛАВА I

КАК ЗАРОДИЛАСЬ МЫСЛЬ О ЛЕГИОНЕ

В начале декабря 1914-го года, на пароходе, шедшем, кажется, из Чивитавеккьи, приехал я в Александрию. Английский чиновник, вертя в руках мой русский паспорт и пытаясь выудить среди тридцати с чем-то нагроможденных виз разрешение на высадку в Египте, в то же время беседовал с офицерами из наших пассажиров и вдруг сказал:

– А на днях сюда привезли на пароходе из Яффы чуть ли не тысячу сионистов – турки их выгнали из Палестины.

Шел уже пятый месяц войны, и уже три месяца и больше, в роли корреспондента "Русских Ведомостей", я скитался по разным углам невеселого тогдашнего света. Редакция мне поручила не столько писать о самой войне, сколько о настроениях в связи с войной. В Швеции надо было выяснить, разделяет ли тамошнее общество новую веру Свен Гедина – будто Россия задумала отобрать у Норвегии не то Нарвик, не то даже Берген, чтобы этим путем приобрести, раз не дают ей Константинополя, незамерзающую гавань на теплом Гольфстриме вместо теплого Босфора; если разделяет, то нет ли опасности, что шведы примкнут к Германии и объявят России войну. В Англии мне поручено было присмотреться, нет ли доли правды в остроте, которая бойко тогда ходила по ресторациям земли русской и прочих земель, – что британский лев "готов воевать до последней капли русской крови". Во Франции "выяснять" было нечего – французские настроения даже

у остряков не вызывали никаких сомнений: там нужно было просто приглядеться – если пустят – к быту фронта; посмотреть Реймс и проверить, действительно ли немцы вконец расстреляли прекрасный собор; а также сообщить, бодро ли держится Париж или уныло. Но на месте оказалось, что "Париж" переведен уже в Бордо: правительственным учреждениям пришлось на время удалиться из угрожаемой столицы; я поехал в Бордо и там в одно мокрое утро я прочел на стене афишу о том, что Турция фактически примкнула к центральным державам и начала военные действия.

Признаюсь: до того утра я себя чувствовал, в Бордо и повсюду, просто наблюдателем, без особенных каких-либо побуждений пламенно желать одной стороне полной победы и полного разгрома другой. Ориентация моя в то время писалась так: мир вничью, и как можно скорее. Турецкий жест в одно короткое утро сделал из меня фанатика войны до конца – сделал эту войну "моею". Еще в 1909-м году, когда я в Константинополе обер-редактировал (это бывает только в молодости) сразу четыре сионистских газеты, а в Высокой Порте пановали младотурки, сложилось у меня незыблемое убеждение: где правит турок, там ни солнцу не светить, ни траве не расти, и вне распада Оттоманской империи нет надежды на восстановление Палестины. Теперь в Бордо, прочитав на стене подмокшую афишу, я сразу сделал единственный логический вывод; и по сей день не понимаю, почему многим из друзей моих понадобилось столько лет, чтобы прийти к такому простому заключению. Дело казалось мне ясно, как дважды два: что будет с евреями России, Польши, Галиции – все это очень важно, но в размахе исторической перспективы все это – вещь временная по сравнению с тем переворотом еврейского бытия, какой принесет нам расчленение Турции.

В том, что Турция, раз она только вмешалась в войну, будет разбита и разрезана в клочья, у меня

сомнений не было: опять-таки не понимаю, как могли вообще у кого бы то ни было зародиться на эту тему сомнения. Тут дело шло не о гаданиях, а просто о холодной арифметике, числовой и житейской. Рад случаю сказать это здесь, так как меня в те годы обвиняли в игре на гадательную ставку. В Турции я прожил долгое время газетным корреспондентом. Я держуть очень высокого мнения о газетном ремесле: добросовестный корреспондент знает о стране, откуда пишет, гораздо больше любого посла; по моим наблюдениям – нередко и больше любого местного профессора. Но в данном случае несложная правда о Турции была известна не только профессорам, а даже и послам. Конечно, того, что Германия будет разбита до сдачи на милость, не мог в то время предвидеть и журналист. Но что по всем счетам этой войны платить будет главным образом Турция, – об этом у меня и сомнений не было и быть не могло. Камень и железо могут выдержать пожар – деревянная постройка должна сгореть, и не спасет ее никакое чудо.

В какой точно момент зародилась у меня мысль о еврейском боевом контингенте – там ли, в Бордо, перед афишей, или позже – я теперь не помню. Думаю, однако, что вообще никакого такого момента не было. Где тот человек, какой угодно веры, который может по совести ткнуть пальцем в определенную дату и сказать: тут я уверовал? Каждый рождается уже с микробом своей секты где-то в мозгу, хотя бы этот микроб и не обнаружился до старости, или никогда. Полагаю, что мне вообще всегда было ясно, так сказать, отроду ясно: если приключится когда-нибудь война между Англией и Турцией, хорошо было бы евреям составить свой корпус и принять участие в завоевании Палестины, – хотя до того дня в Бордо я об этом отчетливо никогда не думал. Дело в том, что эта мысль – очень нормальная мысль, которая пришла бы в голову, при таких обстоятельствах, любому нормаль-

ному человеку; а я притязаю на чин вполне нормального человека. У нас в еврейском быту чин этот иногда переводится на разговорный язык при помощи речения "гойишер коп"; если это верно – тем хуже для нас.

Через несколько дней я телеграфировал редакции в Москву: "Предлагаю посетить мусульманские страны Северной Африки – выяснить эффект провозглашенной султаном священной войны на местное население". Редакция ответила: "Поезжайте".

Начал я с Марокко; но поехал нарочно через Мадрид. Там жил тогда Макс Нордау*; не тем будь помянута Франция, но в самом начале войны кому-то в Париже пришла в голову светлая мысль выселить его как "венгерца". Дикие происходили в то время вещи на свете...

Я спросил Нордау:

– Если бы можно было убедить англичан образовать еврейский контингент для участия в операциях на восточном фронте – палестинском – как бы вы к этому отнеслись?

Он отнесся скептически. Мысль правильная, но где найти солдат? Английские, французские, русские евреи служат в местных войсках; в нейтральной части Европы евреев мало; Америка далеко; и притом есть у евреев какое-то нелепо-сентиментальное отношение к Турции, к "кузену нашему Измаилу". Правда, с каких пор стали турки, племя туранское, родней семиту Измаилу, это ни одному ученому неведомо, но таково настроение, и Нордау самому пришлось с ним столкнуться после знаменитой его отповеди младотуркам на Гамбургском конгрессе.

– Помню ту вашу речь, – сказал я. – Вы тогда заявили: "Ехать в Туречину, чтобы там ассимилиро-

*Макс Нордау (псевд.; наст. имя Меир Симха Зюдфельд, 1849–1923) – еврейский мыслитель, писатель, один из основоположников политического сионизма.

ваться? Это мы можем найти ближе и дешевле". Я тогда приехал в Гамбург из Константинополя и бешено аплодировал.

— А у меня, — ответил он, — конца потом не было неприятностям с некоторыми чувствительными идиотами из нашего окружения: как можно, мол, так резко выражаться о "кузене"?

— Доктор, — сказал я, — но ведь не держать же нам курс на идиотов. Не только турок нам не кузен — и с подлинным Измаилом нет у нас ничего общего. Мы, слава Богу, европейцы: две тысячи лет помогаем мы строить европейскую цивилизацию. Вот еще одно место из другой вашей речи — я запомнил: "Мы идем в Палестину, чтобы раздвинуть моральные границы Европы до самого Евфрата". Худший враг наш в этом деле — турок. Теперь пришел его час. Неужели сидеть нам, сложа руки?

Глубокое слово сказал мне в ответ старый жизнеиспытатель — лишь много позднее довелось и пришлось мне понять, какое глубокое слово. Он покачал мудрой головою и ответил:

— Это, молодой человек, логика; а логика есть искусство греческое, и евреи терпеть его не могут. Еврей судит не по разуму — он судит по катастрофам. Он не купит зонтика "только" потому, что в небе появились облака: он раньше должен промокнуть и схватить воспаление легких — тогда другое дело.

Много прошло времени, пока я постиг всю правду этого замечания; и тогда, между прочим, обнаружилось, что есть на земле еще одно племя с точно таким же отношением к логике, тучам и зонтику — англичане. Только разница та, что у них и легкие крепче, и больше денег на лекарство.

После этой беседы я побывал в Марокко, Алжире, Тунисе, стараясь "обследовать", произвел ли турецкий призыв какое-либо впечатление, есть ли действительная опасность магометанского восстания. Конечно, обращаться за справками к самим мусульма-

нам было бы совершенно бесполезно. Тамошний туземец – великий дипломат (в том "классическом" смысле, о котором еще придется мне говорить по поводу свидания с Делькассэ*, а особенно – когда он боится. Я сделал проще – расспросил местных сефардских купцов: они такие же старожилы, но они умнее и откровеннее; и еврей, если только дело не касается его собственных еврейских интересов, вполне способен проявить и проницательность и дальнозоркость. Настроения арабов он знает доподлинно: даже если они ему рассказывают басни, он способен учесть притворство и понять, чего они не договаривают. Почти все эти сефарды – купцы, адвокаты, журналисты от Танжера до Туниса – дали мне один и тот же ответ, и история доказала, что они были правы:

– Призыв к священной войне? Абсурд. О впечатлении смешно и спрашивать. Только у вас, наивных европейцев, еще верят в то, будто на Востоке во имя солидарности ислама можно поднять народные массы и двинуть их на серьезный риск. Турки сами в это не верят: вот уже сто лет, как Европа бьет турок и отнимает у них лучшие земли одну за другой, и за все это время ни одна мусульманская нация пальцем не шевельнула в помощь султану, хоть он именуется халифом правоверных. Немцы, которые так же наивны, как и вся остальная Европа, убедили турок попробовать еще раз. Безнадежно. Ни одна душа тут за турок не заступится.

После этого, завернув "по дороге" в Рим, я поехал в Египет.

* * *

В Александрии я нашел очень оживленную сионистскую среду. Пароход, о котором говорил тот офицер, действительно привез больше тысячи беже-

*Делькассэ (1852–1923) – французский государственный деятель, дипломат.

цев из Яффы. Они рассказывали так: внезапно, ни с того ни с сего, тамошние власти велели арабской полиции хватать и тащить "нежелательных" евреев, чуть ли не по выбору околоточного надзирателя. Полицейские ("брат наш Измаил") выполнили задание с большим одушевлением, раздавая направо и налево удары, отбирая у изгоняемых утварь и деньги; а на море, на полдороге от пристани к пароходу, арабские лодочники часто впридачу опускали весла и требовали по фунту за каждого "пассажира", грозя в противном случае просто вывалить их в воду... Я пытался дознаться, за что выселили именно этих евреев, а не других: в их числе были купцы, торговцы, ремесленники, женщины, младенцы, врачи и просто бездельники. Так и не понял, что тут была за система.

Английские власти дали нам бараки и открыли денежный кредит; при канцелярии губернатора был даже устроен особый отдел попечения о беженцах с милым и дружелюбным человеком во главе – звали его мистер Хорнблоуэр. Помню еще одно имя: миссис Бродбент, которая заведовала по поручению Хорнблоуэра крупнейшим из беженских лагерей, в старом загородном дворце Габбари и которую дети называли "белая дама". Я тоже проработал несколько недель в Габбари. Было там до 1200 душ, в том числе около трехсот сефардов. Мы устроили две кухни: одну ашкеназийскую, одну сефардскую. Сначала, по неопытности, кухню сделали общую, но сефарды вскоре учинили чуть ли не подлинный бунт, жалуясь, главным образом, на то, что им дают "суп", а это у них, как выяснилось, считается чуть ли не покушением на отравление порядочного человека. Мы извинились и дали им особую кухню. Помню, что на первый же завтрак они, в знак примирения, пригласили и меня и угостили меня тарелкой какого-то варева, чрезвычайно вкусного, но, по-моему, совершенно похожего – на суп... Кроме того, была у нас школа, конечно, с препода-

ванием на еврейском языке; была библиотечка, аптека, вообще целое самоуправление, даже с отрядом стражи, которую мы назвали "нотерим". В лагере стоял гам на двенадцати языках — и это не считая еврейского; хорошо, что почти вся молодежь и половина мужчин знали по-еврейски, иначе, право, не представляю себе, как можно было бы управляться с этим микрокосмосом нашего рассеяния. Тут была бухарская палата, марокканская, грузинская, несколько эспаньольских; и палата учеников Яффской гимназии, которые отказывались принимать хинин, если аптекарь не умел им предложить это лекарство на языке Исайи. Также помню, что недели через две после высадки те же гимназисты организовали футбольную команду и устроили победоносный матч с александрийскими скаутами.

По утрам приезжали к нам в Габбари большие военные повозки с плечистым австралийским солдатом на козлах и парой громадных австралийских битюков в упряжи — все это для того, чтобы покатать младшую детвору. Австралийцы научились созывать детей по-еврейски: "yeladim henna!" — и в одну минуту повозка наполнялась стрекочущей массой ребятишек.

Иногда приходил к нам один из австралийских офицеров, лейтенант Лазарь Марголин, подолгу стоял, присматривался, переговаривался с беженцами на ломаном идиш и, вероятно, и не мечтал о том, что через несколько лет быть ему полковником еврейского батальона и что некоторые из этих самых беженцев будут тогда его солдатами.

Сефардская община Александрии честно и широко раскрыла нам и свое сердце, и свои кошельки. Главный раввин города Рафаэль Делла Пергола, культурный, даже высокообразованный флорентиец (к сожалению, ныне уже покойный), его помощник "Хахам Аврам" Абихзэр, банкир Эдгар Суарес (тоже покойник), видный негоциант Жозеф де Пиччотто и многие другие — имен уже не помню, хотя следовало

бы помянуть, — работали в бюро, собирали деньги, одежду, постельное белье, книги и представительствовали за беженцев перед властями. Были, конечно, работники и из русских евреев: З. Д. Левонтин, создатель и тогда еще директор нашей банковой сети в Палестине, добился каких-то кредитов и стал выдавать небольшие суммы тем из беженцев, у кого были вклады в Яффском банке; В. Л. Глускин, в то время директор винных погребов Ришон-ле-Циона, ежедневно объезжал все бараки и следил за порядком; М. А. Марголис, уполномоченный Нобеля на Ближнем Востоке, состоял казначеем попечительского комитета. Были и нееврейские волонтеры: особенно я помню красавицу-француженку, жену еврейского барона Феликса де Менашэ; всякий раз, когда она привозила в Габбари запас свежего хлеба, я дивился тому, как умно она одета: и просто, и в то же время обдуманно — словно бы имелся у парижских портных специальный покрой именно для такого случая...

Там, в Габбари, и зародился еврейский легион. Два человека сыграли при этом решающую роль: русский консул Петров и Иосиф Владимирович Трумпельдор.

ГЛАВА II

ПЕРВЫЙ ОПЫТ – ZION MULE CORPS

Консул Петров был горячий русский патриот. Как он, помимо того, относился в душе к нашему избранному народу, за это я ручаться не берусь – и вообще сам еще не настолько освободился от пережитков дедовской ксенофобии, чтобы иметь право выслеживать зерна того же недуга в чужой душе. Но патриот он был несомненный, и притом еще сухой и накрахмаленный бюрократ исконного, классического, деревянного образца. Среди нашей молодежи в беженских лагерях оказалось несколько сот русскоподданных. В то время в Египте еще действовали добрые старые "капитуляции", по которым консул имел экстерриториальные права над "своими" подданными. А поэтому консул Петров внезапно предъявил британским властям требование – отправить молодых людей на военную службу в Россию.

Положение получилось неудобное. Отношение наше и нашей молодежи к этому ходу консула Петрова понятно без объяснений. Но британское начальство, согласно капитуляциям, не имело права ему отказать: напротив, обязано было предоставить к его услугам для этой цели все свои полицейские силы.

К английскому губернатору (официально он именовался "советником" при губернаторе-туземце, но правил городом он) отправлена была депутация; а тут я, старый поклонник эспаньольского еврейства – это, по-моему, лучшие евреи на свете – подметил еще одно их достоинство, которого прежде не знал: как сефард разговаривает с начальством в городе, находящемся на военном положении.

Главным оратором депутации был Эдгар Суарес, банкир обычного банкирского типа, лет пятидесяти пяти, по взглядам – заклятый ассимилятор; с этим губернатором он, должно быть, каждый вечер играл в клубе в покер – но ведь и после этого губернатор оставался губернатором.

Суарес спросил его:

– А вы помните, ваше превосходительство, что творилось в Александрии два года тому назад, когда этот самый консул Петров хотел арестовать русского еврея Р. на том основании, что тот был "политическим преступником" в России?

– Помню, – отозвался губернатор несколько уныло, потому что действительно не забыл еще той громадной демонстрации десяти тысяч эспаньолов на главных улицах Александрии, с этим самым Суаресом во главе толпы.

– А помните, – опять спросил Суарес, – как вам пришлось вызвать пожарную команду с большой кишкою – а мы все-таки не выдали того "преступника"?

– Еще как помню, – ответил губернатор, теперь уже с улыбкой, потому что в конце концов был он все-таки "a sport" и умел ценить удачную проделку. – Что же мне было делать, когда какой-то босяк перерезал пожарную кишку?

– Позвольте представиться, – ответил Суарес, – я и был тот босяк.

Губернатор рассмеялся.

– Будьте спокойны, – сказал он, – ваших молодых людей мы не выдадим. Конечно, дело очень щекотливое – капитуляции, военное время... но о выдаче не может быть и речи.

После этого визита к губернатору я пошел знакомиться с И. В. Трумпельдором. О том, что он находился среди беженцев, я знал уже раньше, но никогда его не видел. Он жил на частной квартире. На консула Петрова можно было сердиться за что угодно, но одно надо признать: человек он был коррект-

ный. Как только до его сведения дошло, что в числе беженцев имеется бывший русский офицер, потерявший руку в Порт-Артуре, он сейчас же послал к нему передать привет и сообщить, что причитавшуюся Трумпельдору пенсию тот может получать ежемесячно в здешнем консульстве. Трумпельдор поэтому ни в чем не нуждался и еще другим помогал.

Я слыхал о нем, конечно, еще в России. Хотя следовало бы ожидать, что каждому читателю известна его биография, все-таки, пожалуй, разумнее будет напомнить ее главные черты.

Родился он на Кавказе, в 1880 году. Отец его был военный фельдшер, еще из николаевских солдат. "Ося" не видал гетто ни в отцовском доме, ни, конечно, в окружавшей его детство кавказской обстановке.

В университет он не попал из-за процентной нормы, а потому сдал экзамен на звание зубного врача. Тут подошла русско-японская война, и Трумпельдор очутился в Порт-Артуре. Во время знаменитой осады он был ранен и потерял левую руку выше локтя, но, выйдя из госпиталя, снова добился отправки на передовые позиции. У него было четыре Георгия.

После плена и заключения мира он попал в Петербург, получил недосягаемый в то время для еврея чин прапорщика запаса и был принят на юридический факультет. По окончании университета уехал в Палестину и стал простым рабочим где-то в Галилее. Работал с одной рукой прекрасно. Пришла война, и его выселили.

Сослуживец и друг его, покойный Д. Белоцерковский, рассказал мне такой случай из того времени, когда у Трумпельдора еще были обе руки: он уже был "отделенным" (выше этого чина, даже до младшего унтера, нельзя было тогда еврею дослужиться), и взвод его засел в окопах на сопке перед крепостью. Японцы круто наступали; почти все соседние сопки уже были очищены, во взводе Трумпельдора все

старшие чины перебиты – кроме прапорщика запаса, который уже давно ушел по начальству за приказом что делать, и не вернулся. Солдаты начали ворчать, стали ползти к выходу из траншеи. Трумпельдор стал у выхода с винтовкой и объявил: "Кто тронется с места – застрелю". Так и остались они в окопе, пока не опустела и последняя из соседних русских сопок. Тогда он солдат послал в крепость, но сам остался и полез на разведку: осмотрел профиль той местности и пришел к убеждению, что японцев еще можно прогнать. В это время увидел он на равнине, в стороне от огня, офицера в капитанских погонах морского дивизиона, с подзорной трубкой в руках. Трумпельдор спустился к нему и объяснил: если вызвать свежую роту и поставить ее там, то можно еще отобрать позицию назад.

– Верно, – сказал капитан. – Сбегай, голубчик, вон за тот бугор – там засела моя команда; скажи старшему офицеру, чтобы шли сюда.

Трумпельдор добежал до пригорка, на который сыпались японские снаряды, вскарабкался на вершину – и увидел, что морская команда, не выдержав огня, "отступила": "только пятки мелькали" – он вернулся к капитану и доложил. Тот глубоко огорчился: сорвал фуражку, ударил себя кулаком по седой голове и застонал:

– Осрамили! Удрали – как жиды!

Трумпельдор подтвердил мне потом этот анекдот, очень весело улыбаясь.

Я застал его дома. Вид у него был северянина, можно было принять и за шотландца или шведа. Рост выше среднего, тонкий; жесткие русые волосы коротко подстрижены, выбрит чисто, губы бледные, со спокойной улыбкой. По-русски говорил он хорошо, хотя в Палестине научился немного "петь". Еврейский язык у него капал медленно, был небогат словами, но точен; на идиш он говорил ужасно. Он был хорошо образован, большой начетчик в русской литературе – читал даже вещи, которых никто не

читал, Потебню и т.п. — и помнил каждую прочитанную строчку. По сей день не знаю, был ли он из тех, кого у нас в еврейском быту титулуют "умными". Скорее нет. У нас в это понятие входят всякие пряные приправы — подозрительность, скептицизм, хитроумие, умение перекрутить простую вещь навыворот, углубиться до левого уха правой рукой позади затылка. Всего этого я в Трумпельдоре не нашел. Зато был у него ясный и прямой рассудок; был мягкий и тихий юмор, помогавший ему тотчас отличать важную вещь от пустяка. Но и о важных вещах он умел говорить просто — без той ходульности, которая иногда чувствуется в его письмах. Говорил он трезво, спокойно, без сантиментов и пафоса и без крепких слов. В последнем отношении даже русская казарма не повлияла. От него я ни разу не слышал бранного слова, кроме разве одного: "шельма этакий". По-еврейски любимое выражение его было "эн давар" — ничего, не беда, сойдет. Рассказывают, что с этим словом на губах он и умер, пятью годами позже.

С одной рукой своей он управлялся лучше, чем большинство из нас с двумя. Без помощи мылся, брился, одевался; резал свой хлеб и чистил сапоги; в Палестине, потом в Галлиполи с одной рукой правил конем и стрелял из ружья. В его комнате был совершенно девичий порядок, платье было вычищено; все его обхождение было спокойно и учтиво; и он издавна был вегетарианец, социалист и ненавистник войны — только не из тех миролюбивцев, которые прячут руки в карман и ждут, чтобы другие за них воевали.

В тот день нам долго разговаривать не пришлось: с ним вообще не приходилось долго разговаривать. Не принадлежа к цеху "умников", он именно поэтому умел сразу понять дело до конца и через четверть часа ответить да или нет. Тут он ответил: да.

* * *

Вечером мы — комитет попечения о беженцах — собрались на квартире у М. А. Марголиса; кроме хозяина, были тут иерусалимский врач д-р Вайц, В. Л. Глускин, Г. Н. Городецкий, американский турист Г. Каплан, З. Д. Левонтин, Трумпельдор, агроном Я. Г. Этингер и я. Перечисляю имена так тщательно потому, что, выскажись то совещание против нашего плана, не о чем, вероятно, было бы теперь писать эту книгу. Но оно высказалось за: пятеро против двух, один воздержался. Протокол, с датой 17-го Адара 5675-го года хранится у В. Л. Глускина в Тель-Авиве.

* * *

Через неделю мы созвали беженскую молодежь на собрание в барак "Мафруза". Пришло около двухсот человек. За президентским столом сидел раввин Делла Пергола и другие члены беженского комитета, в том числе седой В. Л. Глускин.

Мы представили собранию отчет о положении. Требований консула Петрова англичане, конечно, не выполнят; но и вечно оставаться в бараках на чужом иждивении тоже не годится. С другой стороны, рано или поздно британская армия двинется из Египта на Палестину. Из Яффы ежедневно приходят новые грустные вести: турки запретили еврейские вывески на улицах, выслали доктора Руппина, представителя сионистской организации, несмотря на то, что он немец; арестовали руководящих деятелей еврейского населения и заявляют, что после войны уж и совсем никакой еврейской иммиграции не допустят. Итак?..

Документ, который мы в ту весеннюю ночь подписали в этом голом и темном сарае "Мафруза", хранится теперь у В. Л. Глускина и будет некогда

передан в национальную библиотеку нашу в Иерусалиме. Это – кусок бумаги обычного ученического формата; на нем резолюция о том, что учреждается еврейский полк, который предложит англичанам свои услуги для операций в Палестине, и около ста подписей. Первым подписался В. Л. Глускин.

– Я стар, – сказал он, вырывая у меня перо, – в солдаты не гожусь, но ответственность за это решение беру на себя.

На следующее утро, приехав в Габбари, я застал посреди двора целый парад. Три группы молодых людей обучались маршировать; инструктора были из их же среды, из бывших русских солдат. В углу девочки вышивали знамя; особый комитет из гимназистов уже шумел на весь лагерь, обсуждая, как перевести какой-то военный термин на язык Библии. Потом приехал Трумпельдор, все три взвода выстроились в колонну и прошли мимо него – или по крайней мере хотели пройти – церемониальным маршем.

Он сочувственно улыбался.

Я сказал ему потихоньку:

– Маршируют они ужасно. Как овцы.

Он ответил:

– Эн давар.

Через несколько дней мы отправили новую делегацию – в Каир. Прежде всего делегация пошла к министру внутренних дел (официальный чин: ”советник при...”). Назывался он тогда мистер Рональд Грэхем; теперь он сэр Рональд и состоит британским послом в Риме. Он оказался точно такой, каким и в книгах изображают шотландцев; сдержанный, неразговорчивый, хорошо прислушивается, но и вопросы задает скупо. Зато вскоре выяснилось, что дело он делает быстро и точно.

Он спросил: ”на сколько рекрутов вы рассчитываете?”, отметил что-то в записной книжке и сказал коротко:

– От меня это не зависит, но постараюсь.

После этого делегация поехала к генералу Максвеллу, который тогда командовал британскими войсками в Египте. Представил нас ему Каттауи-паша, милый старенький сефард, один из виднейших нотаблей всего Египта. В делегации были Трумпельдор, З.Д. Левонтин, В.Л. Глускин, М.А. Марголис и я. Бедного Трумпельдора мы заставили нацепить все четыре Георгия: два медных и два золотых. Генерал пристально посмотрел на него и коротко спросил:

– Порт-Артур?

Но ответ его на наше предложение разочаровал нас глубоко:

– О наступлении на Палестину я ничего не слышал и сомневаюсь, быть ли вообще такому наступлению. Кроме того, по закону, я не имею права принимать в британскую армию иностранцев. Могу предложить вам только одно: составить из ваших молодых людей отряд для транспорта на мулах и послать его на какой-нибудь другой турецкий фронт. Больше ничего не могу сделать.

В ту ночь, в номере у Глускина, мы все просидели до утра, обсуждая, что делать.

Нам, штатским, казалось, что предложение генерала Максвелла надо вежливо отклонить. Французское слово "Corps de muletiers", которое он употребил, прозвучало в наших ушах очень уж нелестно, почти презрительно: пристойная ли это комбинация – первый еврейский отряд за всю историю диаспоры, возрождение, Сион... и погонщики мулов? Во-вторых, "другой турецкий фронт". Что нам за дело до "других" фронтов? Неясно было даже, о каком именно фронте он говорил: первое морское покушение на Галлиполи тогда уже кончилось провалом, а о том, что подготовляется второе наступление, на этот раз уже с высадкой солдат на самом полуострове, – об этом еще только шептались. Но одно было ясно: в Палестину их не поведут. Значит, надо отказаться.

Другого мнения был Трумпельдор.

— Рассуждая по-солдатски, — сказал он, — я думаю, что вы преувеличиваете разницу. Окопы или транспорт — большого различия тут нет. И те, и те — солдаты, и без тех, и без других нельзя обойтись; да и опасность часто одна и та же. А я думаю, что вы просто стыдитесь слова "мул". Это уже совсем по-ребячески.

— "Мул", — отозвался кто то из нас, — ведь это почти осел. Звучит как ругательство, особенно по-еврейски.

— Позвольте, — ответил Трумпельдор, — по еврейски ведь и "лошадь" тоже ругательство — bist a ferd! — но службу в коннице вы бы считали для них честью. По-французски chameau — самое обидное слово; однако, есть и у французов, и у англичан верблюжьи корпуса, и служить в них считается шиком. Все это пустяки.

— Но ведь это и не палестинский фронт?

— И это не так существенно, рассуждая по-солдатски. Чтобы освободить Палестину, надо разбить турок. А где их бить, с юга или с севера, это уж технический вопрос. Каждый фронт ведет к Сиону.

Так мы ничего и не решили. Идя домой с Трумпельдором, я ему сказал:

— Может быть, вы и правы, но я в такой отряд не пойду.

— А я, пожалуй, пойду, — ответил он.

Утром, вернувшись в Александрию, я застал телеграмму из Генуи. Подпись была: "Рутенберг". Он спрашивал, могу ли я с ним повидаться и где. Его имя и биографию я, конечно, знал; ни разу с ним еще не виделся, но в Риме, еще до моего отъезда в Египет, мне сказал однажды А. В. Амфитеатров:

— Угадайте, кто теперь сильно заинтересовался сионизмом? Петр Моисеевич Рутенберг. Он говорит, что вмешательство Турции в войну открывает перед евреями блестящие возможности, и, по-моему, он теперь носится с важными планами. У него тут, кстати, большие связи в правительственных кругах,

и во Франции тоже.

Прочитав телеграмму, я сейчас же разыскал Трумпельдора и заявил ему:

– Иосиф Владимирович, я уезжаю. Если генерал Максвелл переменит свое решение и согласится учредить настоящий боевой полк, я приеду; если нет, поищу других генералов.

* * *

В средних числах апреля, в Бриндизи, я встретился с Рутенбергом – и там же застал телеграмму от Трумпельдора:

"Предложение Максвелла принято".

Я пишу не историю, а личные воспоминания. Сам я в Галлиполи не был, и потому не могу ничего рассказать об отряде Трумпельдора. Но одно должен признать: прав был Трумпельдор, а не я. Эти шестьсот "muletiers" потихоньку открыли новую эру в развитии сионистских возможностей. До тех пор трудно было говорить о сионизме даже с дружелюбно настроенными политическими деятелями: в то жестокое время кому из них было до сельскохозяйственной колонизации или до возрождения еврейской культуры? Все это лежало вне поля зрения. Маленькому отряду в Галлиполи удалось пробить в этой стене первую щель, проникнуть хоть одним пальцем в это заколдованное поле зрения воюющего мира. О еврейском отряде упомянули все европейские газеты; почти все военные корреспонденты, писавшие о Галлиполи, посвятили ему страницу или главу в своих письмах, потом и в книгах. Вообще, в течение всей первой половины военного времени отряд этот оказался единственной манифестацией, напомнившей миру, в особенности английскому военному миру, что сионизм "актуален", что из него еще можно сделать фактор, способный сыграть свою роль даже в грохоте пушек. Для меня же лично, для моей

дальнейшей работы по осуществлению замысла о легионе "Zion Mule Corps" сыграл роль ключа, открыл мне двери английского военного министерства, дверь кабинета Делькассэ в Париже, двери министерства иностранных дел в Петербурге.

Но и чисто военная история Галлиполийского отряда тоже представляет собой красивую страницу в нашей книге военной летописи. Очень жалею, что палестинские друзья Трумпельдора чересчур поторопились с выпуском его писем из Галлиполи. В них Трумпельдор обращался к близкому человеку и интимно рассказывал о печалях и заботах лагерной обыденщины, рассказывал с обычной своей любовью к деталям. Лагерная обыденщина всегда полна мелких дрязг. Возьмите любую из романтических кампаний самого Гарибальди: внутренная жизнь лагеря и там состояла наполовину из кухонной неурядицы, из ссор между поручиком А. и поручиком Б., из мириада мелких разочарований. Не в этом смысл коллективного действия. Смысл и ценность его в том, что с первого и до последнего дня злополучной черчиллевской авантюры эта группа беженской молодежи несла на себе тяжелую и опасную службу под турецким огнем. Трумпельдор и в этом был прав: для транспорта и для траншей – опасность оказалась одна и та же. Вся занятая англичанами площадь равнялась всего нескольким квадратным верстам; с вершины Ачи-Баба турецкие пушки засыпали картечью все это пространство, от передних окопов до лагеря еврейского транспорта. Под этим огнем им приходилось каждую ночь вести своих мулов, нагруженных амуницией, хлебом и консервами, к передовым траншеям и обратно. Они потеряли убитыми и ранеными пропорционально не меньше, чем остальные полки Галлиполийского корпуса, получили несколько медалей, отслужили свою службу смело, с пользой и честью. Особенно о смелости их писал мне генерал сэр Иан Гамильтон, главнокомандующий галлиполийской экспедицией: "...они работали со своими мула-

ми спокойно под сильным огнем, проявляя при этом еще высшую форму храбрости, чем та, которая нужна солдатам в передовых окопах – потому что тем ведь помогает возбуждение боевой обстановки..."

Командовал ими подполковник Джон Генри Патерсон, одна из замечательных христианских фигур, какие когда-либо попадались на пути нашем за все столетия рассеяния. Я познакомился с ним много позже и буду еще говорить о нем в дальнейших главах. Трумпельдор, за которым англичане признали чин капитана, был сначала вторым по команде, но к концу кампании Патерсон заболел, или был ранен – не помню – и был отослан на излечение в Англию, и тогда командование перешло к Трумпельдору. После ухода англичан из Галлиполи он еще несколько месяцев продержался во главе своего отряда в Александрии: там они бомбардировали начальство петициями, чтобы их не демобилизовали, чтобы дали им возможность остаться вместе и подготовиться к моменту начала операций на палестинском фронте; но петиции не помогли. Zion Mule Corps был учрежден в апреле 1915 года, а 26-го мая 1916 его распустили. Лишь около 120 из его участников снова попали в солдаты, добрались до Лондона – и из этой группы и вокруг нее там возник тот еврейский легион, который впоследствии, со штыками и пулеметами, принял участие в завоевании Палестины и которому принадлежит ряд могил под знаком щита Давидова на горе Елеонской. Прав был Трумпельдор: хоть победили мы в Иорданской долине, но путь через Галлиполи был правильный путь.

ГЛАВА III

ПРОВАЛ ЗА ПРОВАЛОМ

Историю летних месяцев 1915 года хочется рассказать как можно короче: это невеселая повесть о разочарованиях и провалах. Я не очень люблю вспоминать об этом периоде, хотя, с другой стороны, и он меня многому хорошему научил. Прежде всего научил он меня той важной истине, что в общественной жизни, особенно в борьбе за идею, начатое дело часто растет именно провалами. Как-то так выходит, что каждое поражение потом оказывается шагом к победе. Каждое поражение приносит новый десяток сторонников, иногда именно из круга вчерашних врагов. Как-то внезапно врагов этих осеняет откровение, что хоть они боролись против тебя, но в душе надеялись, что ты победишь, – и твое поражение оставляет в их сердце пустоту, с искоркой сожаления...

Эти месяцы были для меня школой терпения: теперь бы я мог написать целую теорию терпения в нескольких томах. Суть ее была бы в том, что после каждого провала надо себя проэкзаменовать и спросить: а ты, может быть, неправ? Если неправ, сходи с трибуны и замолчи. Если же прав, то не верь глазам: провал не провал; "нет" не ответ, пережди час и начинай сначала.

Что я был прав – это мне те месяцы тоже показали наглядно. И на каждом своем шагу, и даже на всем, что пытались делать мои сионистские противники, я видел новые доказательства той истины, что вне мысли о легионе нет никакой возмож-

ности втиснуть сионизм в ряд тех проблем, какими способен мир интересоваться в такое исключительное время.

Часто мне тогда вспоминался анекдот, который я слышал от Н. О. Соколова* еще задолго до войны. В 1901 году, после Лондонского (IV-го) конгресса, он поселился на отдых в швейцарском курорте. Там познакомился он с каким-то шотландским лордом и, между прочим, рассказал ему, что был на сионистском конгрессе.

– Oh, yes, – сказал лорд, – сионизм, очень интересно. Если не ошибаюсь, младший брат мой тоже принадлежит к этому движению, или, во всяком случае, к чему-то очень близкому...

Соколов изумился: лорд был завзятый католик, брат его, очевидно, тоже. В чем дело? Он стал расспрашивать и выяснил, что брат лорда – вегетарианец. Для посторонних, в 1901 году, это было "то же самое" движение, или "нечто весьма близкое".

Так оно осталось, для большинства государственных людей Европы, и в 1914–1915 году. В Италии, во Франции, часто в самой Англии повторялось то же впечатление: сионизм сам по себе для них в данный момент не существует; чтобы они его увидели сквозь свои военные очки, надо придать ему "актуальное" острие, иными словами – штык.

* * *

Рутенберга я застал в Бриндизи в маленьком отеле недалеко от гавани. Виделись мы в первый раз. Высокий, широкоплечий, плотно скроенный человек. В каждом движении и в каждом слове – отпечаток большой и угрюмой воли; я подозреваю,

*Нахум Соколов (1859–1936) – один из основоположников периодической печати на иврите и лидеров сионистского движения, президент Всемирной сионистской организации.

что он это знает и не любит забывать, и тщательно следит, чтобы и другие об этом ни на минуту не забыли. Кто знает – может быть, так и надо. В сущности, общественный деятель всегда находится на сцене, и вряд ли ему полагается выступать без грима; я говорю, конечно, не о ложном гриме, а о том, какой действительно соответствует подлинной природе данного работника политической сцены. Но никакой грим не может скрыть того факта, что у человека добродушные глаза и совсем детская улыбка. Я понимаю, почему его служащие и рабочие в Палестине повинуются Рутенбергу, как самодержцу, и любят его как родного.

Десятиминутной беседы оказалось достаточно, чтобы сговориться о главном. Хоть мы и никогда не переписывались, тут обнаружилось, что думали мы одну и ту же думу. И больше того: хотя в печати тогда еще не было ни одного слова ни о легионе вообще, ни об александрийских добровольцах, он почему-то знал наверное, что я работаю для этой цели; и я, хоть А. В. Амфитеатров в Риме не умел мне объяснить, в чем заключались планы Рутенберга, тоже сразу понял из его короткой телеграммы, зачем ему нужно свидание со мною. Странно, откуда берется этот беспроволочный телеграф между людьми, которые, встретясь на улице, не узнали бы друг друга...

В Бриндизи мы с П. М. Рутенбергом пришли к трем выводам:

Первый вывод: создать контингент – дело вполне возможное; человеческий материал найдется – в Англии, во Франции, в нейтральных странах околачиваются сотни и тысячи еврейской молодежи, по большей части российского происхождения, в штатском платье; и хоть Америка далеко, а все-таки есть и Америка.

Второй вывод: лучший партнер для нас, конечно, Англия, в этом отношении александрийские волонтеры наши поступили правильно; но "лучший" не

значит "единственный". Италия вся ходуном ходит, порываясь воевать, и скоро сорвется; а Италия и тогда, в то время, когда о Муссолини еще никто не думал, уже успела развить в себе здоровый и широкий аппетит ко всем побережьям Средиземного моря. Еще важнее Франция: для нее Палестина и Сирия – мечта пяти столетий, если не больше. Поэтому надо пробовать всюду: в Лондоне, в Париже, в Риме.

Третий вывод: в Риме будем работать вдвоем; потом мне ехать в Париж и в Лондон, а Рутенбергу – в Америку.

* * *

Попытка наша в Италии кончилась провалом. Несмотря на все народное возбуждение, в конце концов, ни министры, ни депутаты, с которыми познакомил меня Рутенберг или которых я сам частью разыскал по старой дружбе римского моего студенчества, – сами еще не знали, будет ли Италия воевать. И синьор Моска, товарищ министра колоний, и покойный Л. Биссолати, лидер социалистов, но большой сторонник войны, ответили нам одно и то же.

– Если Италия вмешается, тогда ваша мысль – отличная мысль; тогда приезжайте опять, мы обсудим это дело практически. Но теперь...

Париж: снова провал.

Там я нашел горячего друга сионистского дела в лице Гюстава Эрвэ. Старшее поколение читателей еще помнит его биографию. До войны это был заклятый пацифист, много в жизни пострадавший за антипатриотическое свое поведение, и газета его в Париже, на страх буржуям, называлась "La Guerre Sociale". Но с момента, как немцы переступили через бельгийскую границу, он переименовал свою газету в "Victoire" и стал одним из столпов воюющего отечества. Лично я его считаю, пожалуй,

самым даровитым из публицистов радикальной Франции. Правительство, понятно, ухаживало за ним с особой предупредительностью, согласно древней мудрости, выраженной еще в притче о блудном сыне. Он был один из тех немногих, которые сразу поняли ценность сионизма, и самого по себе, и, в частности, для державы, у которой есть притязания на Палестину.

Эрвэ представил меня министру иностранных дел; в то время это был Делькассэ. Делькассэ уже умер, и ничего непочтительного я сказать о нем не хочу, но впечатление свое все-таки передам откровенно. Беседа наша в первый раз открыла мне секрет, который позднейшие наблюдения подтвердили: у счастливых народов с готовыми государствами совсем не нужно быть гением, чтобы оказаться в первом ряду больших политиков. У нас в сионизме это гораздо труднее...

Покойный Делькассэ, кроме того, принадлежал к старой, "классической" школе дипломатии, к той плеяде тайноведов, государственная мудрость которых выразилась некогда в знаменитом слове Талейрана: "Язык есть лучшее средство для сокрытия мысли". Возможно, что это и было очень мудро сто лет тому назад: в наше время это – хитроумие весьма младенческое, уже прочно, если не ошибаюсь, вышедшее из моды в серьезном дипломатическом обиходе. Но милая Франция все еще ходит в театр на Расина и верит в классицизм.

Не имею ни малейшего намерения переоценивать свою чрезвычайно скромную роль: но говорю с полным убеждением, что в то утро Делькассэ много проиграл за счет Франции. Не еврейский легион, а гораздо больше. Я пошел к нему не только по собственной инициативе: мой визит был отчасти результатом совещаний с Х. Е. Вейцманом. За несколько дней до того он был в Париже. Тогда он уже начал свои переговоры с государственными деятелями Англии; был уже уверен в их сочувствии –

хотя жаловался, что они все еще пока не считают Палестину "актуальной". Но главным препятствием на пути его было то, что англичане опасались задеть или шокировать Францию какими-либо самостоятельными шагами касательно будущности Святой Земли. В то время еще жива была старинная международная традиция, по которой за Францией признавалось некоторое туманное притязание на Сирию и Палестину. Для сионистской дипломатии важно было знать, есть ли у французского правительства какое-нибудь определенное отношение к нашим требованиям, и особенно – есть ли надежда на сочувственное отношение. Если да – тогда надо будет вести работу на два фронта; если нет – можно будет сосредоточить все усилия в Англии: создать благоприятное отношение к сионизму, а может быть – что еще важнее – попытаться разбудить в Англии аппетит, активный интерес к лозунгу "British Palestine" и, следовательно, к операциям на палестинском фронте.

Вейцману, по многим причинам, неудобно было самому поставить этот вопрос перед французскими властями. Он вернулся в Лондон и там ждал результатов моего свидания с Делькассэ.

Свой вопрос министру я формулировал так:

– Если бы по окончании войны Палестина попала в сферу французского влияния, – можем ли мы, сионисты, надеяться, что французское правительство примет во внимание наши национальные стремления?

Он сразу ответил, даже с некоторым раздражением, как отвечают на вопрос, который вам доставил уже много неприятностей:

– Я не верю в то, чтобы Палестина могла достаться какой-либо одной из великих держав: на это не согласятся другие.

– Понимаю, – ответил я. – Но в таком случае предвидится некая форма совместного управления. Тогда Франция будет, во всяком случае, одним из влиятельных участников такого "кондоминиума". Поэтому позвольте снова поставить вопрос: будет ли

тогда французское влияние – влиянием благоприятным для сионизма?

Тут и выступил наружу "классический" дипломат, в словаре которого термины "да" и "нет" вычеркнуты. Совсем как тот анекдотический еврей, он ответил на вопрос вопросом:

– Разве Франция недостаточно доказала свое сочувствие израэлитам? Наша великая революция первая провозгласила равноправие...

– За это, г. министр, мы благодарны искренно, присно и во веки веков, – сказал я, – но я приехал из России и Украины, где шесть миллионов евреев поглощены теперь одной мыслью: что будет с Палестиной?

(Надеюсь, небо мне простит эти шесть миллионов, поглощенные одной мыслью...)

Он с минуту помолчал, а потом спросил, меняя тему по той же "классической" прописи:

– Каково теперь положение евреев в России?

– Хуже чем когда-либо, – ответил я коротко и точно, ибо сам к классической школе не принадлежу; а главное – ответ на то, что меня интересовало, я уже получил.

Гюстав Эрвэ, добрая душа, все-таки еще попытался помочь. Он рассказал министру, что в Египте образовался еврейский отряд...

– Слышал, – прервал Делькассэ, – но для Галлиполи.

– Да, но они теперь хотят образовать новый корпус, для Палестины, и они были бы счастливы, если бы этот корпус мог быть включен в состав французской армии...

– То есть, – вставил я, – при условии, если французское правительство сочувствует сионизму.

Делькассэ поднялся, заканчивая беседу скептической нотой:

– Вообще неизвестно, будет ли кампания в Палестине, и когда, и кто ее поведет...

В тот же день я послал в Лондон ответ со

следующими двумя выводами: а) Франция уже знает, что аннексировать Палестину ей не дадут; б) правительство сионизмом не интересуется.

В 1925 году, ровно через десять лет после этой беседы, я рассказал о ней французскому сенатору, большому другу сионизма и одному из тех (очень там многочисленных) политических деятелей, которые по сей день горько сожалеют о том, что Палестина досталась не Франции. Он досадливо покачал головой:

– Худшая беда для политика, это – не иметь воображения. Дипломат времен короля Пипина Короткого! Не понять, что и мечта, раз ее мечтают миллионы, уже сама по себе есть великая держава, ничуть не слабее Франции, и Англии, и Германии...

Тем не менее, из Парижа я вывез и несколько более отрадных впечатлений. Там, в беседе с глазу на глаз, чуть ли не перед зарею, Х. Е. Вейцман формально обещал мне свое содействие; и наступило время, когда он свое слово честно сдержал. Также и старый барон Эдмонд Ротшильд, отец палестинской колонизации, пришел в большое воодушевление, услышав о создании отряда в Александрии. Он сказал мне: "Обязательно постарайтесь расширить это начинание; сделайте из него крупную силу, а тем временем очередь дойдет и до Палестины". И хоть у меня в мозгу зашевелился при этом безмолвный вопрос: "Почему я? Почему не ты? Тебе ведь легче!" – все же я был ему благодарен за слово ободрения. Сын его Джеймс, тогда еще сержант французской армии, лечившийся от раны тут же в отцовском госпитале, подробно расспросил меня о плане легиона, наполовину сочувственно, наполовину насмешливо – это в его натуре; я отвечал ему аккуратно и добросовестно, упорно не замечая иронии, – ибо не столько интересуюсь натурой своих ближних, чтобы реагировать на их психологию, когда нужна мне отнюдь не их психология, а их деловая помощь. И позже, в Англии, он действительно часто

помогал мне своими колоссальными связями; а потом и сам вступил в один из еврейских батальонов, и даже руководил набором наших добровольцев в Палестине.

Но самое ценное, что я увез из Парижа, был малый квадратик твердой бумаги. Шарль Сеньобос, известный историк, на книгах которого воспиталось наше поколение в России, редактировал тогда, вместе с П. Пенлевэ, журнал "Annales des Nationalites", в котором отстаивались интересы разных угнетенных народностей. Я пошел к Сеньобосу спросить, не согласится ли он издать выпуск, целиком посвященный сионизму. Он согласился – только потом, занятый другими делами, я так и не собрался составить эту книгу. Но Сеньобос дал мне свою визитную карточку и написал на ней коротенькое письмо к лондонскому приятелю; это был редактор иностранного отдела "Таймса" по имени Генри Уикхэм Стид. Много нашел я потом людей, которые помогли мне в моей работе, но из всех талисманов эта записка оказалась сильнейшим – вероятно потому, что открыла мне доступ не просто к влиятельному человеку, а к журналисту. Я писал уже о том, что держусь очень высокого мнения о своем ремесле и о значении людей, принадлежащих к этому цеху. Может быть, и стыдно признаться, но я всегда считал, что журналисты есть, будут и должны быть правящей кастой всего мира... Но еще много прошло времени, прежде чем удалось мне использовать ту карточку; а пока – Париж был провалом.

* * *

Лондон: опять провал. В военном министерстве мне сказали, что лорд Китченер – тогда не только военный министр, но и военный кумир всей Англии – настроен резко против "экзотических полков" ("fancy regiments"), а также против операций на

экзотических фронтах. Попытался было я найти доступ к Герберту Сэмюэлу, который был тогда министром почты в кабинете Асквита и с которым сионистские деятели уже вели переговоры. Х. Е. Вейцман хотел даже нас свести, но ему это запретили Н. О. Соколов и покойный Е. В. Членов* – а они, оба члены Малого А. С. сионистской организации, были, так сказать, его начальством. Но Сэмюэл сам прочел в "Jewish Chronicle" подробное письмо из Египта об устройстве там еврейского отряда и при встрече спросил у сионистских лидеров, кто я такой. Д-р Гастер, главный раввин испанскопортугальской общины в Лондоне, родственник Сэмюэла и человек пламенного темперамента, ответил: "Просто болтун", а Соколов и Членов промолчали.

Несколько встреч у меня было с младшим англизированным поколением тамошнего сионизма: это были Норман Бентвич, Гарри Сакер, Леон Саймон и разные другие. Их идолом был Ахад Гаам. К моему плану они отнеслись отрицательно, причем некоторые выразили это вежливо.

* * *

Копенгаген: не только провал, но еще и разрыв – с сионистской организацией.

Летом 1915 г. состоялось там заседание Большого А. С. Съехались, несмотря на строгости военного времени, делегаты из Германии, России, Англии, Голландии. Я был тогда в Стокгольме; не состоя членом А. С., я не имел права участвовать в съезде. Но Е. В. Членов вызвал меня настойчивой телеграммой; и в частном заседании, где-то в гостинице, он, вызвав на помощь бравого д-ра Гантке, три часа подряд доказывал мне, что уже одно образование

*Членов Е. В. (1863–1918) – видный деятель сионистского движения в России.

транспортного отряда в Александрии было великим прегрешением, а дальше продолжать легионистскую агитацию — значит убить сионистское дело.

В записной книжке у меня отмечено несколько любопытных штрихов той беседы. Некоторые из них звучат теперь совсем трогательно. Д-р Гантке доказал мне, как дважды два четыре, что победа Германии на всех фронтах обеспечена математически и абсолютно. Он же разъяснил, при помощи наук исторических, статистических и экономических, что Турция никогда не откажется от Палестины: напротив, в ближайшем будущем следует ожидать восстаний в Египте, Алжире и Марокко.

— Господа, — ответил я, — спор наш бесполезен. Вы прибыли из Германии и из больной России, а я видел Англию, французский фронт, Египет, Алжир и Марокко. Все ваши рассуждения — самообман, с первого слова до последнего. Германия не победит, а Турция будет разбита вдребезги. Но к чему спорить? Я вам предлагаю сделку. Объявите, что сионистская организация соблюдает строгий нейтралитет и ничего общего не имеет ни с какими легионистскими планами; а я официально выступлю из сионисткой организации и буду вести свою работу в качестве частного лица; вам не буду мешать, и вы мне не мешайте.

Но они постановили — мешать. Съезд А.С. в Копенгагене вынес резолюцию, предлагавшую сионистам всех стран активно бороться против пропаганды легионизма. Я внезапно оказался на военном положении, почти один против всей сионистской организации.

Почти, но не совсем один. Никогда не забуду, что в том же Копенгагене, в эти самые дни моего разрыва с партией, я нашел того союзника, чья помощь (и были моменты, когда помощь эта носила характер самопожертвования) одна дала мне возможность выдержать ад последовавших лет: М.И. Гроссман, впоследствии директор Еврейского

Телеграфного Агентства в Лондоне и коллега мой по президиуму союза ревизионистов, жил тогда в Копенгагене в качестве корреспондента одной из петербургских газет. Мне еще много придется рассказывать о нашей совместной борьбе.

* * *

В заключение – совсем печальная глава: Россия летом 1915 г.

Это было последнее мое свидание со страной, где я родился и вырос. Я провел там три месяца, был в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе. Уже всюду пахло концом. Армия была вытеснена из Галиции; немцы заняли Варшаву, несколько позже – Ригу. Но не в этом сказывался "конец", а в том безучастии, с которым все это принималось. Люди ресторанного образа жизни рассказывали: утром читаешь: "пал Белосток", – а вечером видишь очень веселых офицеров с очень мило одетыми барышнями в "Медведе", "Вилле Родэ", в "Аквариуме", притом всюду сквозь густой палисад запыленных бутылок. Роскошь сверкала такая, какой мы в России до тех пор не видели; и потоком лилась беззаботная, жизнерадостная болтовня Бог знает о чем – главным образом об удачах высокопоставленных каких-то селадонов у дам (и мужчин) великосветского круга; вообще сплошная грязевая ванна из больших имен придворной, денежной, писательской знати. Во дворце распоряжался Распутин, назначая, кому быть губернатором в Томске, кому командовать Южной армией, кому лечить царевича. Во внутренних покоях дворца пряталась от людей одинокая, уже и в то время трагическая семья, о странно мещанском быте и духе которой, вслух и без стеснения, судачила праздная публика ресторации. Из этих пересудов у слушателя получалась тяжелая картина. Маленький, задумчивый, симпатичный и глубоко недобрый эпигон десяти

разноплеменных, но в равной степени выродившихся домов; немка-жена с душою, сотканной из прусского чванства и русской, Бог весть откуда взявшейся хлыстовщины; четыре бесцветные дочери, из которых, говорят, могли бы выйти хорошие девушки, если бы не та атмосфера некультурного медвежьего угла, в какой их держали; и хилый мальчик, у которого от малейшего укола уже не створаживалась водянистая кровь. Одинокая семья, от которой давно отвернулась великокняжеская родня ее, но внутри связанная слепой влюбленностью друг в друга и слепая ко всему внешнему миру, глухая перед грохотом надвигавшегося распада, при том еще гордая и довольная своей слепотой и глухотой. В Государственной Думе – с одной стороны черная сотня всех оттенков, которая после каждого нового удара на фронте выпячивала грудь и бодро поражала бусурман на карте указательным перстом; с другой – левые всех сортов, может быть, единственные в Петербурге, у кого действительно сердце болело в те дни, но и они утешали себя жалким утешением слабых, ежедневно повторяя: "Ведь мы вам это предсказывали".

А у евреев, как всегда в такое время, – мешанина из горя и надежды и истерической суетливости. На фронте бушевал ядовитый палач и наушник, русский патриот из поляков Янушкевич, вешая чуть не десятками еврейских "шпионов", выгоняя целые общины из городов и местечек; на каждой станции толпились голодные, ободранные, босоногие беженцы; мелькали образцы прекрасной солидарности: старики раввины, что отказались сесть в повозку и тащились пешком за сотни верст с толпою выселенцев; девушки, ждавшие ночи напролет на вокзале с тюками пищи и одежды, потому, что кто-то где-то сказал, будто должен прийти поезд с беженцами, неизвестно откуда, неведомо когда; миллионы крепких старых русских рублей на дело помощи, отданных с тем размахом широкой руки, которым гордилось когда-то русское еврейство. И рядом – милли-

онные доходы от военного барышничества, миллионное мотовство на жен своих и чужих; и поденное ожидание чего-то, что должно вот-вот произойти — не то землетрясение, не то светопреставление, только очень хорошее; и беспримерно яркая вспышка сионистских, почти мессианских мечтаний; и выкресты, и смешанные браки, и древнееврейская речь в каждом вагоне железной дороги, и повсюду нерешительный шепот, что пора бы взяться за подготовку самообороны...

Я все это видел со стороны. Русские коллеги в редакции московской газеты приняли меня как своего; но в сионистском Петербурге я наткнулся большей частью на замкнутые лица, а с главными вожаками и вообще не встретился. Я был отлучен, после двенадцати лет национальной работы вдруг оказался анафемой и отверженцем. В Одессе, родном моем городе, где еще недавно меня (право, не по заслугам) добрые люди на руках носили, теперь меня по субботам и главным праздникам обзывали предателем и погубителем в проповедях с амвона сионистской синагоги Явне. Кажется, один только смелый человек нашелся во всем взрослом поколении сионистов: И. А. Тривусь, с которым мы еще в 1903 году вместе организовали одесскую самооборону, первую в России, не побоялся и так-таки средь бела дня пришел повидаться. Он покачал головою и сказал мне:

— Никогда не следует спасать отечество без приглашения.

Не в обиду будь сказано, этот бойкот меня мало трогал; задело меня только одно обстоятельство, совсем уже непристойное. Старая мать моя, вытирая глаза, призналась мне, что к ней подошел на улице один из виднейших воротил русского сионизма, человек хороший, но с прочной репутацией великого моветона, и сказал в упор:

— Повесить надо вашего сына.

Ее это глубоко огорчило. Я спросил ее:

— Посоветуй: что мне дальше делать?

До сих пор, как гордятся люди пергаментом о столбовом дворянстве, я горжусь ее ответом:

— Если ты уверен, что прав, — не сдавайся.

Исключением оказался только Киев. Там меня по-братски приняли именно руководители местного сионизма — Н. С. Сыркин, М. С. Мазор, И. М. Маховер. Первых двух уже нет на свете; многих уже нет из тех, чьи имена упомянуты в моих записках, но об этих двух ушедших особенно больно отметить, что ушли: даже в том, "старом", "первых призывов" русском сионизме мало было таких дарований, как у первого, такой мудрой глубины, как у второго, такой бескорыстной чистоты, как у обоих. Я уж их не видел с той встречи в Киеве. Встретили меня киевляне как родного, созвали заседание, выслушали доклад, одобрили, ободрили, благословили на работу дальше и обещали помогать, чем можно; и сдержали слово. Не раз я в трудный день посылал телеграмму в Киев: "выручайте!" — и ответ всегда получался через банк. Но, хоть и банально это звучит, а, право, еще дороже деловой помощи было мне в последовавшие годы воспоминание об их дружеской встрече и о слове их на прощанье: "в добрый час".

Профессор Мануйлов, редактор "Русских Ведомостей", был сначала против того, чтобы я снова ехал за границу.

— Оставайтесь работать у нас в Москве, — предложил он, — зачем вам опять на запад?

— Легион, — ответил я.

— Если так, поезжайте с Богом, — сказал он. И два года подряд, пока большевики не закрыли, помогала мне старая честная газета, гордость русской печати, давая мне возможность жить в Лондоне, содержать свою семью в Петербурге и делать что угодно.

ГЛАВА IV

ПРОТИВ ВСЕХ

На обратном пути в Лондоне я опять остановился в Копенгагене, – повидаться с Гроссманом. Ничего мне веселого рассказать он не смог. Сионисты учредили в Копенгагене бюро, и оно повсюду разослало циркуляры со строгим наказом – противодействовать всякой легионистской агитации и бойкотировать ее инициаторов. В результате нашлось уже несколько студенческих групп, кажется, в Швейцарии, которые, сидя дома, приняли героические резолюции против легиона. Новых сторонников не прибывало – кроме одного: где-то в Гааге откликнулся неизвестный молодой человек по имени Яков Ландау. Он проектировал устроить агентство для пропаганды антитурецкой ориентации и легионизма через общую печать и сам уже начал помещать в этом духе заметки в голландских газетах, за что местные сионисты, с г-ном Нехемией Де Лимэ во главе, исключили его из организации. Молодой человек, однако, не испугался и продолжал свое дело, – а в то время голландская печать, именно потому, что была нейтральна, имела довольно широкий круг влияния. Это тот самый Ландау, который теперь стоит во главе Еврейского Телеграфного Агентства в Америке.

Мы с Гроссманом решили основать в Копенгагене журнал. Многие его помнят – он издавался на идиш и назывался "Трибуна". За последние годы в разных городах: австрийских, чешских, румынских, польских я часто встречаю людей, у которых еще по сей день

хранятся в книжном шкафу комплекты тех зеленых тетрадок 1915-го и 1916-го года. Эти люди мне рассказывали, что "Трибуна" была в те годы единственным каналом, через который доходило до сионистов Центральной Европы слово правды о положении в Палестине, об отношении турок к сионизму, о перспективах сионистского движения в связи с войной. Как удалось Гроссману содержать свой журнал – для меня долго было тайной. Я из Лондона мало чем мог ему помочь. Не мог помочь даже распространением "Трибуны": мудрый британский цензор со второго номера запретил продажу единственного англофильского органа в Израиле на том основании, что сия газета нападает на погромную деятельность русского правительства. Я люблю англичан, но нет на свете такого путанника, как английский столоначальник, когда попадает к нему в руки что-либо "экзотическое"... Впоследствии, однако, я нашел объяснение гроссманову чуду: он платил типографии из своего собственного корреспондентского жалования.

К середине августа 1915 года я опять приехал в Лондон: осмотрелся вокруг и ясно увидел, что положение было для наших планов самое со всех сторон неблагоприятное.

Во-первых, – политика Китченера. У него была простая теория: все усилия надо сосредоточить исключительно на западном фронте. Восток не имеет никакого значения. Англичане до сих пор, кажется, считают Китченера большим стратегом – хотя еще при жизни его довелось мне слышать и обратное мнение, даже в резкой форме, притом из уст специалистов. Я не специалист, но все же беру на себя смелость и тут повторить то, что писал уже раз по поводу Делькассэ. Далеко не каждый, кто у них считается великим человеком, действительно велик. Китченер был первоклассный солдат, превосходный организатор; но "стратег" – это нечто иное. Страте-

гией называется умение сразу найти, на пространстве широко разбросанного фронта, слабейший пункт неприятеля. Для этого нужна та особая черта, которую англичане называют "imagination" – это не просто "воображение", русское слово не вполне передает специальный оттенок. Этого таланта боги Китченеру не дали. Безупречный артиллерист: точно изучил, где неприятельская крепость, точно высчитал дистанцию, гениально расставил свои батареи, приказал подвезти ровно столько пушек, сколько недостатет, плюс еще вдвое больше, – и будет стрелять безошибочно. И для этого тоже нужен ум и талант. Но стратегу требуется ум иного склада – того склада, что шахматисту... Наступило время – значительно позже – когда даже в военном министерстве поднялся ропот против китченеровской стратегии. Незадолго до его смерти в генеральном штабе, в обеих палатах, в печати уже сложилась сильная оппозиция – "за восточный фронт". "Восточники" настаивали, что слабейший пункт неприятельского кольца лежит за Суэцем, что Турцию можно разбить при сравнительно небольшом усилии и что это и будет для Германии ударом в самое сердце, потому что ведь она всю войну затеяла ради овладения Ближним и Средним Востоком. Ллойд Джордж был одним из убежденнейших сторонников этого течения. Но Китченер не сдавался. Смерть его, как ни была бессмысленна и трагична (броненосец, увозивший его в Россию, наткнулся на мину и пошел ко дну, чуть ли не в виду шотландского берега), была для него своевременной – все равно через несколько месяцев развитие событий заставило бы Ллойд Джорджа потребовать его отставки.

Но осенью 1915 года Китченер еще был у них богом. Самая мысль о наступлении на востоке была глубоко скомпрометирована дарданелльским провалом.

"Контингент для Палестины? – говорили мне все серьезные люди. – Да кто думает о Палестине?"

Во-вторых, — сионисты. Организация наша в Англии была тогда еще гораздо меньше и бледнее, чем даже теперь; но война усилила ее серенький состав двумя первоклассными дирижерами из-за границы — Членовым и Соколовым. Оба были против легиона, и это определило общее отношение к моему плану еще до начала спора. К тому же единственное идейное влияние, какое хоть немного чувствовалось в очень поверхностной атмосфере этого сионистского захолустья, было тоже для моего дела неблагоприятно: в Лондоне жил тогда Ахад-Гаам*, и вокруг него образовался кружок поклонников. Некоторые из них и по сей день воюют против идеи еврейского государства и даже еврейского большинства в Палестине.

Исключений было очень мало, именно поэтому мне хочется их перечислить. Джозеф Коуэн и д-р Идер поддержали меня с самого начала до самого конца. Собственно говоря, авторское право на мысль о еврейском контингенте принадлежит им: они еще с первого месяца войны пробовали начать агитацию за учреждение специального еврейского батальона, правда, не для Палестины. Конечно, из этой агитации ничего не вышло; и, конечно, авторитет их был слишком слаб в качестве противовеса таким именам, как Соколов, Членов и Ахад-Гаам.

Одного союзника нашел я в самом центре еврейской массы, в Уайтчепле: звали его А. Бейлин, писатель он был хороший, но общественного влияния никакого не имел.

Отдельно стоял Х. Е. Вейцман. Еще в Париже он заявил себя сторонником легиона; в Лондоне мы сблизились еще больше. Месяца три мы даже вместе жили в маленькой квартире, в одном из переулков "богемского" Челси, в двух шагах от Темзы. Он в

*Ахад-Гаам (псевд.; наст. имя Ашер Гирш Гинцберг, 1856–1927) — еврейский писатель-публицист и философ, основатель "духовного сионизма".

то время еше только переселился из Манчестера, оставив университетскую кафедру для работы в правительственных лабораториях; он трудился над усовершенствованием своего химического открытия, которое потом сыграло крупную роль в удешевлении производства взрывчатых веществ, особенно кордита. Эта же работа, собственно, и свела его с тогдашним министром военного снабжения – Ллойд Джорджем. После восьми, иногда десяти, иногда двенадцати часов в лаборатории он еще как-то находил время каждый вечер шагом дальше двинуть свою политическую работу, вербуя новые связи, привлекая новых и влиятельных помощников. Мы в те месяцы подружились; надеюсь, и теперь не стали врагами – хотя политическая борьба нас далеко разрознила и вряд ли уж когда-либо снова сведет.

Он был сторонником моих планов; но честно признался мне, что не может и не хочет осложнять и затруднять свою собственную политическую задачу открытой поддержкой проекта, который формально осужден сионистским А. С. и чрезвычайно непопулярен у еврейской массы Лондона.

Однажды он сказал мне характерную для него фразу:

– Я не могу, как вы, работать в атмосфере, где все на меня злятся и все меня терпеть не могут. Это ежедневное трение испортило бы мне жизнь, отняло бы у меня всю охоту трудиться. Вы уж лучше предоставьте мне действовать на свой лад; придет время, когда я найду пути, как вам помочь по-своему.

Время такое пришло, он свое слово сдержал, и я это помню. Но тогда, осенью 1915 года и еще долго после того, его сочувствие ни в чем не могло выразиться и не могло изменить общего тона обстановки, в которой я жил: раздраженная враждебность со всех сторон.

Третьим и худшим из неблагоприятных условий

была сама еврейская молодежь. Ист-Энд жил, как всегда, в полное свое удовольствие. Его широкие тротуары, рестораны, чайные, кинематографы, театры каждый вечер наполнялись толпою здоровых, сытых, нарядных молодых людей. Особый остров внутри Англии, отделенный от нее другим и еще более глубоким Ламаншем. Здесь я на первых порах не встретил даже вражды: встретил просто равнодушие. Если можно выразить коллективную душу в одной формуле, для них я бы взял знаменитые слова Столыпина: "Так было, так будет". Палестина? Жили без нее, "значит" – и дальше можно жить. Она давно уже не наша, "значит" – и дальше будет не наша. Еврейского полка нет, "значит" – и не будет. И, хоть и сидим мы спокойно по чайным, пока английская молодежь умирает в окопах, никто нас не трогает; "значит" – и впредь оставят нас в покое. Птичка Божия не знала ни заботы – ни Англии. Их не только нельзя было переубедить, – нельзя было даже смутить их беспечность, заставить их испугаться за собственный завтрашний день: раз сегодня тихо, "значит" – и завтра будет все по-старому. Этот вид импрессионизма, живущего исключительно опытом последней недели, – вообще застарелая болезнь гетто; но ни до того, ни после не довелось мне наблюдать ее в таких дозах.

В этом отношении Уайтчепл был, вероятно, не хуже и не лучше эмигрантских кварталов любого иного города; но в Уайтчеплской атмосфере чувствовалось еще что-то – что-то неприятное, в чем другие эмигрантские гнезда неповинны. Американское гетто, сколько бы у него ни было недостатков, может все же по праву гордиться своим широким сердцем и щедрой рукой; у него есть традиция (или хоть иллюзия) некоторого идеалистического (или хотя бы только сентиментального) отношения к внешнему миру, к обоим полюсам внешнего мира – сердце их болит за еврейский народ, и они гордятся Америкой. Гетто Парижа в еврейском отношении

пассивно, но в нем хоть есть подлинная и благодарная привязанность к Франции. Ист-Энд не любит и не ненавидит: у Ист-Энда вообще нет никакого отношения ни к каким внешним коллективам — ни к народам, ни к странам, ни к классам. Может быть, теперь это изменилось, но тогда это было так. Они сами говорили: какую угодно идею привезите в Уайтчепл — скиснет, как молоко в духоте.

Исключения были, даже блестящие, но изволь искать иголку в Синайской пустыне.

Помню хорошее слово, полное меткого и горького юмора, что сказал мне один умный тамошний анархист о душе Уайтчепла. Это было осенью 1916 года, когда Гроссман и Трумпельдор уже прибыли в Лондон и мы вместе пытались на публичных собраниях убедить еврейскую молодежь, что единственный достойный выход из создавшегося положения — легион; и молодежь отвечала нам шумом, бранью и скандалами.

— Мистер Ж., — сказал мне тот анархист после одного особенно бурного митинга, — долго вы еще собираетесь метать горох об стенку? Ничего вы в наших людях не понимаете. Вы им толкуете, что вот это они должны сделать "как евреи", а вот это "как англичане", а вот это "как люди"... Болтовня. Мы не евреи. Мы не англичане. Мы не люди. А кто мы? Портные.

Привожу это горькое слово только потому, что в конце концов Ист-Энд за себя постоял. Солдат он нам дал первосортных, смелых и выносливых; даже самая кличка "портной" — "шнейдер" — постепенно потом приобрела во всех наших батальонах оттенок почетного прозвища, стала синонимом настоящего человека, который исполняет что положено, не хныча и не хвастаясь, точно, сурово и спокойно. Где-то в последней глубине уайтчеплской души все-таки нашлось un je ne sais quoi, скрытый родничок ответственности, забытое зерно самоуважения, и все это выступило наружу, когда подошла трудная минута

испытаний и опасностей. В последнем счете тот анархист оказался неправ — как, вероятно, всегда и всюду неправы критики масс: в последнем счете. Но тогда, в начале, диагноз его подходил, как перчатка: у этой массы, не знаю по чьей вине (может быть, виноват был жесткий холодок их английского окружения) онемел тот именно нерв, который связывает единицу с суммой, с расой, краем, человечеством — и единственная связь с коллективом, еще кое-как им, быть может, понятная, сводилась к их ремеслу: я купец, ты учитель, мы портные...

Изумительнее всего при этом была их слепота ко всему, что творилось за воображаемой стеной, будто бы отделявшей их от остальной Англии. "Никто нас не трогает"... Но первые шаги мои в Лондоне ясно показали мне все симптомы недалекой бури — именно бури над Ист-Эндом. В каждой комнате военного министерства, в каждой лондонской редакции, от каждой кузины и тетки моей английской квартирной хозяйки в Челси я слышал одну и ту же раздраженную жалобу: наши гибнут по сотне в час — а те молодчики ваши разгуливают с барышнями и играют на бильярде. В печати уже начинали осторожно вентилировать вопрос о принудительном наборе — пока еще не для Уайтчепла, а только для собственных, английских домоседов. Только со сна можно было не разобрать, что скоро, очень скоро дойдет очередь и до безмятежных иностранцев. Но дремать приятно, и того, кто непрошенный пытается будить, люди терпеть не могут.

Таков был главный резервуар человеческого материала, на котором зиждились мои планы; и я был почти одинок; и сионисты меня отлучили от церкви; а Китченер говорит, что в Палестину идти не стоит и что никаких экзотических батальонов он не хочет...

Я не слеп. Все это я видел ясно, взвесил, проверил и подсчитал. Не скажу, чтобы итог мне дался без сомнений и колебаний. Напротив, много было сомнений и много минут уныния. Но итог все-таки

получился твердый, и вот он, по пунктам.

Лорд Китченер ошибается: Англии придется воевать на Палестинском фронте.

Лорд Китченер еще в одном ошибся: еврейский легион не экзотика, а неизбежность и необходимость для самой Англии. Правительство будет вынуждено его создать, потому что общественное мнение Англии заставит его мобилизовать Ист-Энд, – а еврейский контингент для Палестины есть единственная форма, в которой можно провести эту мобилизацию без мирового скандала.

Сионисты ошибаются. Легион и для них необходим – и еще придет время, когда они будут стоять на улицах Уайтчепла и рукоплескать его церемониальному маршу.

Уайтчепл тоже ошибается: его "тронут", и скоро. Единственный выход для его молодежи называется легион. Служить они пойдут – и еще спасибо скажут, что им хоть дана будет возможность биться за еврейское дело.

"Все ошибаются, ты один прав?" Не сомневаюсь, что у читателя сама собою напрашивается эта насмешливая фраза. На это принято отвечать извинительными оговорками на тему о том, что я, мол, вполне уважаю общественное мнение, считаюсь с ним, рад был идти на уступки... Все это не нужно, и все это неправда. Этак ни во что на свете верить нельзя, если только раз допустить сомнение, что, быть может, прав не ты, а твои противники. Так дело не делается. Правда на свете одна, и она вся у тебя; если ты в этом не уверен – сиди дома; а если уверен – не оглядывайся, и выйдет по-твоему.

ГЛАВА V

КАК ДЕЛАЕТСЯ ПОЛИТИКА

Долго и скучно было бы рассказывать все, что случилось за два года с моего второго приезда в Лондон до того дня в июле 1917 года, когда в официальной газете, наконец, появился приказ об учреждении "еврейского полка". Я запишу лишь несколько эпизодов: одни – в качестве этапов, определяющих характер всего пути, а другие – ради тех фигур, с которыми они познакомят читателя, так как иные из этих фигур сыграли потом заметную роль в нашем мирке. Есть у меня тут и другой умысел: в этой серии эпизодов содержится ответ на "ядовитый" вопрос, который так часто теперь слышится в сионистских собраниях. "Разве мыслимо, – вопрошают скептики, – заставить начальство сделать то, чего оно не хочет? И чем? Угрозами? Будете стучать кулаком по столу? Накричите на них?" Конечно, нет; все это гораздо проще. Если начальство не хочет, – не надо ни стучать, ни кричать, надо оставаться спокойным и вежливым, искать новых союзников и от времени до времени возобновлять свое домогательство: пока не окажется, что вы не только "заставили" начальство, но оно и само тому радо.

* * *

В зимний вечер, в самый разгар лондонской слякоти с полудождем и полуснегом на улице, кто-то

стучится в мою дверь. Входит молодой человек, очень бедно одетый, и протягивает мне измятый, грязный клочок бумаги. Я узнаю почерк приятеля, который застрял в Яффе. Он пишет: "податель – Гарри Фирст. Можешь ему верить".

Гарри Фирст говорит:

– Я прямо из Палестины. Тамошние рабочие мне поручили сказать вам, что они за ваш план и чтобы вы не дали себя запугать никакими страхами за судьбу палестинских колоний. Это – первое. А второе: я к вашим услугам. Я говорю на идиш и по-английски; член рабочей партии и знаю Уайтчепл. Чем могу служить?

– Поселитесь в Ист-Энде и займитесь тамошней молодежью, – говорю я.

Он встает и уходит.

И с тех пор два года подряд Гарри Фирст вел нашу агитацию в Ист-Энде, в мастерских, в чайных, в комитете своей партии, на собраниях. Одного за другим находил он отдельных сторонников, знакомил меня с ними, а потом шел дальше работать. Он стал одной из популярных фигур Уайтчепла: его и любили и терпеть не могли. За что терпеть не могли – понятно; а любили за то, что и противникам импонировало его спокойное, учтивое упрямство и его благородная бедность. Потом он поступил в легион тихо и по-хорошему отслужить свои два года в Палестине, не добивался никаких послаблений и повышений; а после демобилизации исчез, не напоминая о себе, не требуя ничьей благодарности, и я не знаю, где он и что с ним. Может быть, кто-нибудь покажет ему эти строки: шалом, Гарри Фирст, один из тех "безымянных солдат", которые делают историю, – а честь оставляют именитым.

* * *

Есть в Лондоне короткая, широкая улица Уайт-

холл: в ней сосредоточено управление королевством и половиной земного шара. В нее впадает и переулок, именуемый Даунинг-стрит: здесь дворец и канцелярия премьера, министерство иностранных дел, министерство колоний. Здесь, кроме того, с первых месяцев войны учрежден был особый департамент пропаганды; но я об этом не знал.

Однажды адмиралтейство пригласило иностранных корреспондентов съездить в Розайт (военная гавань в Шотландии) – посмотреть британский флот. Сопровождал нас, между прочим, английский журналист Мастерман. Мы разговорились; об александрийском отряде он что-то слышал, и я рассказал ему о своих замыслах. Он заметил:

– Меня теперь все на свете занимает с точки зрения пропаганды. Ваш проект – великолепный материал для пропаганды. Хотите повидаться с лордом Ньютоном?

– Кто это?

– Министр пропаганды. Вы мне дайте материал, я составлю докладную записку для лорда Ньютона, и он вас вызовет.

Не скоро дела делаются в Англии; но через несколько месяцев я, побрившись старательнее обыкновенного, взобрался на верхушку омнибуса и поехал в Уайтхолл на свидание с лордом Ньютоном.

– Мысль, пожалуй, и хорошая, – сказал он, выслушав меня, – и, конечно, я слышал о еврейском батальоне в Галлиполи; но – при чем тут мой департамент?

– Один вопрос: дорожите ли вы отношением еврейства нейтральных стран?

– Да, – сказал он с некоторым колебанием, – только должен, к сожалению, признаться, что мы этим отношением недовольны. Мне еженедельно представляют выдержки из еврейской печати в Америке... ничего не понимаю. Разве наша это вина, что русский режим – как бы это сказать – носит на себе отпечаток некоторой отсталости?

— Лорд Ньютон, дело совсем не в том, чья вина. Суть дела в факте. Вот основной факт: победа союзников, вероятно, укрепит этот самый русский режим лет еще на двадцать. Устранить этот факт Англия не может, с этим я согласен. Англия может только создать ему противовес.

— Как?

— Есть на свете одна только вещь, которую евреи любят еще больше, чем они ненавидят русский режим: эта вещь — Палестина. Только ради большой любви может масса закрыть глаза на большую ненависть: другого пути нет.

— Что же вы предлагаете? Издать манифест от имени английского правительства с выражением благоволения к сионизму?

— Это было бы желательно в высшей степени; но я думаю, что американские евреи сказали бы на это: очень приятно, только ведь манифест — бумага, а где факты? Видите ли, вся эта война началась с того, что пущено было в ход ядовитое слово — "клочок бумаги". Слово это получило огромную и нездоровую популярность, и никто больше манифестам не верит. Тем более, что русский режим состоит не из манифестов, а из фактов. Поэтому и противовес должен состоять не из одной бумаги.

— Какие тут возможны факты? Нельзя же отдать Палестину, когда она еще не завоевана... И вообще — вы, конечно, понимаете, я весь этот вопрос обсуждаю пока только в теории...

— Единственным логическим фактом было бы учреждение еврейского контингента, предназначенного для участия в завоевании Палестины.

— Позвольте, ведь никто еще не знает, пойдем ли мы на Палестину; в военном министерстве считают, что не пойдем.

— Военный контингент ведь не то, что древо пророка Ионы, — ответил я. (С англичанами можно говорить цитатами из Ветхого Завета: они его знают.) — За одну ночь его не вырастишь. Если полк

понадобится только через год – значит, надо начинать сегодня. А тем временем переменится и мнение военного министерства. Мы ведь знаем, что далеко не все авторитеты согласны с лордом Китченером...

– "Не разглашайте на стогнах Гата", – ответил он тоже ветхозаветной цитатой. – Во всяком случае, я все это еще обдумаю, переговорю с коллегами...

* * *

...Мистер Джозеф Кинг, депутат либеральной партии, сделал запрос в палате общин: известно ли министру такому-то, что "русский журналист" такой-то ведет в Уайтчепле пропаганду с целью создания еврейского военного контингента, и имеет ли оный журналист на то от правительства какие-либо полномочия?

Я ему написал: "Сэр, прежде, чем нападать на человека, надо бы вам его выслушать".

Мы встретились в либеральном клубе, который тогда, в середине 1916 года, еще не был реквизирован правительством. Войдя в вестибюль, я увидел, что м-р Кинг разговаривал с невысоким господином вида худощавого, но не великобританского: желтоватое, почти изможденное лицо, несколько желчное. Барышня с историко-филологическим образованием сказала бы: "напоминает Торквемаду"; барышня с образованием литературным сказала бы: "нечто мефистофельское". М-р Кинг, увидя меня, кивнул головой и показал на кресло; его собеседник нервно дернул бороденкой и посмотрел в сторону. Потом они простились, тот ушел, а м-р Кинг повел меня в угол к дивану.

– Ист-эндские друзья мои, – сказал он, – горько жаловались мне на вас. Говорят они вот что: и без того идет уже, в печати и просто на улице, травля иностранцев в штатской одежде, – а тут еще вы подливаете масло в огонь.

— М-р Кинг, скажите правду: а если я исчезну — "травля" прекратится?

— К сожалению, вряд ли. Я и сам не могу не видеть, что массам трудно это переварить: как же так, здоровая молодежь, выросла с нами, и тем не менее...

— Хорошо. Теперь допустим, м-р Кинг, что мой план никуда не годится и что я к вам лично обращаюсь с просьбой: будьте добры, дайте совет. Где выход? Не служить до конца? Глядеть, сложа руки, как нарастает в Англии расовая ненависть в самой отравленной форме — ненависть людей, которых посылают на смерть, против людей, которым дозволено жить?

— Должен признаться, — сказал он, — что я отчасти это все уже излагал моим ист-эндским приятелям. Я им говорил, что лучше всего было бы, если бы значительное количество иностранных евреев сразу пошло волонтерами в армию, наравне с нашей молодежью...

— Позвольте не согласиться. Ваше требование, м-р Кинг, совершенно несправедливо.

— Почему несправедливо?

— Потому что нет решительно никаких оснований требовать от них службы "наравне с вашей молодежью". Ваша молодежь — англичане; если Англия победит — их народ спасен. Наши — другое дело: если Англия победит, то шесть миллионов их братьев останутся в том же самом аду, что и теперь. Не может быть речи об одинаковой жертве там, где нет одинаковой надежды.

— Мгм. Ну — а вы что предлагаете?

— Компромисс. По сраведливости Англия может требовать от иностранного еврея только двух вещей. Во-первых, принять участие в защите самой территории Англии, т. е. этого острова, где он пользуется гостеприимством: по-вашему — "home defence". Во-вторых, биться за освобождение Палестины, потому что это "дом" его племени: по-нашему — "heim".

”Home and Heim”: в этом заключается моя военная программа для ваших ист-эндских друзей.

Он подумал и вдруг сказал:

— Вы мечтатель.

Зал, где мы с ним сидели, был весь увешан портретами покойников, бывших когда-то членами этого самого либерального клуба. Я указал на них:

— Все мечтатели.

— Я подумаю, — сказал он мне в заключение, — и переговорю с товарищами-депутатами. Вот не знаю только, стоит ли говорить об этом с моими уайтчеплскими друзьями?

— Это зависит, — ответил я, — от того, кто они такие.

— Одного, самого, пожалуй, важного, вы уже видели: это — тот худощавый джентльмен, с которым я давеча беседовал в приемной. Сам он не еврей, и ему военная служба не грозит — он уже давно в ”опасном” возрасте, а это теперь самый безопасный возраст. Но он очень интересуется этим вопросом. Он русский эмигрант, по имени мистер Чичерин. Хотите с ним познакомиться?

— Нет, — сказал я.

— Замечательно, — отозвался м-р Кинг, — я задал ему тот же самый вопрос о вас, и он дал мне тот же самый ответ. Очень странно, до чего россияне иногда друг друга терпеть не могут. Мне минутами казалось, что, если бы мистер Чичерин имел на то власть, он бы с удовольствием посадил вас за решетку, а теперь мне кажется, что чувство это взаимное.

— Вполне, — подтвердил я от всего сердца.

Правда, я тогда мало знал о будущем советском комиссаре по иностранным делам — он, кажется, не принадлежал к кругу эмигрантских знаменитостей; во всяком случае, среди моих знакомых, если и упоминали о нем, то с прибавкой: ”знаете, — племянник того Чичерина Бориса”. Но то немногое, что я о нем знал, мне не нравилось: мистер Чичерин

был одним из подстрекателей уайтчеплской агитации против всякой формы участия в войне. А насчет решетки – потом оказалось, что м-р Кинг и вправду напророчил; только не мне.

* * *

...Письмо с лондонским штемпелем на марке: "Прибыл из Галлиполи – эвакуирован как раненый. Нахожусь в доме для выздоравливающих, улица Довер-стрит, номер такой-то. – Подписано: Дж. Г. Патерсон".

Полковника Патерсона я еще тогда (летом 1916-го года) лично не видел: он явился к нашим добровольцам в Александрии уже после того, как я уехал из Египта в Бриндизи на свидание с Рутенбергом. Но слышал я о Патерсоне много. Протестант, но ирландец по происхождению. По профессии был он прежде инженером. В 1896 году его послали строить мост на реке Тсаво или Саво, где-то в Африке, недалеко от "нашей" Уганды. С этой постройки и пошла его слава: именно "слава" – есть особый круг людей, в котором Патерсон считается крупной знаменитостью. Это англо-американский круг охотников за "крупной дичью". Патерсон признанный и бесспорный авторитет среди охотников за львами. На реке Саво были у него только чернокожие рабочие, несколько сот, из племени суахили; он был там единственный белый и единственный человек, умеющий обращаться с ружьем. Случилось так, что в округе появилась шайка львов, из самого неприятного сорта – таких называют у охотников "людоедами", потому что они, раз отведав человеческого мяса, потом уже пренебрегают всяким другим лакомством. Ночь за ночью эти львы устраивали набеги на рабочий лагерь, спокойно выбирали жертву и уносили ее в гущу экваториального леса. Патерсону пришлось вмешаться: с великим трепетом, как он рассказывает в своей книге "Лю-

доеды на р. Саво", но с серьезным успехом. До сих пор в его домике, в мирном Букингамшире, хранятся те трофеи: восемь темно-рыжих львиных шкур и длинная рукопись – поэма на языке суахили, преподнесенная ему благодарными рабочими. На моем экземпляре его книги "Людоеды" изображено: "26-е издание". Есть англичане, которые, когда уезжают в далекое путешествие, берут с собой в дорогу только два томика: Библию и "Людоедов на р. Саво". Через эту книгу Патерсон подружился с другим знаменитым охотником за львами – Теодором Рузвельтом, и несколько раз был его гостем в Америке.

Вскоре после этого случая на р. Саво разразилась англо-бурская война. Патерсон поступил подпоручиком в британскую кавалерию, проделал всю затяжную войну и вышел в отставку с чином подполковника. После этого он жил в Индии, объездил полсвета, пережил несколько бурных эпизодов, о которых по сей день ходят по лондонским клубам легенды, создавая Патерсону друзей и врагов, – жил жизнью, которая в передаче звучала бы, как роман, и притом не из нашего прозаического столетия. "Букканер" – называет его бывший его приятель генерал Алленби: так звали двести лет тому назад и больше тех удальцов, что сломили власть Испании на островах Карибского моря и помогли – может быть, против собственной воли – превращению Атлантического океана в английское озеро. А в конце этой красочной карьеры стал он предводителем Zion Mule Corps в Галлиполи, потом командиром одного из еврейских батальонов в Палестине, и не услышал за то пока спасиба ни от евреев, ни от христиан. Но он говорит, что не жалеет.

Я разыскал его в той санатории для выздоравливающих. Высокий, тонкий, стройный человек с умными и веселыми глазами: воплощение того, что англичане полуворчливо, полувосхищенно называют "ирландским charm-ом", но без единой капли дру-

гого отличительного признака ирландской психологии: уныния, рефлексии, болезненной охоты углубляться в самого себя — всего, что мешает ирландцам жить по-настоящему, не в меньшей мере мешает, чем русским. У Патерсона этой самоотравы нет. Зато есть у него изумительное знание Ветхого Завета. Гидеон и Самсон для него — живые образы, приятели, чуть ли не члены его же кавалерийского клуба на Пиккадилли. К счастью для нас, они до сих пор заслоняют в его глазах подлинное нынешнее еврейское обличье...

— Что слышно в Галлиполи?

— Провал.

— А наши еврейские солдаты?

— Великолепны. Первый сорт.

— Трумпельдор?

— Храбрейший человек, какого я в жизни видел. Он теперь командир нашего отряда.

(По письмам из Галлиполи я знаю, что далеко не гладко и не легко наладились у него отношения с нашими солдатами и со святым упрямцем Трумпельдором; но ирландский темперамент не замечает мелочей. "Великолепные солдаты!")

— А что слышно здесь? — спрашивает он.

— Лорд Китченер не хочет — ни кампании в Палестине, ни еврейского корпуса.

— Жизнь сильнее лорда Китченера.

— А вы мне поможете?

— Едем.

И он везет меня в Вестминстер. В огромном вестибюле между флигелями обеих палат он пишет что-то на зеленой карточке и отдает служителю. Через пять минут со стороны палаты общин появляется человек невысокого роста, в хаки, с красной фуражкой генерального штаба на голове. Говорит он спокойно, коротко, несколько сухо; впечатление очень толкового человека: говорит только о том, что знает, и всегда знает, чего хочет, — а хочет он, может быть, и таких вещей, для которых наступит

время только через много, много лет. Пока англичане, у которых великая слабость к долговязым типам, и сегодня еще говорят о нем: "до премьера ему не хватает только нескольких дюймов". Правда, он ростом еще ниже Ллойд Джорджа; но я не поручусь, что эта помеха окажется действительной до конца. В конце концов, через несколько дюймов не так трудно перешагнуть. Тогда он был простым "эм-пи", то есть членом палаты общин; теперь он министр колоний британской империи.

– Капитан Эмери, – представляет Патерсон. – Он уже знает о наших проектах; но расскажите ему подробности.

Я рассказываю подробности.

...Через полгода Эмери становится одной из главных фигур в знаменитом "секретариате" Ллойд Джорджа ("детский сад", острят о нем политики старшего поколения, сокрушаясь о молодости членов этой всемогущей динамо-машины). Мистер Кинг, автор парламентского запроса о причинах и пружинах моей агитации, давно – еще с того завтрака в национально-либеральном клубе – переложил гнев на милость и свел меня с целым рядом депутатов: либералов, унионистов, трудовиков, ирландцев. А в министерстве пропаганды, после беседы с лордом Ньютоном, все растет толстая папка с докладами, письмами, газетными вырезками, озаглавленная: "Еврейский легион", с пометкой: "Важно".

* * *

Новая фигура появилась на арене спора о Уайтчепле и воинской повинности: Герберт Сэмюэл.

Газетная травля против иностранных евреев усиливалась с каждым днем; богачи из ассимиляторского круга, во главе с майором Лайонелом Ротшильдом, обнародовали воззвание к населению Ист-Энда. Там сказано было все, что в таких случаях

полагается: Англия вам оказала гостеприимство, исполните свой долг и пр. Первым подписался под воззванием лорд Суэтлинг: мне объяснили, что это страшно важная фигура — смущенно признаюсь, что я до того дня и не подозревал о его существовании.

Воззвание не дало армии ни одного рекрута.

В этот момент и нашел нужным выступить на арену Герберт Сэмюэл, в то время уже министр внутренних дел: он издал официальное сообщение, где было сказано, что, если русскоподданные евреи в такой-то срок не запишутся добровольно в британские войска, их вышлют обратно в Россию.

Странный это недочет у г. Сэмюэла, при всем его уме: он органический доктринер, он видит вещи не глазами, а через какое-то свое собственное представление о них; видит не того реального человека, которого Бог создал, но сам конструирует человека абстрактно, притом не иначе, как по образу и подобию своему, т.е. Герберта Сэмюэла. Нарисовав пред собою такой образ, он и предъявляет ему свои требования и преподносит ему свои доводы — с успехом, который легко представить себе заранее. Позже, когда он стал верховным комиссаром Палестины, эта черта его причинила немало вреда и нам, и арабам, и доброму имени Англии. То же самое произошло и тогда в Лондоне, летом 1916 года. Он себе "представлял", что Уайтчепл, прочитав его угрозу, кинется поголовно записываться в солдаты; в то же время он "представлял" себе, что на нееврейские круги Англии такой жест министра-еврея окажет прекрасное действие и ослабит травлю. Результат оказался как раз обратным, притом с обеих сторон. В английском обществе его угроза произвела впечатление тяжелое и неприятное; в палате лордов один из наиболее уважаемых либеральных ее членов, если не ошибаюсь, лорд Пармор, возмущенно заявил: "будь я евреем, я бы раньше дал отрубить себе правую руку, чем выдал бы хоть одного из моих братьев по крови в руки вешателей и погромщиков".

А Уайтчепл просто взял да не испугался. Опять-таки армия не получила ни одного рекрута. В интересах справедливости должен отметить: Лайонел Ротшильд признался мне впоследствии, что гениальная мысль об угрозе была подсказана министру им. Но ведь дело не в том, кто первый выдумал нелепую затею, а в том, кто взялся проводить ее в жизнь.

К тому времени с помощью Гарри Фирста уже образовался вокруг меня небольшой кружок уайтчеплских сторонников. Мы посоветовались и пришли к выводу, что конфузный инцидент с Сэмюэлом можно и нужно использовать в интересах нашей агитации.

В Лондоне было тогда человек шесть корреспондентов передовой русской печати. Встречались мы между собою редко, но поддерживали добрые отношения. Я по телефону немного прозондировал почву, с двумя из них повидался лично – и в результате через несколько дней у меня в Челси созвано было совещание русских корреспондентов; были тут и евреи, и христиане. Решили от общего имени отправить военному министру лорду Дарби телеграмму с указанием на то, что угроза Герберта Сэмюэла, втянув, так сказать, Россию во внутренний британский вопрос, создала для нас чрезвычайно щекотливое положение, а потому мы просим у министра свидания.

Лорд Дарби поступил как человек осторожный и практический: кто заварил кашу, пусть и расхлебывает. Он передал нашу телеграмму министру внутренних дел, и ответ мы получили от г. Сэмюэла: приглашение на беседу с ним.

Прием состоялся в одной из боковых зал палаты общин. Сэмюэл придал этому свиданию совсем торжественный характер: явился со свитой из четырех секретарей, сам сел во главе стола, секретари за ним, мы, журналисты, по обе стороны стола; каждый говорящий, включая и самого Сэмюэла, говорил стоя. В то время русская печать еще была силой –

по крайней мере, за границей...

От нашего имени доложено было министру вот что: его угроза по адресу уайтчеплских евреев, которых передовое общественное мнение России склонно рассматривать как эмигрантов политических, грозит подорвать весь смысл нашей работы. Газеты, здесь представленные (насколько помню, это были "Русские Ведомости", "Русское Слово", "Речь", "Современное Слово", "Биржевые Ведомости" и "Киевская Мысль") обслуживают, приблизительно, три четверти всей читающей публики в России. Передовое общество у нас дорожит нынешним сближением между Англией и Россией не только в интересах войны, но, главным образом, потому, что надеется на доброе влияние английского либерализма на политические условия России; и мы, лондонские корреспонденты, всегда стараемся подчеркивать именно эту надежду. Но последний жест министра внутренних дел произведет в России как раз обратное впечатление – там скажут, что политическое влияние идет, по-видимому, из Петербурга в Лондон, а не наоборот. А это очень вредно для единодушия в России, и мы считаем своим долгом обратить внимание правительства на эту опасность.

– Джентльмены, – ответил Сэмюэл, – я понимаю вашу точку зрения. Но и вы должны понять наше положение. Коренное население глубоко возмущено равнодушным отношением иммигрантов к нашей национальной беде. Это может привести к взрыву антисемитских настроений. Выход из этого положения надо найти во что бы то ни стало – так, как оно есть, оно оставаться не может. Что же делать?

И он обратился ко мне (я до тех пор молчал). О моей агитации он знал еще с того дня, когда д-р Гастер объяснил ему, что я просто болтун; но мы еще ни разу до того не встречались. Он спросил:

– Ваше мнение, например?

– Сэр, – ответил я, – здесь я нахожусь в качестве члена группы русских журналистов и не имею права

высказывать свои личные мнения. Но в одном мы уверены все: угрозы не создают волонтеров. Для вербовки добровольцев надо опираться на лучшие и высшие чувства массы, а не на страх. Когда вы вербуете англичан, вы взываете к их английскому патриотизму. Попробуйте сделать то же самое с Уайтчеплом. Только при этом надо будет помнить, что английского патриотизма они еще в себе не выработали, русского никогда не имели — скорее напротив. Значит, надо попытаться установить, в чем заключается их собственный и естественный патриотизм. Это все.

— А если бы мы нашли такой путь, кто бы взял на себя вербовку?

Я ничего не мог ответить. Предложить свои услуги тут же, в собрании, я не имел права — далеко не все из моих коллег были сторонниками моих планов. Сэмюэл тоже не предложил мне взять дело на себя. Так и разошлись мы, строго говоря, ни с чем. Тем не менее, эта беседа имела два серьезных последствия. Во-первых, угроза ссылкой в Россию сошла со сцены, и больше о ней не упоминали. Во-вторых, беседа убедила и самого Сэмюэла, и через него весь кабинет в той простой истине, на которой я и строил с самого начала свою веру в успех: что нет разрешения для "ист-эндского вопроса" вне попытки апеллировать к собственному патриотизму бездомного еврея.

* * *

Еще одно неожиданное наблюдение сделал я за эти месяцы — настолько важное, что и теперь оно мне часто полезно: я поразился, насколько ничтожно политическое влияние еврея-ассимилятора, хотя бы знатного и богатого, в делах еврейской Weltpolitik. Совершенно инстинктивно, его собственное правительство считается в этих вопросах только с евреем

националистического толка, хотя бы сам по себе он был еще никому неизвестным приезжим. Х. Е. Вейцман доказал это блестяще; и мой собственный опыт подтвердил мне ту же истину.

Когда я поселился в Лондоне, со всех сторон мне говорили: "без содействия здешних нотаблей правительство и говорить с вами не станет. Прежде всего заручитесь согласием нотаблей". Я послушно попытался. Они не только не дали своего согласия – напротив, они открыто предупредили меня, что будут мешать. Тогда мне пришлось самому пойти стучаться в двери правительственных учреждений – и оказалось, что успех или неуспех меньше всего зависел от настроения "нотаблей". За все время моих переговоров не помню ни одного случая, когда бы некто власть имущий спросил меня: а как смотрит на это сэр Айзек такой-то? Я это объясняю, конечно, не тем, чтобы нотабли все были плохи, а мы, приезжие националисты, хороши. Объяснение гораздо проще. Ассимилятору нечего "предъявить": он раз навсегда отождествил себя с местным населением; его лояльность раз навсегда обеспечена – и совершенно понятно, что в серьезные минуты правительство смотрит на него, как на очень почтенное, но совершенно бесплатное приложение к британской или французской нации. В ином положении находится националист: еврейские симпатии, которые он предлагает завербовать, не есть бесплатное приложение. Правительство может ими дорожить или нет, это его дело; но получить эти симпатии можно только на определенных условиях. Поэтому ассимилятору ласково улыбаются, а с националистом ведут переговоры.

Двери же канцелярий Уайтхолла открыл мне, как я уже писал, тот самый всеми остряками во Израиле осмеянный "ослиный батальон" из Александрии. Министерство иностранных дел в Петербурге написало о нем графу Бенкендорфу, русскому послу в Лондоне; из русского посольства посылались о нем

рапорты в Форейн-Оффис; старший советник посольства, К. Д. Набоков, впоследствии заместитель посла (ныне покойный), устраивал мне свидания с британскими министрами, с американским послом мистером Пейджем, с французским послом Р. Камбоном – и все это только потому, что Трумпельдор и 600 погонщиков мулов провели восемь месяцев под огнем в Галлиполи.

А в министерстве иностранных дел, во главе департамента Востока, т.е. именно того отдела, в котором сосредоточивались все вопросы о Палестине, стоял уже в то время тот заслуженный друг сионистского дела, которому и Х. Е. Вейцман, и основатели легиона так многим обязаны: сэр Рональд Грэхем, ныне британский посол в Риме. Но и для Грэхема первой школой сионизма был тот момент, когда он еще назывался просто м-р Грэхем, был "советником" при министерстве внутренних дел в Египте и когда к нему явилась скромная делегация хлопотать об устройстве особого отряда из палестинских беженцев в Александрии.

ГЛАВА VI

МЕЖДУ КАЗАРМОЙ И КАБИНЕТОМ МИНИСТРА

К осени 1916 года было уже ясно, что Ист-Энду придется пойти служить, если только еврейское общество хочет избежать скандала, который навеки похоронит доброе имя еврейства в Англии. Для англичан уже введена была конскрипция*. Десятки молодых людей из Уайтчепла, мне совсем незнакомых, приходили ко мне в Челси и спрашивали:

— Что делать? Есть ли хоть какая-нибудь надежда, что правительство согласится образовать полк для Палестины?

Но правительство все еще не соглашалось. Китченера уже не было (он погиб 5-го июня 1916 года), но дух его все еще господствовал в военном министерстве, и в генеральном штабе все еще преобладали противники наступления на востоке.

Опять я устроил совещание с немногими друзьями нашего дела. Мы решили, что теперь настало время для новой, совсем уже гласной, попытки поставить и правительство, и общественное мнение лицом к лицу с совершившимся массовым фактом. План наш сводился к тому, чтобы собрать тысячу или больше подписей под заявлением следующего содержания:

*Конскрипция – в ряде европейских государств – система комплектования армии на основе воинской повинности с допущением замены призываемого и денежного выкупа от призыва; с 60-х гг. 19 в. заменена всеобщей воинской повинностью.

”Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю: если будет учрежден еврейский полк, предназначенный исключительно для двух целей, а именно: 1) охрана самой Англии, 2) операции на палестинском фронте, – я обязуюсь добровольно вступить в такой полк”.

Лозунгом нашей кампании решено было сделать два слова: “Home and Heim”. Если наберется достаточно подписей, мы подадим правительству соответствующую петицию. Вся работа должна быть проведена на частные средства (их предоставил нам Джозеф Коуэн). Я телеграфировал в Копенгаген М. И. Гроссману: ”приезжайте”. Он ответил: ”еду”. Но еще за день до его приезда мы выпустили первый номер ежедневной газеты на идиш, не только под его редакцией, но даже с передовицей за его подписью (я сам ее сочинил, но Бейлин, прекрасный стилист на этом языке, тщательно выправил мой слог, чтобы не посрамить пуриста Гроссмана). Газета называлась ”Наша Трибуна”. Главными сотрудниками были Бейлин, Пинский и Кайзер – первые двое уже обладали некоторой известностью как писатели на обоих еврейских языках, а третий, хотя почти новичок, оказался очень остроумным фельетонистом. Техническую сторону кампании взяли на себя Гарри Фирст и молодой инженер из России И. Я. Аршавский: он как-то пришел в одно из наших собраний просто послушать и тут же обратился в нашу веру, и с того дня отдал в наше распоряжение не только свои недюжинные организаторские способности, но и свои широкие плечи и плотные мускулы. И то и другое понадобилось... С ними работало еще до десяти человек молодежи.

Гроссман приехал, а через несколько дней неожиданно прибыл и Трумпельдор. Все его старания добиться на месте, в Александрии, второго издания Zion Mule Corps ни к чему не привели: отряд был демобилизован.

Через два дня после того, как на улицах Ист-Энда, Сого, Стэмфорд-Хилла и других отрезков лондон-

ского гетто появилось наше воззвание, Герберт Сэмюэл вызвал меня к себе в министерство внутренних дел.

– Мы все вам очень признательны за эту инициативу, – сказал он. – Может ли министерство в чем-нибудь вам помочь?

– Только в одном, – ответил я, – дайте нам официальное заявление, что если мы соберем тысячу подписей, правительство санкционирует учреждение полка для "Home and Heim." Если вы это сделаете, я ручаюсь за успех. Если не сделаете – не скрою своих опасений: недоброжелатели скажут, что вся наша затея – подвох, что мы просто хотим выловить для правительства имена еврейских волонтеров, а тут их и схватят, разошлют по английским батальонам и отправят на бойню во Фландрию. Это, конечно, сильно помешает нашей работе.

– Такого заявления дать я вам не могу, – возразил Сэмюэл. – Это не от меня зависит; на это нужно решение всего кабинета. И вы знаете, что еврейское общество – особенно сионисты – настроены резко против этого проекта.

– Столь же резко настроены мои друзья и я против мысли о том, чтобы молодежь Ист-Энда пошла на службу в чужие полки воевать за чужое дело.

Он развел руками, помолчал и спросил:

– Не могу ли я быть вам полезным в какой-нибудь другой форме?

Я поблагодарил и отказался. Искренно признаюсь, что я потом горько жалел об этом гордом, но непрактичном ответе. Слишком сильна оказалась во мне старая закваска российского радикализма, привычка смотреть на "начальство", как на нечто нечистое, от чего порядочному человеку не подобает принимать какую бы то ни было помощь. Я забыл, что в Англии такое отношение к власти неуместно и нелепо. Одну форму помощи я должен был от него принять и даже потребовать: обеспечение порядка на

наших публичных митингах.

Ровно месяц продолжалась наша кампания: полный провал. Мы собрали всего около трехсот подписей — и жизнь Ист-Энда в эти недели превратилась в непрерывный скандал. Правда, на первом митинге нашем было тихо: у противников еще было подозрение, что где-то за кулисами мы припрятали полицию, как это делалось при вербовке в английской среде. Но ко второму собранию они уже открыли всю глубину и всю наивность нашего благородства — и принесли с собою не только свистки, но и запасы картошки, — в качестве метательных снарядов. Как всегда, скандалисты были в сущности небольшою группой — говорят, всего человек тридцать; но они хорошо сорганизовались. Мы их встречали повсюду, от Майл-Энда на востоке до Ноттинг-Хилла на западе. Тридцать крикунов — огромная сила, когда противная сторона полицию вызвать не хочет, а сама заняться избиением (количественно мы бы могли уже и тогда провести эту операцию с полным успехом) не решается, чтобы не подорвать морального престижа своей пропаганды. Мы созывали все новые и новые собрания, издавали свою газету ("сам" г. Чичерин признал в какой-то корреспонденции, которая была напечатана в Париже, что в литературном отношении газета редактировалась хорошо), но результат в сущности обнаружился уже с первой недели: провал.

Из всех воспоминаний моей жизни этот месяц, вероятно, самое тяжелое — хочется даже сказать: отвратительное. Но справедливость требует признать, что во всем этом меньше всего, может быть, виновата была сама подлинная уайтчеплская масса. Она в подавляющем большинстве искренно хотела нас выслушать. Все, кто посерьезнее, и старые и молодые, уже тогда понимали, что создалось положение, из которого нужно найти выход положительный, что отыграться вничью тут уже немыслимо. Но как могли они верить в то, что путь, предлагавшийся

нами, есть путь возможный? Со многих сторон, особенно же со стороны официально-сионистской (жалею, что приходится это сказать, но должен), им нашептывали на ухо, что мы только дурачим и себя и публику, что правительство никогда ни за что не согласится на особый полк и что вся затея – как я и предупреждал Сэмюэла – кончится подвохом. Со стороны правительства план наш явно не имел никакой поддержки. Ясно, что на такой почве подозрительности и сомнений уже не трудно было шайке хулиганов создать настроение паники, запугивать каждого, кто пытался серьезно вдуматься в наши проекты, что он предатель, что он помогает заманить своих братьев "не в Палестину, а в Верден".

Надо и то признать, однако, что у этого маленького хора оказался первоклассный дирижер: рука, незримо для нас размахивавшая палочкой, принадлежала тому самому приятелю м-ра Кинга, м-ру Чичерину.

Продержавшись четыре недели, мы решили прекратить кампанию и закрыть газету. Гроссман уехал обратно в Копенгаген. А я дал себе святой зарок: в следующий раз (ибо мы еще увидимся) кампания наша будет проведена в образцовом порядке, во сколько бы это ни обошлось разбитых голов, – и м-р Чичерин будет тогда сидеть спокойно и не вмешиваться в наши дела.

* * *

И ровно через месяц после этого, кажется, величайшего изо всех моих провалов, вдруг сам собою выстроился тот краеугольный камень, на котором суждено было впоследствии укрепиться еврейскому легиону.

Трумпельдор, поселившийся неподалеку от меня в Челси, пришел ко мне однажды утром и показал записку: "мы вчера приехали, находимся в казармах

по такой-то улице. Нас 120 человек. Приходите. Нисель Розенберг".

– Кто такой Нисель Розенберг?

– А вы его не помните из Габбари? Он был там один из лучших работников, а у меня в отряде – один из лучших сержантов.

Эти сто двадцать бывших солдат александрийского отряда опять записались в армию. Из Александрии их доставили в Лондон. Ехали они с приключенями, где-то близ Крита напоролись на мину и спаслись вплавь, но доехали. Когда мы к ним пришли, оказалось, что у них одна главная забота: определят ли их всех в один и тот же батальон или разбросают по разным лагерям. Непосредственное начальство в той казарме, сразу невзлюбившее экзотическую компанию, напугало их предсказанием, что несомненно разбросают.

– Надо взять за бока Патерсона, чтобы он взял за бока Эмери, – сказал Трумпельдор.

Патерсон к тому времени командовал базой ирландского полка в Портобелло-Барракс, в Дублине; капитан Эмери имел уже свой кабинет в секретариате у Ллойд Джорджа. Обоих "взяли за бока", и через два дня получилось сообщение, что все александрийцы, за исключением тех, которые при медицинской проверке окажутся негодными для строевой службы, будут скопом отправлены в 20-й Лондонский батальон, лагерная база которого находится под Винчестером; и больше того – там из них будет образована особая рота.

Эмери сказал, как всегда глядя в пол и скупо цедя слова и как всегда к делу:

– Это, пожалуй, и есть то ядро, которого нам недоставало. Теперь надо только уметь использовать этот факт. Настроение в пользу вашего плана имеется и в правительстве, и в обществе. Смотрите, чтобы ядро оказалось прочным. Все, пожалуй, зависит от этого.

Он был прав: настроение к тому времени уже

явно клонило в сторону нашего проекта. Уже несколько месяцев шла канцелярская переписка о еврейском легионе между военным министерством, министерством иностранных дел, секретариатом Ллойд Джорджа, русским посольством; и почти всю переписку эту ведали убежденные друзья нашего дела: капитан Эмери, сэр Рональд Грэхем, К. Д. Набоков. М-р Кинг, из Савла ставший Павлом, свел меня с редакцией одного из важнейших либеральных органов Англии – "The Nation." Там помещено было пространное мое письмо с обоснованием, почему как раз радикальные круги британского общества должны, в интересах либеральной традиции, поддержать идею легиона. Х. Е. Вейцман познакомил меня с Ч. П. Скоттом, редактором газеты "Manchester Guardian". Эта газета, как известно, занимает в Англии то же положение, какое принадлежало в русской печати "Русским Ведомостям"; а сам м-р Скотт, старик с обликом патриарха и глазами юноши, считался тогда – если не ошибаюсь, считается и по сей день – самой выдающейся фигурой в журнальном мире страны. Ллойд Джордж признавал его своим учителем, и потому передовицы манчестерской газеты имели в то время особенный вес. Одна из этих передовиц была посвящена плану легиона.

Но еще важнее была для нас поддержка "Таймса". Лорд Нортклиф был в то время в апогее своей власти: слово "Таймса" считалось окончательным приговором. Но главным редактором всемогущей газеты был тот самый Генри Уикхем Стид, к которому Сеньобос в Париже дал мне когда-то рекомендательную карточку. Я предъявил эту карточку и познакомился с г. Стидом еще весною того года. Стида кто-то назвал умнейшим из англичан. Поскольку я встречался с англичанами, думаю, что это похоже на правду. Это человек исключительно широкой культуры; половину своей жизни он провел в разных странах Европы.

Однажды я пришел к нему и сказал:

– Теперь настал момент для выстрела из большой пушки: нужна статья в "Таймсе".

– Напишите письмо в редакцию, – ответил он, – а я дам передовицу.

Когда появился этот номер газеты, в ресторане подошел ко мне один из самых свирепых наших ругателей, кисло улыбнулся и сказал:

– Ваше дело в шляпе: "Таймс" высказался...

Эмери был прав: все теперь зависело от маленькой "экзотической" роты в 20-м Лондонском батальоне. Это корень; если он уцелеет – вырастет дерево; если сгниет – пропало.

Я поехал в Винчестер. Местность Хэзлей-Даун, где находился лагерь, была в четырех милях от города. Лагерем командовал подполковник Эштон Паунол (теперь он консервативный член палаты общины), учтивый, мягкий, несколько застенчивый джентльмен в пенсне. Я спросил его:

– Примете меня рядовым – с тем, чтобы я попал в вашу пятую роту? ("E" Company – так они назывались официально.)

– Милости просим, – сказал он и пригласил меня к завтраку в офицерской столовой. Потом я об этом жалел: очень неприятно было стоять навытяжку перед молодыми людьми, с которыми я месяц тому назад обменивался анекдотами за кружкой пива.

* * *

Трумпельдор в то время хлопотал о зачислении в армию – конечно, в офицерском чине, хотя бы подпоручиком; отказ еще не получился, и оба мы были вновь полны надежд.

После поездки в Винчестер мы зашли к Эмери рассказать про "пятую роту". Он выслушал, помолчал, посмотрел в пол и сказал:

– Мне кажется, что теперь полезно было бы

подать премьеру обстоятельную докладную записку о вашем плане с указанием, что в Винчестере имеется ядро. Если хотите, можете подать через меня.

Мы отсидели три вечера за составлением записки; Эмери просмотрел ее, указал нужные поправки, и накануне моего превращения в солдата, пока еще я был свободным гражданином из-за границы (кажется, 21-го января 1917 года), мы с Трумпельдором подписали этот документ, которому суждено было вскоре очутиться на столе тайных заседаний военного кабинета.

Еще одну рукопись успел я сдать по назначению накануне того, как лишился права высказывать печатно свои мысли на военные темы: это была книга "Турция и война", которую я написал для издательства Фишер Унвин. В ней развивались три основные мысли: первая – Турция должна быть разделена, в этом весь смысл войны и главное средство против будущих войн; вторая – Палестина должна войти в сферу британского влияния; третья – главный фронт войны есть фронт восточный.

Прямо от издателя я поехал в рекрутское бюро, принес присягу и получил "королевский шиллинг" – точнее, два шиллинга и шесть пенсов – в счет моего солдатского жалования.

* * *

Я упомянул имя Г. У. Стида – его заслуги перед сионизмом дают ему право на более подробное знакомство читателя. Не только в истории легиона, но и в истории Декларации Бальфура он сыграл исключительно важную роль. За месяц перед 2-м ноября 1917 г., когда ассимиляторы – кажется, все с тем же неугомонным лордом Суэтлингом опять во главе – делали ряд последних усилий, чтобы предостеречь правительство от сионистского шага, Стид ответил им уничтожающей передовой статьей, и это

их и прикончило. "Таймс" высказался...

Еще молодым человеком, лет 30 назад, Стид был корреспондентом того же "Таймса" в Вене. Там он и познакомился с Герцлем, и скоро они стали друзьями. Он понял и Герцля, и сионизм, как редко понимают христиане: внутреннюю, утонченно-эстетическую и этическую сторону движения, отвратительность самоотречения: все это ему было так же ясно, как и реальная тоска о государственной самобытности. И, конечно, как бывает с каждым нееврееем, который "слишком" вглядывается в еврейскую душу, многие из соплеменников наших считали и считают его "антисемитом". Признаюсь, я никогда не понимал этой привычки нашей – усматривать Гамана нечестивого в каждом арийце, который позволит себе рассказать еврейский анекдот, причем его анекдот еще похож на ласку в сравнении с тем, что мы сами о себе рассказываем. Стид говорил о евреях так точно, как говорил бы о них сионист; называл ассимиляцию подделкой; верил в силу еврейского народа (в его книге "Монархия Габсбургов" глава о народностях старой Австрии начинается фразой: "важнейшая из них – еврейская национальность"); о Герцле он умел говорить с трогательной и почтительной серьезностью. Свою дружбу он доказал реальными и важными услугами в самый ответственный момент нашей новой истории. Говорят, в последнее время он напечатал в своем журнале (теперь он давно ушел из "Таймса" и редактирует ежемесячную "Review of Reviews") несколько весьма критических статей о евреях. Возможно; я не читал; но охотно ему разрешаю. Стид заслужил право говорить с нами, как ему угодно.

* * *

О казарменных моих переживаниях подробно рассказывать не стоит: служил рядовым, как все рядо-

вые, только без той молодости и ловкости, что полагаются рядовому. В первые дни, пока у меня еще ломило предплечья от антитифозной прививки, подметал полы в нашем бараке и мыл столы в столовой у сержантов. Сержант Блитштейн из нашей роты сказал мне: "Отлично вымыли. Сержанты даже хотят просить полковника, чтобы вас вообще назначили на эту должность при нашей столовой". Этот Блитштейн, русский еврей, Бог весть как попавший на полицейскую службу в Александрии, охранял когда-то порядок у нас при беженском бараке в Габбари; большой остряк и вообще славный малый, из породы добродушных и циничных толстяков. Однако на ту должность меня не назначили, а наоборот – скоро перевели в команду для подготовки унтеров, конечно, не за мои таланты, а исключительно по любезности полковника.

Зато интересны были мои товарищи по "пятой роте". В начале этих записок я рассказывал о Габбари и о пестроте тамошнего состава. Здесь было меньше народу, но не меньше разнообразия. Большинство, конечно, уроженцы России, в том числе три или четыре субботника чисто русской крови, – по-еврейски "геры", как полагается, белокурые и синеглазые, притом с очень чистым произношением по-древнееврейски – по-русски зато уже говорили с акцентом. Один из них, Матвеев, добрался до Палестины всего за несколько дней до войны: пришел пешком из Астрахани в Иерусалим прямо через Месопотамию; в субботние вечера он очень серьезно напивался, совсем по-волжскому, и тогда ложился в углу на свою койку и в голос читал псалмы Давидовы в оригинале из старого молитвенника. Еще там было семь грузинских евреев, все с очень длинными именами, кончавшимися на "швили". Забавно было слышать, как английские сержанты ломали себе над ними языки по утрам во время переклички: "Паникомошиашвили!" – "Есть!" Это были семеро молодцов как на подбор, высокие, стройные, с

правильными чертами лица, и первые силачи на весь батальон. Я их очень полюбил за спокойную повадку, за скромность, за уважение к самим себе, к соседу, к человеку постарше. Один из них непременно хотел отнять у меня веник, когда меня назначали мести. Другой, Сепиашвили, впоследствии первый в нашем легионе получил медаль за храбрость. Кроме того, были среди нас египетские уроженцы, с которыми можно было мне сговориться только по-итальянски или по-французски. Два дагестанских еврея и один крымчак поверяли друг другу свои тайны по-татарски. А был там один, по имени Девикалогло, настоящий православный грек, неведомо как попавший к нам, и с ним я уже, никак не мог сговориться: если бы сложить нас обоих вместе, то знали мы вдвоем десять языков – только все разные.

Не все они остались с нами до конца. О доброй половине я вообще не знаю, что привело их в казарму. Может быть, консул заставил, или голод, или страсть к приключениям, или вообще шальная атмосфера военного времени, когда шагаешь и не отдаешь себе отчета, куда. К Палестине у этой части, во всяком случае, никакого касательства не было. От них мы скоро избавились: раздали их в рабочие батальоны, в обоз, некоторых просто отпустили на свободу, других вернули в Александрию. К началу весны осталось всего человек 60, зато настоящих. Это не значит, чтобы с ними не было у нас забот. Забот было много, особенно много стало с того момента, когда из России пришли вести о первой революции, а у нас тут все еще не было еврейского легиона. Помню утро, когда 20 человек вдруг отказались выйти на учение и предъявили ультиматум – а на военном языке это значит бунт. Два дня бился я с ними, изощряя все свои дипломатические способности; если бы не бесконечный такт полковника Паунола, дело бы кончилось катастрофой, военным судом и, может быть, распадом всего моего "ядра". Полковник понял положение и пошел на уступки,

вероятно, совершенно беспримерные в истории английской армии. С его разрешения забастовщики наши выбрали делегата, и я повез его в Лондон к К. Д. Набокову: граф Бенкендорф тогда уже умер, и Набоков был исправляющим должность посла. Понял положение и он: принял моего делегата с обворожительной любезностью, уверил его, что, насколько известно посольству, образование легиона предстоит в ближайшем времени, а что касается до свободной России, то она требует от этих граждан своих одного – довести до конца героическую борьбу за идеал, которую они так блестяще начали в Галлиполи.

А все-таки, несмотря на это приключение и на много других загвоздок, эти были "настоящие". 60 человек никак не могли считаться ротой, и нас разжаловали в простой чин взвода. Но этот "шестнадцатый взвод" действительно сыграл роль ядра. Не только в том смысле, что вокруг него и создался весь легион, но и в том смысле, что в самом легионе они потом играли роль ветеранов, позвоночного столба и железной скрепы.

* * *

Из казармы я продолжал переписку с Эмери и Грэхемом. Докладная записка наша с Трумпельдором была подана премьеру, ее уже обсуждали в заседании военного кабинета; и кабинет предложил военному министру "обсудить детали плана с авторами докладной записки".

Это было незадолго до нашей Пасхи. Я находился в отпуску в Лондоне, жил там на старой своей квартире в Челси, и туда мне раз доставили от руки написанное письмо генерала Вудворда, бывшего тогда директором организационного отдела при военном министерстве. Генерал просил меня пожаловать в министерство сегодня же в 2 часа на свидание с министром лордом Дарби. По первому слову письма

– "сэр" – и по всему его содержанию я понял одно: ни генералу, ни министру неведомо, что "сэр" этот состоит теперь рядовым одного из пехотных батальонов британской армии. Мы устроили с Трумпельдором военный совет. Как тут быть? Увидев на мне солдатскую фуражку, не испугаются ли министр и генерал такой беспримерной неслыханности, как политическое совещание между главой военного министерства и рядовым пехотинцем? Я готов был просить Трумпельдора заменить меня, но он не доверял своему английскому красноречию. В конце концов мы решили ехать вдвоем. Ровно в два часа, у дверей кабинета директора организации в военном министерстве, я передал ординарцу генерала Вудворда наши визитные карточки. Нас сейчас же пригласили войти. Я собрался с духом, выпятил грудь, маршем вступил в кабинет, как полагается, с фуражкой на голове, вытянулся, отдал честь и представил Трумпельдора и себя.

Должен сделать генералу комплимент: хотя лицо его выразило совершенно гомерическую степень изумления, на словах этого он не показал. Он сказал: "Oh yes... я доложу министру", – и вышел, не глядя на нас. Зато у министра он просидел больше пяти минут. Трумпельдор подмигнул и пробормотал:

– У них тоже военный совет.

Наконец вышел из того кабинета секретарь и пригласил нас в кабинет. Тут уже я, слава Богу, мог снять фуражку: лорд Дарби – штатский, стоять навытяжку необязательно.

Министр оказался высоким, широким барином, в теле, классического, хотя в жизни теперь очень редкого, джонбулевского типа, с полнокровным лицом; говорил он с акцентом, который в Англии называют помещичьим, т.е. произносил окончание "ng" просто как "n" – speakin', writin'. У простонародия это считается недостатком, но для лорда это, говорят, шик. Впрочем, очень милый, веселый и приветливый господин.

Мы уселись; генерал сидел в углу и молчал.

– Премьер-министр поручил мне, – сказал лорд Дарби, – расспросить вас о подробностях вашего плана еврейской боевой единицы.

Я рассказал: слава Богу, знал эту премудрость уже наизусть и со сна мог бы ее изложить без запинки.

– I see, – ответил министр. – Теперь другой вопрос. Считаете ли вы, что создание такого контингента послужит серьезным толчком к большому притоку волонтеров?

Ответил ему Трумпельдор с настоящей солдатской точностью:

– Если это просто будет полк из евреев – пожалуй. Если это будет полк для Палестины – тогда очень. А если вместе с этим появится правительственная декларация в пользу сионизма – тогда чрезвычайно.

Лорд Дарби мило улыбнулся и сказал:

– Я – только военный министр.

Трумпельдор мило улыбнулся и сказал:

– Я только отвечаю на ваш вопрос.

– I see. Теперь третий вопрос: я слышал, что в 20-м Лондонском батальоне есть группа солдат-сионистов, из бывших чинов Zion Mule Corps.

– Так точно, 16-й взвод, – сказал я, – там я и служу; а капитан Трумпельдор командовал ими в Галлиполи.

Министр и генерал переглянулись и тут только присмотрелись к солдатскому обличию Трумпельдора и к его неподвижной левой руке; потом Дарби слегка наклонил голову в знак молчаливого признания, а генерал еще больше выпрямился на своем стуле в углу.

– Что же, по-вашему, полезнее, – продолжал министр, – сделать из этого взвода группу инструкторов для будущего еврейского полка или послать их в распоряжение сэра Арчибальда Маррэя в качестве проводников для предстоящих операций на юге Па-

лестины?

(В то время английские войска уже перешли Синайскую пустыню; генерал Маррэй (Murrey), тогдашний главнокомандующий египетской армией, стоял недалеко от Газы.)

Трумпельдор сказал:

– Насколько я знаю своих бывших солдат, в проводники они вряд ли годятся. Генерал Маррэй легко найдет гораздо лучших знатоков страны. А для роли инструкторов они вполне подходят.

– Но ведь в Галлиполи они служили в транспорте, – вмешался генерал, – а полк предполагается пехотный.

– Полковник Паунол, – сказал я, – очень доволен их успехами в строю, в службе и в штыковом бою; а кроме того, все вместе они говорят на четырнадцати языках, и это понадобится.

– В жизни не предполагал, – рассмеялся министр, – что есть на свете целых четырнадцать языков.

Рассмеялся и Трумпельдор. Мне при генерале смеяться не полагалось, и я доложил очень серьезно:

– Так точно, милорд, есть – а чтобы сговориться с евреями, и этого недостаточно.

– Ладно, – сказал министр. – Очень вам благодарен, господа. Относительно имени нового полка, полковой кокарды и всего прочего сговорится с вами генерал Геддес, директор отдела вербовки. Он вас вызовет.

Мы откланялись и ушли.

На следующее утро, когда я, вернувшись в лагерь, рассказал об этом свидании полковнику Паунолу, он отметил тут неслыханное нарушение всех традиций британского военного министерства. Он высказал готовность дать руку на отсечение, что с тех пор, как существует английская армия, еще никогда не бывало такого происшествия с рядовым.

Но не хотят бессмертные боги, чтобы возгордился человек, даже после побитого рекорда. Мне об этом в то же утро очень нелюбезно напомнила действитель-

ность. Помню, солдаты ушли на учение, а я остался в бараке, потому что за мной числился еще день отпуска. Как раз накануне, в мое отсутствие, получились первые экземпляры той самой книги моей ”Турция и война”, где, как дважды два четыре, было доказано, как и почему надо Турцию разделить и кому что достанется; страшно мне понравился красный коленкоровый переплет, и я даже погладил его, словно мать головку первого ребенка, и размечтался чрезвычайно оптимистически о судьбе этого детища, о влиянии, которое книга обязательно окажет на военных специалистов, посрамив окончательно ”западную” школу Китченера и утвердив победу ”восточной” школы Ллойд Джорджа... Вдруг в барак влетел, в предшествии запыхавшегося сержанта, юный рыжий подпоручик: дежурный офицер на утренней ревизии. Я встал. Он орлиным оком окинул окна, почему-то закрытые, нахмурился и сказал:

– Эй вы там, рядовой в очках, – открыть!

– Которое, сэр? – спросил я.

– Все, болван этакий (you bloody fool), – изрек он и проследовал дальше.

ГЛАВА VII

ПОБЕДА

Кап. Эмери был неутомим: раза два в неделю, не реже, приходил за мною вестовой на плац-парад учебной команды с распоряжением ехать в город. В батальоне это мне создало репутацию не то комической фигуры, не то просто недоразумения. Английские сержанты постепенно перестали принимать меня всерьез в качестве солдата. Когда я, грозно рыча по приказу, налетал на соломенный мешок, изображавший немца, и попадал ему штыком вместо сердца в желудок, сержант говорил: "Для Уайтхолла – недурно".

В конце концов, произвели меня в чин, который я и перевести не умею: по английски unpaid Lance-Sergeant, т.е. вроде сержанта, но не совсем, и с жалованием не сержантским, а всего лишь капральским. Добрый знакомый мой, заведовавший винной лавкой общества Кармел в Лондоне, прислал мне десять бутылок палестинского вина, и я "поставил" их сержантам в первый мой вечер в их столовой – той самой столовой, где когда-то мыл столы с таким успехом. К сожалению, преемник мой по этой гигиенической должности далеко не стоял на той же высоте.

* * *

Из более важных свиданий и встреч того времени отмечу здесь только одно.

Ген. Смэтс, премьер Южной Африки, приехал тогда в Лондон участвовать в заседаниях военного кабинета. Он играл в то время большую роль; конечно, не столько ради реального веса той военной помощи, какую могла оказать Англии небольшая колония, сколько из-за самой его личности. Как и ген. Бота, за двадцать лет до того Смэтс был одним из опаснейших противников Англии на полях бурской войны. Поэтому теперешний его британский патриотизм имел нравственную ценность манифестации во славу государственного строя Британской империи. К тому же и сам он – человек высокообразованный, воспитанник университетов Голландии, Гейдельберга, Кембриджа, интересный писатель и мыслитель. Он сионист того же типа, что Бальфур или Роберт Сесил: искренно считает, что Декларация Бальфура есть, быть может, лучшее изо всех достижений мировой войны. Его приезд дал окончательный перевес в военном кабинете сторонникам сионизма над противниками (во главе противников стоял, конечно, еврей, покойный Эдвин Монтегью). Смэтсу было тогда на вид не более сорока лет, хотя он был, конечно, старше. Производил он впечатление хорошо воспитанного, в обращении простого интеллигента – не английского, а континентального типа; по-английски говорил с акцентом, особенно с гортанным голландским "р".

Он расспросил меня обо всех подробностях плана. Несколько фраз его сохранились у меня в письмах, которые я посылал домой в Петербург. Одна о легионе:

– Это одна из самых красивых мыслей, с какими довелось мне сталкиваться в жизни: чтобы евреи сами бились за землю Израиля.

Две другие о России, о которой к концу беседы он много расспрашивал. В то время уже было известно, что и армия, и государственный порядок быстро идут к распаду.

– Россия, может быть, и падет, и немцы думают,

будто это им поможет; но Самсон больше врагов погубил в час своей смерти, чем за целую жизнь.

— Керенский — святой человек. Но он адвокат: он думает, будто мир есть судебная палата, где побеждает тот, у кого лучшие аргументы. Вот он и аргументирует; а его противники копят динамит.

* * *

По распоряжению военного министра вызвал меня к себе директор отдела вербовки ген. Геддес (впоследствии британский посол в Вашингтоне). Мы вместе выработали, что полк будет называться коротко и ясно: The Jewish Regiment. Форма будет обычная, только вместо фуражки — колониальная шляпа, вроде как у бойскаутов. Кокарда — семисвечник ("менора") с еврейской надписью "кадима" — это значит и "вперед", и "на восток".

— А кого вы бы хотели командиром? — спросил генерал. — Есть у вас в виду кандидат-еврей?

Трудный вопрос. В кармане у меня лежало письмо Патерсона из Дублина. "...По моему глубокому убеждению, вам нужен полковник еврей. Я был бы счастлив опять вести в огонь еврейских солдат; но и справедливость, и интересы нашего дела требуют, чтобы честь эта досталась еврею".

Правильно — только где такого найти? В ассимиляторском окружении майора Лайонела Ротшильда можно было найти человека с подходящим чином — но уж очень я разборчив в применении титула "еврей". Изо всей этой компании один только офицер отнесся к нашему делу сразу "по-еврейски" — звали его майор Шенфильд, и он, насколько мог, был нам полезен в первое время моей работы. Джеймс Ротшильд тогда уже перешел из французской армии в канадскую, но он еще был поручик. Л. М. Марголин, тот австралийский поручик, о котором я упоминал в рассказе о Габбари и о котором часто с тех пор

думал, был уже, правда, майором, но он стоял где-то во Фландрии со своими австралийцами и не согласился бы уйти с фронта. О полковнике Ф. Сэмюэле я тогда еще не слыхал. Но, при всем уважении к упомянутым именам, я и теперь думаю, как думал тогда, что историческую честь эту честно заслужил другой: тот, кто не постыдился стать во главе еврейских "погонщиков" и сумел сделать из них боевую единицу, при упоминании которой военный министр наклоняет голову; тот, кто и в госпитале думал о нас и продолжал нам помогать, составляя книгу, которая потом много нашумела — "С сионистами в Галлиполи"; тот, который поверил в нас с первого момента, когда еще все над нами смеялись.

Я сказал:

— Есть один только кандидат: хоть он не еврей, но полковником нашим должен быть он, и надеюсь, он будет еще нашим генералом: Патерсон...

* * *

Трумпельдора в то время уже не было в Англии. Долго он добивался зачисления в тот же 20-й батальон, где служили его галлиполийцы, готов был идти хоть подпоручиком, согласился бы, верно, пойти даже унтером, но об этом не могло быть речи с одной рукою, а офицерского чина военные бюрократы дать ему не хотели. Главный довод был тот, что по английской конституции иностранец не может быть офицером; в александрийском отряде, по их словам, было другое дело: то не регулярная армия; а в регулярной — нельзя. Трумпельдор выслушал приговор, улыбнулся, сказал сначала: "Не хотят, шельмы этакие", — а потом прибавил: "Эн давар", — и решил уехать в Россию.

— Что вы там делать будете? — спросил я.

Оказалось, у него были два грандиозных проекта.

Во-первых, он считал несомненным, что правительство Керенского, с Савинковым в качестве военного министра, согласится на создание еврейской армии – не просто полка, а настоящей армии в 100 000 или больше, и притом из другого сорта молодежи... И эта армия должна будет пойти на кавказский фронт и оттуда, может быть, прорваться через Армению и Месопотамию до самого Заиорданья.

– А во-вторых?

Никогда не забуду его ответа, даже обстановки не забуду. Мне он дал свой ответ в скупо освещенной комнате, где-то на задворках Челси, но еврейский народ получил тот ответ на горах и в долинах Палестины, и народ его тоже никогда не забудет. Первому плану его помешал развал России; второй он осуществил. Слов его я не записал – незачем: я их и так запомнил. В той каморке, летом 1916-го года, он развил передо мною простой и величественный замысел "халуцианства".

– Халуц – значит "авангард", – сказал я. – В каком смысле авангард? Рабочие?

– Нет, это гораздо шире. Конечно, нужны и рабочие, но это не то. Нам понадобятся люди, готовые служить "за все". Все, чего потребует Палестина. У рабочего есть свои рабочие интересы, у солдата свой esprit de corps; у доктора, инженера и всяких прочих – свои навыки, что ли. Но нам нужно создать поколение, у которого не было бы ни интересов, ни привычек. Просто кусок железа. Гибкого, но железа. Металл, из которого можно выковать все, что только понадобится для национальной машины. Не хватает колеса? Я – колесо. Гвоздя, винта, блока? Берите меня. Надо рыть землю? Рою. Надо стрелять, идти в солдаты? Иду. Полиция? Врачи? Юристы? Учителя? Водоносы? Пожалуйста, я за все. У меня нет лица, нет психологии, нет чувств, даже нет имени: я – чистая идея служения, готов на все, ни с чем не связан; знаю только один императив: строить.

– Таких людей нет, – сказал я.

– Будут.

Опять я ошибся, а он был прав. Первый из таких людей сидел предо мною. Он сам был такой: юрист, солдат, батрак на ферме. Даже в Тель-Хай он забрел искать полевой работы, нашел смерть от ружейной пули, сказал "эн давар" и умер бессмертным.

* * *

Полк. Паунол вскоре после моего свидания с лордом Дарби получил распоряжение образовать из нашего взвода особую команду инструкторов. Руководителями команды были назначены сержант-мажор Ричард Кармел и я. Дик Кармел (мы его уже застали в 20-м батальоне, и, услышав, что устраивается еврейская рота, он попросился к нам) был юноша совершенно английского воспитания, родом откуда-то из Уэльса, где совсем нет евреев: на идиш он едва знал несколько слов и умел коверкать какие-то молитвы. Но в наших "boys" он сразу влюбился, а понемногу стал и сторонником нашего плана. Притом он был бесспорно одним из лучших и наиболее "хватских" ("smart") инструкторов, каких я вообще встречал за все время в армии.

Я очень люблю воспоминания того лета. По утрам мы со всей командой уходили в зеленые холмы Хэмпшира. Иностранцы наслышались о лондонских туманах и не знают, что Англия, пожалуй, самая очаровательная страна в Европе, изумительно богатая речками, рощами, маленькими мягкими холмами, селами, похожими на пейзаж с открытки, – и в особенности зеленая, такая изумрудно-зеленая, как никакой другой край на свете. Хэмпширские "Downs" вокруг Винчестера, где находился наш лагерь, – кусок тихого рая. Там мы проводили целые дни и там доканчивали унтерское обучение моих товарищей. Я правду сказал лорду Дарби – это были первоклассные солдаты, во всем батальоне

говорили об их стрельбе и штыковой работе. Осталось только научить их искусству командования. Кармел заставлял их по одиночке вылезать на холм и оттуда подавать команду так, чтобы на соседнем холме было слышно. Мы им читали элементарные лекции по теории военного дела. Дали понятие о тактике, стратегии, фортификации. Они чертили топографические наброски, сами устраивали потешные маневры. Я думаю, что в общем они получили не только унтер-офицерскую подготовку, но отчасти и кадетскую. Маленькая "комиссия" из гебраистов тем временем выработала командную терминологию по-древнееврейски: впоследствии ею пользовались в нашем 3-м (палестинском) батальоне, а еще позже, в черные дни, – в иерусалимской самообороне. Это были милые, толковые, смелые юноши. Многие из них живут теперь в Палестине; для других благодарный еврейский народ не нашел места в исторической родине; двух из них я встретил в Нью-Йорке; а некоторые спят под знаком Щита Давидова на горе Елеонской.

* * *

В Уайтчепле уже знали, что "идет легион". На собрании сионистского комитета даже Н. О. Соколов сдал позицию и заявил по адресу младших товарищей: "надевайте хаки, чтобы потом иметь право носить бело-голубые одежды". Сотни две учеников Гарри Фирста с нетерпением ждали момента, когда откроется запись; остальная молодежь собиралась по чайным и шумела за и против. В то же время разнесся слух, что правительство ведет переговоры с Петербургом о введении конскрипции для иностранцев.

Это была правда. В Ист-Энде ворчали, что это все "происки легионистов". Евреи не верят просто в историю, в безличную силу, которая сама создает

факты, хотим ли мы их или нет: евреи всегда доискиваются, кто "виноват". Конскрипция была неизбежна, даже если бы "легионисты" пытались этому помешать. Но я должен здесь сказать открыто и охотно, что ни за что на свете не стал бы мешать. Напротив.

Однажды я получил от К. Д. Набокова телеграмму: "Если можно, берите отпуск и приезжайте, дело срочное".

В посольстве на Чешам-сквере он показал мне телеграмму русского министра иностранных дел Терещенко: министр запрашивал мнение посла о конскрипции для русскоподданных в Англии. Английское правительство на этом настаивало: как настроено общественное мнение, в частности еврейское?

Я сказал:

– У англичан, без различия вероисповедания, нет об этом двух мнений, есть одно: конскрипция. Среди эмигрантов-евреев два мнения. Одно – это мнение Ист-Энда: нет. Другое – мнение моих друзей и мое: да.

– Почему?

– Во-первых, я человек континентальный, считаю английскую систему добровольного набора вообще одной из величайших здешних нелепостей и сочувствую конскрипции вообще. Покуда есть на свете войны, до тех пор участие в войне есть обязанность, а не спорт для любителей. Во-вторых, на третий год такой страшной войны даже Гарибальди не удалось бы набрать много добровольцев. Энтузиазм потух. Сами коренные англичане теперь добровольно не идут, пришлось их брать принудительно. Смешно ожидать, чтобы Уайтчепл в 1916-м году вдруг проявил боевое настроение, которое даже средний англичанин потерял уже в 1915-м году; и глупо и несправедливо было бы ставить в минус Уайтчеплу то, что такого аппетита он теперь не испытывает и не проявляет. Тем не менее, Уайтчеплу поставят это в минус, и провал добровольного набора – теперь

совершенно неизбежный – вызвал бы в английских массах беспримерный взрыв расовой ненависти. Этого допустить нельзя. Конскрипция!

Он кивнул головою:

– Я и сам так думал – вот проект моей ответной депеши: то же самое.

Я и по сей день держусь того же мнения. И война, и военная служба – болезнь; верю, что когда-нибудь человечество от них излечится. Но до тех пор нельзя мириться с системой, при которой все бремя падает как раз на лучших патриотов, а равнодушные сидят дома. И неправда, будто волонтерская армия более "героична". Французские солдаты при Вердене были не "волонтеры". Гарибальди когда-то сказал: "Со второго дня службы не остается никакой разницы между добровольцем и рекрутом по набору". Это верно.

В наших батальонах были те и другие. Даже из "лондонского" состава можно было насчитать несколько сот, записавшихся до призыва. Палестинские волонтеры, аргентинцы, турецкие военнопленные – в общем, больше трети всего легиона – тем даже пришлось долго воевать с начальством, особенно с генеральным штабом Алленби, пока их приняли на службу. Но в самом процессе службы разницы никакой не было. Я уже писал об этом: "шнейдер" кличка уайтчеплских конскриптов, стала у нас, в конце концов, почетным званием, синонимом хорошего солдата; и уайтчеплская молодежь это честно заслужила.

...В августе 1917 года одно за другим появились два официальных сообщения: конскрипция для русских граждан в Англии и учреждение еврейского полка. Нам дали три комнаты в департаменте вербовки. Явившись обозревать наши владения, я нашел что этот "аннекс" военного министерства помещается в здании либерального клуба, где когда-то назначил мне свидание м-р Кинг, уже давно, оказывается реквизированном. Я поехал в лагерь под Винчес

тером, попрощался с полковником Паунолом, поблагодарил его за терпение, такт и помощь, взял с собою трех галлиполийцев из нашего "шестнадцатого взвода" и переселился в Лондон. Там я узнал от ген. Геддеса, что полк. Патерсон уже получил распоряжение сдать свой дублинский батальон новому командиру и что дня через три он будет в Лондоне и станет во главе еврейского контингента.

Еще до приезда ген. Геддес устроил совещание офицеров, заведовавших разными отделами его департамента, о том, как организовать набор. Совещание решило: несмотря на конскрипцию, развить энергичную пропаганду, чтобы разъяснить еврейскому обществу и моральное, и национально-еврейское значение легиона.

К концу совещания один из офицеров заметил:

– Нужно, однако, считаться с тем, что будет сильная контрагитация. Это та же шайка, что в прошлом году сорвала вашу первую кампанию, сержант Ж. Я получил донесения: они уже готовятся, снуют по углам и распускают вздорные слухи.

Я знал об этом: мои уайтчеплские друзья тоже успели представить свои доклады. Те же типы, что и год назад, может быть еще и в усиленном составе, снова ходят по кофейням и уговаривают еврейскую молодежь "начихать на конскрипцию". Им, мол, мол, известно, что правительство Керенского уже раскаивается в своем согласии, а совет рабочих депутатов скоро заставит его и совсем отказаться от договора. И лучшее средство ускорить этот поворот назад – скандалы и повальный отказ от явки на службу. Но уж если кто согласен идти в солдаты, то куда угодно, лишь бы не в еврейский полк: еврейский полк – ловушка; его пошлют не в Палестину, а в худшее пекло всего союзного фронта – Фландрию – и там бросят на убой. Сам Ллойд Джордж будто бы сказал: "Евреями мы заткнем все газовые щели"; и лорд Дарби сказал то-то; и кто-то третий еще что-то, и так без конца.

Но у того офицера оказались еще более подробные сведения:

— Слыхали ли вы, сержант, о некоем мистере Чичерине? Он не еврей, но, как мне доносят, он и есть главный, хотя закулисный коновод всей этой контрагитации.

Роль мистера Чичерина была мне, как сказано, уже давно знакома. Главным коноводом я бы его не назвал: он тогда уже больше интересовался чисто российскими делами. Но в свободные часы, в те минуты досуга, когда можно уделить мимоходом каплю рассеянного внимания вещам побочным и несущественным, он, действительно, развлекался подливанием керосина в еврейский огонь. В частности, он него шли все заверения о том, что "совет рабочих депутатов не допустит". И почему бы нет? Чем он рисковал? Ни ему, ни его племени за нашу разбитую посуду платить не придется. Сион или голус, дружба наша с Англией или вражда с каждым англичанином — он тут ничего не выиграет и не проиграет. Отчего не позабавиться?

Я сказал:

— О м-ре Чичерине я слышал; но друзья мои и я того мнения, что теперь вся эта группа уже не опасна. Мы будем печатать воззвания, будем созывать митинги — рассудок и логика победят. А о срыве собраний, как в прошлом году, теперь не может быть речи: на то есть у меня галлиполийцы из "шестнадцатого взвода".

— Гм... — ответил офицер, — я бы взглянул на это дело суше и практичнее. Особенно этот м-р Ч., неожиданный печальник за евреев, по-моему, лишняя фигура, совершенно неподходящая к пейзажу...

... Теперь наши митинги шли в полном порядке. Сержант Эфраим Блитштейн, старый мой знакомый (в Александрии, зимой 1914 г., он заведовал порядком в бараках палестинских беженцев), приводил на каждое собрание по десятку наших галлиполийцев. Тут были и грузинские евреи с именами, кончаю-

щимися на "швили", и плотные хлопцы с Молдаванки и Подола, и футболисты из яффской гимназии, и приволжские геры. Они сидели в углу и не вмешивались – но все их видели, и порядок соблюдался благоговейно. Выступали у нас и приятели г. Чичерина, держали пламенные речи против сионизма, милитаризма, капитализма; наши им возражали; все по очереди, прилично, благолепно, как у людей. Полная свобода слова – и никакой возможности скандалить. Жаль, что год тому назад не было у меня "шестнадцатого взвода" – может быть, вся история Палестины сложилась бы иначе...

А г. Чичерина так и сглазил тогда – конечно, без умысла сглазить – добрейший м-р Кинг в той беседе нашей в либеральном клубе. Сбылось его предсказание. Тот офицер остался, очевидно, при своем взгляде, сухом и практичном, и м-р Чичерин попал за решетку. Кажется, впрочем, не в тюрьму, а только в концентрационный лагерь, точно не знаю, забыл расспросить. Во всяком случае, к утешению поклонников его, если есть такие среди читателей, могу их заверить, что там ему жилось лучше, чем живется теперь его подданным на Соловках...

ГЛАВА VIII

ЗИГЗАГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУДРОСТИ

Тут, к сожалению, надо рассказать эпизод, который сам по себе того не стоит: это – попытка ассимиляторов умертвить легион еще до рождения. Строго говоря, достаточно было бы просто сообщить, что попытка не удалась, и этим удовольствоваться. Случай этот, однако, интересен тем, что характеризует он не только наших англосаксов моисеева закона, но отчасти и английскую правительственную машину, а ее у нас еще слишком мало знают. У нас все еще держится легенда, будто британская администрация всегда работает по строго обдуманному плану. В действительности ничего подобного нет. Часто, слишком часто дело обстоит как раз наоборот, и получается точная копия той безалаберщины, которую немцы называют russische Wirtschaft*. В одной комнате канцелярии постановляют так, в соседней – иначе, и каждая комната вершит по-своему, пока не столкнутся. Когда столкнутся – тогда дело кончается благополучным компромиссом, потому что народ они рассудительный, без праздного упрямства и очень способный: всякая другая нация при этой манере управления не вылезала бы из катастроф. Вот любопытная иллюстрация: в 1922 году, когда вагабиты начали войну против короля Хуссейна геджазского, во время прений в палате общин совершенно официально обнаружилось, что лондонское правительство поддерживало деньгами и оружием короля Хуссейна,

*Русское хозяйство.

а в то же время правительство британской Индии давало деньги и оружие вагабитам, – и никто раньше этого "совпадения" не заметил. Таковы они в больших делах, таковы и в малых; так вышло и с этим ходом ассимилированных лондонских нотаблей.

Патерсон часто старался привлечь их всех к делу помощи, чтобы полк мог принести еврейству честь, а не конфуз. Тотчас по приезде в Лондон он созвал собрание, на которое пришли главные вожаки из неприятельского лагеря с Лайонелом Ротшильдом и Эдмундом Себаг-Монтефиоре во главе; из друзей наших были д-р Вейцман, майор Эмери (он уже повысился в чине) и еще один офицер, имени которого мы тогда не расслышали. Пришел и лорд Ротшильд – потом он стал теплым другом легиона, председателем комитета попечения о наших солдатах, но в то время еще колебался. Патерсон подробно описал это собрание в своей второй книге: "With the Judaeans in the Palestine campaign"*.

Большинство собравшихся готово было признать, что, как бы там ни относиться к самой идее, раз легион стал фактом – нужно дело поддержать. Кап. Редклиф Саламан, военный врач, потомок одной из старейших англо-еврейских семей, сказал: "Сионисты поступили по-колумбовски, поставили яйцо торчком; перед нами совершившийся факт, и теперь у нас одна задача: стараться, чтобы полк принес еврейству честь". В этом же смысле высказался лорд Ротшильд. Зато Лайонел Ротшильд и Себаг-Монтефиоре заявили, что они не так покладисты и еще собираются повоевать. Эту "войну" они начали сейчас же после собрания: пошли к ген. Геддесу и пожаловались, что "Патерсон и его иностранный сержант тут же в вашем департаменте разводят сионистскую пропаганду".

И ген. Геддес испугался. В двух шагах от его департамента, в том же Уайтхолле, в доме №10 по

*"С Первым полком Иудеи в войне за Палестину".

Даунинг-стрит, сам премьер с помощью Бальфура подготовлял уже тогда военный кабинет к принятию декларации 2-го ноября 1917-го года; тот же Геддес сам со мной уговаривался о кокардах с менорой и надписью "кадима", о бело-голубых нашивках со значком Щита Давидова, о палестинском фронте; но традиция бессистемности оказалась сильнее всех этих фактов, и Геддес испугался, вызвал к себе Патерсона и прочел ему нотацию...

Одно недоразумение произошло на том собрании; оно имело потом грустные последствия. Я упомянул, что среди офицеров был один, имени которого мы не расслышали. После собрания Патерсон показал мне клочок бумаги с надписью карандашом: "Если хотите, я пойду с вами. Н. П.".

– Кто этот Н. П.? – спросил он. – Это мне передали после речи Монтефиоре, но я был так зол, что не заметил кто.

Я тоже не знал; и среди забот последовавших дней мы оба забыли об этой мелочи.

А несколько недель спустя мы прочли, что на палестинском фронте погиб кап. Ниль Примроз, сын лорда Розбери. Смерть его произвела огромное впечатление и на евреев, потому что главная ветвь семьи Примроз наполовину евреи по крови – дети и внуки Ганны Ротшильд, дочери первого лорда Ротшильда, вышедшей замуж за тогдашнего лорда Розбери. Говорят, все Примрозы очень гордятся этой ветхозаветной примесью; Ниль Примроз, оказалось, специально хлопотал об отправке на палестинский фронт.

Эмери встретил Патерсона в военном министерстве.

– Помните Ниля Примроза? – спросил он полковника. – Я тогда, по его просьбе, привел его на собрание с вашими противниками. Он очень интересовался вашим делом...

Если бы не нелепый случай, он был бы с нами в полку и, может быть, еще поныне жив.

* * *

Ассимиляторы формально объявили войну. Они отправили к военному министру целое посольство, с лордом Суэтлингом, Лайонелом Ротшильдом и присными. Цель у них была совершенно ясная, и дело шло не только о легионе. Они уже знали, что правительство собирается обнародовать какую-то декларацию в смысле поддержки сионизма; всеми силами они старались этому помешать и логически рассудили, что еврейский корпус на палестинском фронте, с их точки зрения, еще гораздо опаснее, чем простая декларация на бумаге. Они потребовали от военного министра, чтобы вообще еврейский полк был раскассирован; иностранных евреев, конечно, следует забрить, но распределить по общим батальонам и послать туда, куда посылают большинство солдат, а никак не в Палестину.

– Вот что я могу для вас сделать, – сказал лорд Дарби. – Распределить их по другим батальонам не могу, это дело решенное, но решение о том, чтобы их полк назывался "еврейским", мы пересмотрим. Он будет носить одно из обычных полковых имен. Будет во всех отношениях рассматриваться как обыкновенный британский полк, и пошлют его туда, куда решат послать.

Через полчаса нам эту новость вообщили в бюро. Еще через час мы ответили контрмобилизацией.

Патерсон, рискуя военным судом, отправил резкое письмо генерал-адъютанту (в Англии это высший военный шеф военного министерства, главное лицо после министра). Патерсон заявил в этом письме, что в ответе Дарби еврейским плутократам видит измену, нарушение слова и обман еврейских рекрутов (у него тогда уже было несколько сот солдат в новом нашем лагере близ Портсмута); что все это – стыд и позор для доброго имени Англии, и поэтому

он просит освободить его от командования.

Х. Е. Вейцман и майор Эмери отправились к лорду Мильнеру, в то время члену военного кабинета, и высказали ему горькую жалобу на уступчивость военного министра. Мильнер, сам глубоко возмущенный, в тот же день устроил себе свидание с Дарби и получил согласие этого добрейшего государственного деятеля на то, чтобы через неделю представилась ему "контрдепутация", которая предъявит обратные требования и которой он, лорд Дарби, тоже предложит компромисс.

А я вспомнил свое старое кредо: правящая каста мира сего – журналисты. Я поехал в редакцию "Таймса" к м-ру Стиду. Что я ему сказал, не помню; но его ответ у меня записан в подлинной форме, коротко и ясно:

– Завтра "Таймс" скажет военному министерству, чтобы оно не валяло дурака (not to play the fool).

– Но Патерсон не хочет оставаться, – сказал я, – я без него не могу работать.

– "Таймс" посоветует ему остаться.

На следующее утро в "Таймсе" появилась его передовица. Мне говорили, что такой головомойки военное министерство не получало за все время войны. "Таймс" высмеивал бюрократию, готовую считаться с дюжиной тузов, за которыми, кроме их собственной гостиной, никого нет, и ради них пренебрегать идеализмом многомиллионой массы, симпатии которой кое-что значат в мировом учете. Если нужна уступка, перемените имя: вместо "еврейского" назовите полк "маккавейским"; но еврейский характер полка и его специальное назначение должны быть сохранены. "И мы надеемся, что полк. Патерсон, негодование которого мы вполне понимаем, изменит свое решение и возьмет назад свою отставку".

После этого выступления газеты-громовержца все остальное уже было сравнительно легко. Лорд Дарби принял вторую делегацию и сказал им, что за полком сохранен будет еврейский характер и что нет никаких

причин опасаться отправки его не на тот фронт, какой предполагался с самого начала; и вообще все будет в порядке. Но в одном отношении правы, по его мнению, джентльмены из первой депутации: звание ”еврейский полк” есть почетный титул, и вряд ли уместно сразу давать его контингенту, который еще не успел показать себя на поле битвы. Титул этот нужно прежде заслужить; он, министр, обещает, что немедленно после того, как еврейские солдаты с честью проявят себя на фронте, полк получит и еврейское имя и еврейскую кокарду. Покамест же решено дать им другое имя, тоже почетное – тридцать восьмой батальон королевских стрелков (Royal Fusiliers).

Это обещание он сдержал. После занятия Заиорданья мы официально получили название “Judaean Regiment” и менору с надписью ”кадима”. Но и до того, еще тут же, в Лондоне, нам разрешили прибить над воротами нашего центрального депо на Чинис-стрит (дом, куда отправляли рекрутов до посылки в Портсмут) вывеску с древнееврейской надписью: ”Гедуд ламед-хэт ле-Каллаэ га-Мелех”*. В печати и даже в официальной переписке нас по-прежнему называли “Jewish Regiment”**. На фронте офицеры и солдаты наши носили на левом рукаве значок Щита Давидова: в одном батальоне красный, в другом – синий, в третьем – фиолетовый. Был у нас и ”падре” – так в английской армии величают полковое духовенство – раввин Фальк, горячий молодой мизрахист*** и смелый человек под огнем. А злосчастному полк. Патерсону пришлось изучить все тонкости ритуального убоя: он вел переговоры с военным министерством и с портсмутскими мясниками

*”38-й батальон королевских стрелков”.

**”Еврейский полк”.

***Мизрахист – участник религиозно-сионистского движения Мизрахи, организованного в 1902 году как фракция Всемирной сионистской организации.

о кашерном мясе, о передних и задних четвертях, и жилах, и сухожилиях... дальше перечислять не решаюсь, так как я этих правил не знаю; но он знает.

* * *

Для меня лично ассимиляторское посольство имело серьезные последствия. Кто-то из членов делегации оказал мне, по-видимому, честь особо протестовать против моей преднаборной пропаганды.

Дело в том, что сотрудники мои изготовили брошюру на идиш об идее и задачах легиона. Так как закон о конскрипции давал каждому рекруту выбор — служить здесь или ехать на службу в новую свободную Россию, — то в брошюре было несколько страниц о том, что служба на русском фронте тоже не забава.

Брошюра была отпечатана за счет департамента. Департамент выдал мне список тридцати пяти тысяч адресов иностранцев призывного возраста в Англии и Шотландии. (Кстати, еще одна иллюстрация безалаберности: в этом списке людей, не пошедших на службу, я нашел свое имя и адрес...) Кроме того, департамент дал мне 35000 конвертов со штемпелем "OHMS" ("на службе Его Величества") и десять хромых солдат для писания адресов.

На утро после приема ассимиляторской делегации у лорда Дарби я получил по телефону распоряжение явиться сейчас же в кабинет генерал-адъютанта. По совпадению, это оказался тот же кабинет, где принимал нас с Трумпельдором ген. Вудворт. Опять я вошел церемониально, выпятив грудь и с шапкой на голове. Там уже был Патерсон, тоже в шапке; за столом сидел сам генерал-адъютант, сэр Невилл Мэкриди, тоже в шапке. Все это имело очень официальный вид и пахло неприятностями.

— Знаком ли вам этот текст? — спросил генерал и протянул ко мне толстую английскую рукопись. Я

просмотрел начало.

– Первые строки, сэр, – сказал я, – похожи на брошюру на идиш, которую мы разослали иностранцам, подлежащим воинской повинности; перевод скверный, сэр.

– А я слышал, что русское посольство глубоко возмущено, – заявил он, – брошюра полна резких выпадов против русской армии.

– Значит, сэр, перевод не только скверный, а хуже. В оригинале таких выпадов нет. А посла Набокова я видел и вчера, и третьего дня, говорил с ним как раз о моей пропаганде, и он даже не заикнулся об этой брошюре. Не угодно ли вам, сэр, вызвать его сейчас же? Телефон: Виктория, номер такой-то.

Он начал сердиться.

– Кто вам, сержант, разрешил рассылать эту брошюру в официальных конвертах?

Мне следовало бы разинуть рот от изумления; помню, что от этого я воздержался, но боюсь, что глаза вытаращил. Что ответить на такой вопрос? Департамент, ему самому подчиненный, выдает мне список адресов, который считается государственной тайной, печатает за свой счет мою брошюру, дает мне 35 000 официальных конвертов, дает мне взвод переписчиков – и после всего этого он, хозяин военного министерства, спрашивает у меня, и. д. сержанта на капральском жаловании, кто это разрешил. Это уже не ”руссише виртшафт”, а совсем чепуха какая-то. Неужели может у них любой унтер, да еще приезжий, рассесться в любой комнате из дворцов Уайтхолла и распоряжаться, приказывать, запрещать, может быть, даже отдать приказ, чтобы кончили войну? Счастье для них, что я ”милитарист”...

Но сэр Невилл Мекриди оказался все-таки умницей, не лишенным чувства юмора: так как я не имел права расхохотаться ему в лицо, то расхохотался он сам и обратился к Патерсону:

– Отправьте сержанта Ж. в лагерь в Портсмут, а

то он и совсем тут у нас все переделает по-своему. Надеюсь, что солдат из него выйдет менее неудобный, чем получился пропагандист.

Я отдал честь и вышел, а в коридоре остался ждать Патерсона. Через десять минут вышел и он.

— Сэр, — спросил я формально, — когда прикажете ехать в Портсмут?

— Ничего подобного, — ответил этот ирландец, который видал в жизни львов-людоедов и потому простых генералов не боится, — у себя в батальоне я хозяин, и мне вас там не нужно. Оставайтесь в Лондоне и продолжайте в том же духе. Едем в депо, я вам подпишу приказ о командировке в Лондон.

Из депо я поехал к Набокову.

— Константин Дмитриевич, правда ли, что посольство возмущено этой брошюрой?

— В жизни не видал и не слыхал, — ответил он, перелистывая брошюру, конечно, слева направо и удивляясь, где же начало.

— Может быть, знает Е. А. Саблин, секретарь посольства?

Он вызвал секретаря: тот же ответ. К. Д. Набоков тут же подписал формальное заявление, что брошюра никому в посольстве не известна, секретарь приложил к ней посольскую печать; особой ленточкой они пришили это свидетельство к моей брошюре и даже ленточку припечатали сургучом. Я отвез этот пакет к майору Эмери, а он переслал его генерал-адъютанту, с препроводительным письмом, которого я не читал, но догадываюсь.

"Мекриди" не английское имя; подозреваю, что сэр Невилл тоже ирландец; во всяком случае, он к этому инциденту отнесся, как добрый малый, т.е. "забыл". О том, что я остался в Лондоне, устраивая интервью с журналистами и произнося речи, он знал и писал об этом Патерсону, но очевидно ничего против этого не имел. Он остался добрым другом легиона; а резкое письмо Патерсона об отставке он

сунул в карман и ответил полковнику: ”Не волнуйтесь, все будет all right”...

* * *

Та же компания и дальше старалась нам мешать. Генерал-адъютант разрешил евреям из других полков переводиться в наш батальон. Многие из них очень этого хотели, да и нам желательно было ”подкрахмалить” своих новичков примесью опытных солдат. Вдруг оказалось, что полковые раввины на французском фронте откуда-то получили совет или приказ объяснять в своих проповедях, что стыдно английскому еврею служить в нашем батальоне. Меня уверяли, что инициатором был сам ”реверенд” Майкл Адлер, главный раввин при армии и прямой начальник всех батальонных ”падре”. Не знаю, так ли это. Бог с ним. Но мы ждали, что к нам переведутся тысячи, а перевелось всего несколько сот.

* * *

Приятно все-таки вспомнить, что нашлись у нас и друзья. Образовался комитет попечения о наших солдатах под председательством лорда Ротшильда; в нем главную роль играли жены руководящих лондонских сионистов. Организовали его г-жа В. И. Вейцман и м-с Патерсон; остальных перечислить не могу, но всем спасибо. Это была совсем не шуточная работа: приходилось проводить в депо не только дни, но и ночи, когда привозили новую партию рекрутов и надо было их кормить и поить. Начальником депо был сначала майор Нольс, друг Патерсона, а после него еврей — майор Шенфильд, тот самый единственный еврейский офицер в Лондоне, который с самого начала отнесся к нам по-человечески.

Но лучше всего было то, что мне удалось разыскать Л. М. Марголина. Его привезли раненого в один из лондонских госпиталей, и я к нему туда поехал. Я давно и много слышал о нем и от брата его в Петербурге, М. М. Марголина, главного секретаря редакции обеих ефроновских энциклопедий, общей и еврейской, а еще больше – из легенд, которые мне еще за девять лет до того рассказали о нем в Палестине. Семья переселилась туда еще в первые годы колонизации, когда Элиэзер Марголин был ребенком. Поселились они в колонии Реховот. Мальчик выдвинулся и как колонист, и как удалец: "Сидит на коне, как бедуин, и стреляет, как англичанин", – говорили о нем окрестные арабы. После кризиса 90-х годов он уехал в Австралию, долго там скитался, кажется, и пахал, и копал, пока не осел где-то в городе и занялся деловыми делами. В то же время он записался в австралийскую территориальную милицию. Когда началась война, он уже был у них поручиком. Несколько месяцев он провел в Египте, потом попал во Францию и там в траншеях дослужился до майорского чина и должности помощника батальонного командира. Крупный, широкоплечий человек, молчаливый, солдат с головы до ног, у себя в батальоне и царь, и отец, и брат для своих boys; притом изумительный хозяин и организатор.

– Идем к нам, Лазарь Маркович.

– Боюсь. Евреев боюсь: с ними нужно разговаривать...

Но он к нам пришел. Генерал-адъютант помог уладить формальные трудности с переводом из австралийской армии в английскую (это, кстати, связано было с значительным понижением жалованья), и Марголин с чином подполковника стал начальником нашего второго батальона, на официальном языке – 39-го.

* * *

О том, как жили наши солдаты в лагере близ Портсмута, сам я ничего рассказать не могу. Я только раз там был и чувствовал себя как чужой. Полк. Патерсон познакомил меня со своими офицерами, но ему пришлось это сделать у себя в комнате, так как в офицерскую столовую он не имел права меня пригласить. В сержантской столовой я нашел старых друзей: Ричард Кармел был в чине батальонного сержанта-мажора, и многие из моих приятелей по "16-му взводу" уже носили сержантские нашивки. Но все остальные меня стеснялись, и я их.

Поздно ночью, помню, я стоял один посреди большого двора, освещенного месяцем и снегом, и осматривался кругом со странным чувством. Низенькие бараки со всех сторон, в каждом по сотне молодых людей — ведь это и есть тот самый еврейский легион, мечта, так дорого доставшаяся; и в конце концов я тут чужой, ничего не строю и не направляю. Совсем вроде сказки: дворец Аладину построили незримые духи. Кто такой Аладин? Никто, ничто; случай подарил ему старую заржавленную лампу, он хотел ее почистить, стал тереть тряпкой, вдруг явились духи и построили ему дворец; но теперь дворец готов; он стоит и будет стоять, и никому больше не нужен Аладин с его лампой. Я задумался и даже расфилософствовался. Может быть, все мы Аладины; каждый замысел есть волшебная лампа, одаренная силой вызывать зиждительных духов; надо только иметь терпение тереть и скрести ржавчину, пока — пока ты не станешь лишним. Может быть, в том и заключается настоящая победа, что победитель становится лишним.

С той ночи я стал лишним, и очень рад, что дальше можно будет писать этот рассказ, не так часто употребляя слово "я". Не моя вина, что повесть о родовых муках легиона пестрела до сих

пор этим неприятным местоимением через каждые пять строк или чаще; но, слава Богу, конец. На публичных митингах, особенно в Америке, меня иногда представляли публике как того самого господина, который "шел во главе легиона". Прошу отметить, что сего никогда не было и быть не могло. "Легион" состоял из 10 тысяч человек, из них 5 тысяч были фактически в Палестине; они составили три батальона, и во главе каждого из батальонов стоял полковник с большим военным опытом. В одном из этих батальонов среди двадцати с чем-то лейтенантов был поручиком и я и командовал взводом в 50 или 60 человек; да и то по особой милости. За два дня до отъезда батальона в Палестину меня произвели в офицеры с каким-то очень сложным обходом английской конституции. Я уже писал, что по конституции воспрещено давать фактические права офицеру-иностранцу. "Есть только два исключения, – дразнил меня Патерсон, – кайзер Вильгельм и вы; и его уже выкинули". Не знаю, правда ли это; но точь-в-точь как кайзер Вильгельм ничего не значил в британской армии, так я ничего не значил в легионе. Ничего против этого не имею; так и должно было быть; когда был с полком, я старался играть роль поручика прилично, все равно как прежде старался хорошо мыть столы в сержантской столовой под Винчестером: и я люблю оба воспоминания.

* * *

2-го февраля 1918 года первый еврейский батальон с привинченными штыками промаршировал по главным улицам Лондона, включая Уайтчелл. Солдат наших специально привезли из Портсмута и приняли с большими почестями. Ночевали они в Тоуэре, среди монументов шести столетий английской истории; самое право идти через Сити со штыками на

дулах было привилегией – Сити сотни лет воевало за то, чтобы королевские солдаты не смели в нем показываться с привинченными штыками. На крыльце Меншон Хауза, среди пышной свиты, стоял в своих средневековых одеждах лорд-мэр и принимал салют еврейского батальона. Комично: рядом с ним я вдруг увидел майора Р., одного из злейших противников наших, члена той ассимиляторской делегации; он стоял весьма гордо и победоносно, явно греясь на солнышке нашего успеха, раз не удалось ему помешать.

Из Сити батальон направился в Уайтчепл. Там ждал нас тот самый генерал-адъютант сэр Невилл Мекриди со своим штабом, и десятки тысяч народу на улицах, в окнах, на крышах. Бело-голубые флаги висели над каждой лавчонкой; женщины плакали на улицах от радости; старые бородачи кивали сивыми бородами и бормотали молитву "благословен давший дожить нам до сего дня"; Патерсон ехал верхом, улыбаясь и раскланиваясь, с розою в руке, которую бросила ему барышня с балкона, а он подхватил на лету; а солдаты, те самые портные, плечо к плечу, штыки в параллельном наклоне, как на чертеже, каждый шаг – словно один громовой удар, гордые, пьяные от гимнов и массового крика и от сознания мессианской роли, которой не было примера с тех пор, как Бар-Кохба в Бетаре бросился на острие своего меча, не зная, найдутся ли ему преемники...

Молодцы были эти портные из Уайтчепла и Сохо, Манчестера и Лидса. Хорошие, настоящие "портные". Подобрали на улице обрывки разорванной народной чести и сшили из них знамя, цельное, прекрасное и вечное.

На следующее утро мы выехали из Саутгемптона во Францию – Египет – Палестину.

ГЛАВА IX

ЛАГЕРЬ И ШТАБ-КВАРТИРА

Десять дней подряд в вагонах, ползком через Францию и Италию; но это были не трудные дни. У солдат наших должно было получиться впечатление, что и Франция, и Италия нарочно устроены и распланированы для удобства британской армии. На каждой узловой станции, от Шербурга до Таранто, имелся английский "Ар-Ти-О" (начальник военных поездов), и он, очевидно, и был настоящим хозяином железной дороги; во всяком случае, так нам это казалось. На каждые вторые сутки мы попадали в этапный лагерь с английским управлением, врачами, сестрами, прислугой; каждый этап был похож на городок из бараков и палаток, со столовыми, аптекой, больницей, концертной эстрадой и даже "калабушем" — так наши солдаты, под влиянием александрийцев, привыкших к египетской терминологии, называли кутузку. У нас в батальоне образовался прекрасный оркестр с труппой из настоящих кафешантанных актеров — никто не подозревал до тех пор, сколь многим сцена мюзик-холла обязана Уайтчеплу. Этапные власти очень хвалили наши концерты; я могу только отметить, что в их репертуаре не было ни одной еврейской песни кроме Гатиквы, которую полковник заставлял исполнять стоя к концу каждого концерта.

Солдаты были очень весело настроены. Особенно помню один вечер, когда мы медленно ехали вдоль французской Ривьеры мимо Ниццы и Монако, уже в полном блеске тамошней весны. Ист-Энд, видимо, и

не подозревал, что бывает на свете такая красота. Изо всех окон длинного поезда неслись радостные крики.

Из 30-ти офицеров две трети были евреи, перешедшиеся из других полков. Большинство из них мало слыхали до тех пор о сионизме; в офицерской столовой после ужина завязывались иногда споры, напоминавшие добрую старую "дискуссию" в Минске или Кишиневе. Нация ли евреи? Что такое национальность? Можно ли быть сионистом и английским патриотом? Пробовали и меня втянуть в прения, но я уже давно забыл, как "доказываются" такие теоремы. Честь эту я охотно предоставил более молодым "рекрутам" сионизма.

Горас Сэмюэл, статьи и рассказы которого печатались в толстых журналах (теперь он видный адвокат в Иерусалиме), прижав к стене долгоносого кап. Гарриса, главу полковых ассимиляторов, доказывал ему со своим ленивым оксфордским акцентом, что национальность есть "внутреннее настроение"; если тот не поддавался, Сэмюэл призывал на помощь адъютанта Ледли, типичного замороженного инглишмена, ставил их рядом и призывал мир во свидетели, что нельзя эти два экземпляра принять за сынов одной народности.

"Падре" Фальк, пламенный мизрахист, смело отстреливался от целого батальона лейтенантов, наседавших на него со всякими безбожными новшествами, например, что сионистское исповедание ничуть не связано с предпочтением кашерного мяса. Он стоял, как скала, на своем:

– Совсем и не в мясе тут дело, а в принципе: еврей вообще должен бороться против всех своих аппетитов, ограничивать и дисциплинировать себя на каждом шагу.

Кап. Дэвис, батальонный врач, заменивший у нас перед самым отъездом Редклифа Саламана, который был прикомандирован к батальону Марголина и остался пока в Лондоне, со смехом пожаловался:

— Понимаете, вдруг получаю приказ: изволь вспомнить, что ты еврей и ступай в крестоносцы, если можно так выразиться. Я теперь, значит, вроде как бы "сионист по набору".

И он тут же в поезде написал весьма вдохновенный "марш еврейского легиона", в стихах с рифмами, с энтузиазмом и национализмом и всем прочим, что полагается. Вышло недурно; новое подтверждение теории, что на второй день исчезает разница между конскриптом и добровольцем.

Лучший сионист изо всех был сам полковник. Его аргументы назывались: Эгуд, Гедеон, Девора и Варак, царь Давид, Армагеддон, луна в долине Айялонской... Падре пытался даже доказать, что Патерсон не просто сионист, но мизрахист. Правда то, что Патерсону удалось приладить наши отдыхи в этапных лагерях к субботам. По утрам батальон созывали тогда на парадное богослужение, в присутствии всех офицеров и солдат; посреди парада на высокой палке развевался бело-голубой флаг, падре читал Тору из настоящего свитка (подарок портсмутской общины), а после его проповеди тот самый хор, что выступал с таким успехом в полковых концертах, исполнял Гатикву и английский гимн. Проповедовал он горячо, наивно и содержательно. Это был молодой человек очень начитанный в своей отрасли; ссылался на борьбу саддукеев с фарисеями, уважал ессеев, бранил эллинистов, хвалил зелотов, полемизировал с Вельгаузеном... очень приличный молодой человек был наш падре; теперь он раввинствует, кажется, в Австралии, в Сиднее, и я сердечно поздравляю его общину.

В Таранто, где нам пришлось целую неделю ждать конвоя японских миноносцев для переезда в Александрию, Патерсон пошел с падре в город к столяру и заказал маленький походный ковчег для свитка из какого-то очень дорогого дерева. С большим церемониалом на ближайшем субботнем параде уложил в него наш свиток, и полковник сказал солдатам

совершенно серьезно:

– Теперь вам нечего бояться немецких подводных лодок, раз у нас на пароходе будет такой талисман.

Транспорт нам дали великолепный, и в Александрию мы доехали без приключений и без непогоды.

* * *

Александрийская община встретила нас как родных. Снова увидел я старых друзей из времен Габбари: главного раввина Делла Пергола, барона и баронессу Менаше, Суареса, Пичотто. "Zion Mule Corps был наш сын, а этот полк – наш внук", – говорили они. Они устроили в нашу честь торжественное богослужение в главной синагоге, с губернатором, генералами, консулами и мусульманскими нотаблями.

То же повторилось в Каире. Ген. Алленби уже тогда был со своей штаб-квартирой в Палестине, недалеко от колонии Беер-Яков; но верховный комиссар Египта, сэр Реджинальд Уиндхем, пропустил батальон пред собою церемониальным маршем, стоя у ворот дворца навытяжку с рукой под козырек, когда оркестр играл Гатикву... Еще далеки были те настроения, что развились у английских властей через год или полтора, когда ген. Мони, военный администратор Палестины, в 1919 году, в Иерусалиме, в присутствии всех еврейских и английских и арабских нотаблей, отказался встать при звуках еврейского гимна.

Нам дали лагерь в местности Хельмия, недалеко от Каира; там мы и закончили обучение солдат. Было страшно жарко, работать можно было только до 9-ти утра и с 5-ти часов вечера. И почти еженедельно устраивался где-нибудь "бал" – то в городе в нашу честь, то у нас в лагере в честь каирской общины.

* * *

Кроме обычных обязанностей взводного мне досталась еще одна работа: все солдатские письма подлежали до отправки просмотру офицером. Я был единственный офицер, способный прочесть письмо еврейскими буквами. Заодно мне уж подсовывали вообще все письма, написанные не по-английски. Тут я в первый раз открыл тот факт, что у нас в батальоне оказалось несколько литвинов – не "литваков", а настоящих литвинов-католиков. Они работали в угольных копях где-то неподалеку от Глазго; когда пришлось идти служить, они попросились к нам. Я, конечно, ни слова не знал по-литовски, за исключением того, что Германия по-ихнему "Вокетия", а поляк называется "ленкас". Но если бы я отказался "цензуровать" их письма, то вообще лишил бы их возможности переписываться, ибо остальные офицеры в Египте, вероятно, даже и этих двух слов по-литовски не знали. Словом, я решил поставить на карту судьбу войны и победу союзников и стал подписывать "О.К." на литовских письмах. Одно я в них понял: изо всех наших солдат литвины были почти единственные, которые пытались описывать нашу дорогу, упоминали географические названия, говорили о специальных задачах полка, вообще единственные, которые интересовались вопросами "посторонними", вне круга личных дел: сужу об этом потому, что в их письмах были такие слова, как Ницца, Италия, "Эгиптас", даже "Иерозалимас", даже "сионизмас".

В еврейских письмах этого почти не было. "Дорога приятная". "Теснота в вагонах". "Слава Богу, море спокойное". А дальше следует самое главное: как дети? Прорезались ли уже зубки у Ханелэ? Прошла ли корь у Джо? Не тоскуй, дорогая. Провела ли ты уже газ на кухне? – Бесконечная нежность к своему дому – не к стране, не к городу, не к улице, а

только к одной квартире... Мне вспоминалось талмудическое речение: "Дом его есть его жена". Кто знает: может быть, это и лучше патриотизма; может быть, это есть основа патриотизма. Может быть, если этим людям дать настоящий "дом", такой, где квартира, и улица, и город, и страна сплетены в одно целое, взаимно обусловленное как ступени одной и той же лестницы, где сломай одну – посыплются другие, то и получится психология зелотов Бар-Кохбы?

Часто мне почти совестно было так глубоко заглядывать в человеческие души. Зато я установил для себя правило – вынимать каждое письмо из конверта и вкладывать обратно, не глядя на адрес. Это было тем корректнее, что в этих письмах часто была крепкая брань по адресу самого цензора...

* * *

Мы ждали гостей. Почти накануне нашего отъезда из Англии пришла телеграмма из Нью-Йорка, подписанная: Брайнин, Бен-Цеви, Бен-Гурион. В ней кратко сообщалось об открытии в Америке широкой вербовки солдат для нашего полка. Греческое правительство тоже сообщило, что разрешит набор добровольцев в Салониках. Из Буэнос-Айреса пришла телеграмма: "Британское согласие получено. Владимир Герман". В Египте тоже открылось рекрутское бюро.

Но самая отрадная весть получилась из Палестины. Как только поезд наш подошел к Каирскому вокзалу, ко мне подбежал молодой человек в хаки, правда, без кокарды.

– Зовут меня так-то, – представился он. – Специально прислан из Тель-Авива приветствовать легион от имени палестинских волонтеров. – И он мне впервые рассказал о большом движении в оккупированной части Палестины: в Иерусалиме, Тель-

Авиве с Яффой, в колониях Иудеи; передал слухи, что и в северной части Палестины, тогда еще занятой турками, молодежь сильно возбуждена; несколько человек даже пробрались через турецкие линии и пришли в пограничную Петах-Тикву с вопросом, где легион?

Однажды утром Патерсон мне сказал:

— Уложите свой дорожный мешок — я получил пропуск для себя и для вас в Палестину.

Всю ночь в поезде оба мы не спали. Не потому, чтобы взволнован был я — взволнован был полковник. Нашему брату, перекати-полю, без почвы и традиций трудно представить себе, что значило для его протестантской души "переживать" такие имена, как Синайская пустыня, Газа, Иудея. Еще в детстве он по воскресеньям тихо сидел у огня, когда отец читал благоговейно притихшей семье очередную главу из английской Библии. Суэцкий канал? Для меня это тоже грандиозная вещь — в смысле инженерного достижения. Но для Патерсона это было личное воспоминание, кусок его собственного детства, отголосок первой из первых волшебных сказок, которым он научился еще задолго до того, как услышал об ирландских горных духах и ведьмах и прекрасной королеве Дейрдрэ, погубившей столько богатырей; для него это было расступившееся Чермное море, Моисей-пророк с длинной бородой и рогатыми лучами на лбу, фараоновы колесницы в волнах, столпы огня и дыма.

Луна, заря, солнце — а кругом все то же, пустыня с редкими кочками зелени. Потом несколько больше зелени: это Газа. Серая, запыленная, запущенная арабская трущоба в моих глазах; но для моего полковника это — город могучего Самсона и веселых филистимлян.

Потом опять пустыня; и вдруг — новый мир, зеленая роща эвкалиптов, бесконечные ряды виноградников, чистые белые домики вдали с красными крышами — другой мир, мираж Европы. Я слышу,

полковник спрашивает у солдата-кондуктора: "Это как называется?"

– Дойран, – отвечает солдат.

Так я в первый раз столкнулся с тем отношением к еврейской работе, которое в штабе Алленби стало законом. "Дойран"? Ведь это наша колония Реховот; "Дойран" называется крохотная арабская деревушка, которую среди песков даже отличить трудно. Но так постановил Алленби: Петах-Тиква называется Мулебис, Беер-Яков – Бир-Салем. Единственное исключение – Ришон так и остался "Ришон": тамошнее вино у англичан было очень популярно, и вышло бы не дипломатично и обидно для трезвенника-пророка окрестить мусульманским именем бутылку коньяку.

В Беер-Якове мы сошли. Недалеко от колонии, вокруг двух довольно крупных домиков, принадлежавших немецкому поселенцу, раскинулся городок из палаток и бараков – "Джи-Эйч-Кью", штаб-квартира ген. Алленби. Тут мы с полковником расстались: он пошел на свидание к верховному главнокомандующему, я уехал на грузовике в Тель-Авив. Вечером того же дня мы снова встретились в одной из столовых при ставке главнокомандующего и рассказали друг другу свои впечатления. Мои были отрадные; его – совсем напротив. Дело в том, что я был в доме у бедной невесты, которая ждала к себе возлюбленного и еще верила, что и он в нее влюблен; но Патерсон побывал в чертогах у богатых родителей жениха...

В Яффе и Тель-Авиве я застал и большую подавленность, и великое воодушевление... Теперь говорят в обратном порядке: Тель-Авив и Яффа; но тогда в еврейском пригороде было всего тысячи три жителей; это был даже не пригород, а просто гимназия с несколькими десятками чистеньких домиков вокруг, европейский поселок для интеллигенции. Недалеко от города повстречался мне мальчик лет десяти; я его посадил в свой грузовик, а он зато обещал показать мне дорогу к старым друзьям моим

И. А. Берлину и (ныне покойному) Б. Б. Яффе. По пути мальчик рассказал мне все новости: едет на английских судах еврейская армия, сорок тысяч человек, во главе ее стоит генерал Джеймс Ротшильд, сын барона Эдмонда из Парижа. Не хотелось его огорчать: я промолчал. Друзьям в Тель-Авиве пришлось, конечно, рассказать, сколько нас, и, хотя их ожидания были много скромнее, чем у того мальчика, я не мог не заметить разочарования.

Но молодежи тамошней было не до нашего полка и его размеров: они полны были собою, своим собственным "Гитнадвут" (волонтерское движение). Во главе дела стоял М. Смелянский, человек уже лет за сорок, недурной беллетрист и один из видных садовладельцев колонии Реховот. За ним послали, и он скоро прибыл с группой реховотских рабочих: все волонтеры. В Яффе и Тель-Авиве почти все добровольцы были тоже из рабочих; меньшинство составляли воспитанники гимназии, но и они примыкали духовно к рабочему крылу. Теперь это все видные люди в рабочей организации Палестины. Был там Б. Кацнельсон, ныне редактор газеты "Давар"; был Явнээли, вывезший когда-то из южной Аравии первую большую группу евреев-йеменитов; был Дов Гоз, теперь глава рабочего строительного общества Солел-Бонэ... чуть ли не вся нынешняя аристократия партии Ахдут-ха-Авода (тогда еще называвшейся Поалей-Цион) стояла во главе военного добровольчества. Зато противниками "Гитнадвут" были главари второй рабочей партии, Гапоэль-Гацаир; но и у них нашелся еретик, по имени Свердлов, совратил в "милитаризм" довольно большую группу и вместе с нею записался в "полк".

"Записаны" они были пока только в своих собственных списках: начальство их не желало. Еще в январе они подали в штаб петицию за сотнями подписей, но ответа не получили. Они, однако, были убеждены, что теперь, когда прибыл уже и наш батальон, они своего добьются.

– Сколько вас?

– Тысячи полторы. Треть – девушки: они думают об особом отряде при красном кресте, а некоторые, впрочем, рвутся и в амазонки...

На большом дворе девичьей школы в Яффе созвали "парад". Инструктором их был Гоз, еще недавно офицер турецкой армии. С первого взгляда было ясно, что материал это первоклассный, все тонкие, ловкие, напряженные, хоть и со впалыми щеками от долгой турецкой голодовки.

В этом и заключались мои добрые вести, привезенные полковнику. Его рассказ зато звучал гораздо печальнее.

Ген. Алленби отнесся к нам очень холодно – и к лондонскому батальону, и к местным добровольцам. Он от Китченера унаследовал отвращение к "экзотическим" контингентам. Что именно сказал он Патерсону, я до сих пор точно не знаю: полковник, видно, не хотел меня огорчать подробной передачей, и в книге его тоже нет подробностей этой беседы. На одно только Патерсон очень напирал: не столько враждебен Алленби, сколько начальник его штаба, некий генерал Луис Больс. Это был тот самый Больс, который, спустя два года, уже будучи верховным администратором Палестины, допустил первый трехдневный погром в Иерусалиме и отдал под суд самооборону.

Долго, уныло и молча, шагали мы оба по пыльной дороге между пыльными кактусами. Теперь, оглядываясь назад, я вижу пророческий характер этого эпизода, нечто вроде введения ко всему периоду военного управления Палестиной, а может быть и гражданского. С одной стороны – воодушевление, надежды, готовность на все жертвы, нетерпение бороться и творить; с другой – холодные, скептические глаза со взором чужим и подозрительным, со враждебным "отталкиванием" по отношению ко всему необычному, небанальному, невчерашнему, ко всему, что пахнет "экзотикой", например сионизм.

Но душа Патерсона, как решето не держит воды, не держит уныния. Он вдруг рассмеялся и сказал:

— Пустяки. Мы с вами и похуже видали, а справились. Я уверен, что главнокомандующий передумает.

Патерсон оказался прав, даже слишком прав. Не раз, а десять раз еще "передумал" генерал Алленби и касательно легиона, и касательно всей сионистской проблемы. Через несколько недель он разрешил набор палестинских добровольцев; потом опять затянул дело на долгие месяцы; потом пришел в восторг и обещал образовать "еврейскую бригаду" с Патерсоном в качестве генерала во главе; потом не сдержал и этого слова, хотя сам его написал черным на белом.

Удивительная это вещь, но совсем не редкая: именно люди с репутацией "железной воли" часто на самом деле тряпичнее былинки под ветром. Алленби, конечно, большой солдат. Но за что его приписали к большим государственным деятелям, это для меня по сей день загадка. Никто так не напортил Англии в Египте, как он потом за годы своего обер-комиссарства; о Палестине под его управлением и говорить не хочется. Я думаю, что в качестве исполнителя он, действительно, крупная сила; но это именно "исполнитель" чужих советов, а не направляющая рука. Хороший автомобиль, на котором кто угодно — если вкрадчив и удачлив — может ехать куда угодно. Я таких людей много знаю, в разных углах быта, и всегда их боюсь. Это опасная комбинация — человек, к которому прилипла репутация упорства и непреклонности ("вол вассанский", прозвали его льстецы из библейских начетчиков при штабе), между тем как сам он в сущности почти никогда не знает, в чем ему упорствовать и непреклонничать, и вынужден запрашивать об этом у советчиков. Опасно здесь то, что такой человек уже невольно дорожит своей "железной" легендой, а потому принимает только те советы, которые дают ему случай лишний раз про-

явить "железные качества". Тут раздолье именно таким советчикам, что умеют нашептывать против всего "сентиментального", "мягкотелого", против "идеологии", как выразился бы Наполеон. Сам по себе Алленби, вероятно, не враг ни евреям, ни сионизму – вообще вряд ли есть у него свой взгляд на такие проблемы; и теперь, когда он не у дел и советчики перестали вокруг него увиваться, он, говорят, очень сочувственно к нам относится; но в те годы эта черта его помогла отравить и штаб, и армию, и всю правительственную машину таким озлобленным юдофобством, какого я и в старой России не помню.

ГЛАВА X

ПРАЗДНИК ЕВРЕЙСКОЙ ПАЛЕСТИНЫ

Как только мы вернулись в Хельмию, полк. Патерсон учредил специальную "команду вербовщиков"; В нее вошли унтер-офицеры и солдаты, знавшие по-еврейски: во главе он поставил лейтенанта Липси и приказал ему; "Через месяц вы должны говорить по-ихнему, как сам пророк Исайя". Липси происходил из религиозной семьи в Глазго и молитвы знал наизусть. Наш падре утверждал, что этого совершенно достаточно, что он берется доказать кому угодно всю важность службы в легионе при помощи тех исключительно слов, какие имеются в молитве "восемнадцати благословений". Тем не менее Липси пришлось заучить еще, по крайней мере, ту терминологию строевой команды, которую выработал наш "16-й взвод" во время прогулок в окрестностях Винчестера. Правда, согласия штаба на набор в Палестине пока еще не было, но Патерсон считал, что будет. По его мнению, "если Господь Саваоф, Бог Воинств, даже фельдмаршала Китченера не послушался, то уж он и простого генерала не послушается".

Незадолго перед Пасхой прибыл второй наш батальон, официально "39-й", с полк. Марголиным во главе; половина его состава были американцы. Еще через неделю прибыла "сионистская комиссия" с Х. Е. Вейцманом во главе; кап. Ормсби-Гор состоял при ней в качестве officier de liaison между комиссией и ставкой. К составу комиссии принадлежал также Джеймс Ротшильд, уже в чине майора, и в то же время он числился офицером в батальоне Марголина.

Все это заставило советников ген. Алленби, наконец, догадаться, что лондонское правительство действитетльно заупрямилось и настаивает не только на сионизме, но притом еще на легионе.

Тем не менее, "Гитнадвут" еще надолго осталось движением опальным и потому "опасным". Нашлись добрые друзья из окружения ставки, которые дружески советовали сионистской комиссии держаться подальше от этого шума. У нас, как известно, советы такого рода всегда охотно принимаются. Чем больше в совете робости, тем больше мы в нем видим государственной мудрости, хотя бы мы при этом рисковали повредить важному и полезному делу.

Был такой день, когда я действительно боялся, не повредит ли государственная осторожность моих милых друзей из палестинской комиссии всему делу "Гитнадвут". Смелянский созвал у себя в Реховоте массовый съезд всех волонтеров. Собралось до тысячи человек, из Яффы, из колоний, даже из Иерусалима, по большей части пешком, потому что на проезд по железной дороге нужно было разрешение, а извозчик дорого стоил. Говорю "извозчик", так как автомобилей в Святой земле, кроме военных, еще не было; первый "штатский" автомобиль привезла с собой сионистская комиссия, и старожилы качали головой, не одобряя такой роскоши. А пешком из Иерусалима значило два дня пути по апрельской жаре.

Комитет волонтеров пригласил на съезд всю сионистскую комиссию — никто не явился. Я, признаюсь, растерялся. Патерсон, конечно, не побоялся бы приехать, несмотря на то, что Реховот — в двух шагах от штаб-квартиры сердитого генерала Больса; но Патерсон был в Египте. В полной растерянности я бросился во встречный автомобиль и уехал в ставку, прямо к ген. Клейтону, тому самому, который впоследствии был статс-секретарем во время комиссарства Герберта Сэмюэла. Я попросил его

послать в Реховот какого-нибудь офицера чином повыше или хоть написать ободрительное письмо.

Он развел руками беспомощно:

– Не могу. Скажите им устно, что они молодцы и что я надеюсь...

С этим слабым утешением мне и пришлось поехать в Реховот.

Но там оказалось, что съезду никаких внешних ободрений и не нужно: в них самих достаточно было электричества. С громовыми овациями самим себе они снова подтвердили свою волю биться за Палестину. Было даже внесено предложение: тут же выстроиться в колонну и отправиться в Беер-Яков на личные переговоры с Алленби. Едва мне удалось их отговорить: это с моей стороны было весьма мудро и острожно, и по сегодняшний день я об этом жалею; уверен теперь, что поход на ставку увенчался бы успехом и ускорил бы начало набора на несколько месяцев.

Тем не менее съезд и без того "передался" в штаб-квартиру. Перед самым зданием, где происходило сборище, стояла палатка офицера осведомительной службы; это был капитан, имени которого я так и не узнал. После собрания он меня вызвал к себе в палатку.

– Что это такое?

– Еврейские волонтеры. Ген. Клейтон передал мне для них приветствие.

– Странные люди, – сказал он, – рвутся в армию... здорово живешь, когда их никто не тащит. И еще на четвертый год войны, когда всем нам она давно надоела. Сколько их? Целый час они тут маршировали мимо моей палатки. Тысячи две, или больше?

– Ммм... – ответил я "осторожно", – не успел сосчитать; но много.

– Приличные молодые люди, – сказал он, – и маршируют в ногу. Придется послать доклад.

Так и "дошли" они до ставки, хотя только на бумаге.

* * *

В конце концов набор был объявлен, и даже противники признавали, что такого подъема Палестина не знала ни до того, ни после. Но мне его почти не удалось видеть. В начале июня мой батальон уже был на фронте, в горах Ефремовых, на полдороге между Иерусалимом и древним Сихемом, который арабы называют Наблус. Меня оттуда вызвали на два–три дня в Иерусалим, произносить какие-то речи, явно никому не нужные; и там я увидел малый уголок этого, действительно, незабываемого зрелища. Там ко мне приходили старые и молодые матери, сефардки и ашкеназийки жаловаться, что медицинская комиссия "осрамила", т. е. забраковала их сыновей. Лейтмотив этих жалоб звучал так: "Стыдно глаза на улице показать". Больной еврей, по виду родной дед Мафусаила, пришел протестовать, что ему не дали одурачить доктора: он сказал, что ему 40 лет – "но врач оказался антисемитом". С аналогичными жалобами приходили мальчики явно пятнадцатилетние. Скептики шептали мне на ухо, что многих гонит нужда; может быть, – но они все помнили битву под Газой и знали, на что идут. А мне говорили, что иерусалимская картина еще была ничто в сравнении с тем "коллективным помешательством", которое охватило в те дни Яффу и колонии, особенно рабочую молодежь.

Майор Ротшильд, заведовавший вербовкой, предложил мне на обратном пути сделать крюк и заехать в Яффу. Там я снова увидел своих друзей из Реховота, но теперь они глядели победителями. Тут были: Смелянский с молодежью из колоний, Гоз и Кацнельсон с чуть ли не полным составом партии Поалей-Цион, Свердлов с еретиками из второй рабочей партии, Явнэли со своими йеменитами, был тут молодой Бейлис, сын героя знаменитого процесса;

был юный Узиэль, сын раввина сефардской общины, с эффектной группой сефардской молодежи. Вперемежку с ними бродили по Яффе члены нашей команды вербовщиков, еще более старые друзья, проведшие с нами самые горькие дни одиночества и разочарований: инженер Аршавский с нашивками капрала, Гарри Фирст в одежде рядового; и, наконец, самые "старые" изо всех, товарищи мои по Габбари и Трумпельдора по Галлиполи: сержант Нисель Розенберг, волжские "геры", грузинские "швили"... Все они собрались во дворе женской школы. Вокруг была вся Яффа с Тель-Авивом, стар и млад, все разодетые в свои убогие праздничные наряды, девушки с цветами в волосах, многие с флажками; офицеры английские, офицеры итальянские из отряда, стоявшего в Тель-Авиве, и зрители-арабы, очевидно в таком же хорошем настроении, как и мы.

Перед этими столпами "Гитнадвут" я произнес нравоучительную проповедь, которая, может быть, оказалась не столь ненужной, как иерусалимские речи:

– Друзья, учить вас храбрости незачем. Но не это главное. В жизни солдата страшнее всего не опасность, а две другие стороны армейской жизни: скука и грубость. С опасностью встречаешься раз в месяц; но в промежутке между двумя атаками нужно несколько недель просидеть в траншеях или в тылу, проделывая нудные, надоевшие поденные работы, в которых нет ни соли ни перцу, и при этом сержант, хотя бы из вашей собственной среды, будет еще обзывать вас bloody fools или эквивалентом этого титула по-еврейски. Научитесь и это выносить. Лучший солдат не тот, кто лучше стреляет – лучший тот, кто больше в силах вынести... Более того: когда английский унтер ругается, не считайте его хамом. Англичане сегодня наши партнеры в войне, в деле, которое они называют "игра". Для нас это не игра, у нас философия жизни другая, но и в их философии есть своя красота. В игре человек всегда

и честнее, и терпеливее, чем в жизни. Купец может обсчитать покупателя и глазом не моргнет – но за картами он счел бы позором передернуть, ибо если не в жизни, то хоть в игре хочется человеку прожить час без страха и упрека. Помните, в детстве мы играли "на щелчок по носу": кто проиграл, принимал покорно свой щелчок – но попробовал бы тот же мальчик щелкнуть вас по носу в действительной жизни! Так смотрит на жизнь англичанин: все в ней игра, а война в особенности. Капрал ругается? Да ведь это просто щелчок по носу, это в правилах игры, сердиться не полагается. Грязно в траншее? Это просто плохая карта попалась в игре, потерпи до следующей раздачи. Пуля, граната, рана и смерть – все это части игры. Вообще я в их философию мало верю, но для войны она хороша. Играйте по правилам, не считая ни щелчков, ни битых карт...

Перед отъездом я встретил в Тель-Авиве Х. Е. Вейцмана. Он был наполовину в восторге, а наполовину зол:

– Вы начисто подмели всю страну, – говорил он Джеймсу Ротшильду, – откуда брать нам теперь рабочих, учителей, служащих?

Потом, однако, перед отъездом волонтеров в лагерь на учение, он им на торжественном параде передал еврейское знамя и произнес, глубоко взволнованный, слова красивые и трогательные: поблагодарил их от всего народа за грандиозную манифестацию, которая поможет укрепить наши права на Палестину, и пожелал им успеха и победы.

Я этого уже не видел и не слышал, только прочел в письме в наших траншеях на горе Ефремовой.

* * *

Одна часть волонтерского движения осталась исключенной из общей радости: девушки. Говорить с

англичанами об "амазонках" было бы, конечно, совсем напрасно, да и сами они всерьез об этом не думали; но на образование "красного Щита Давидова" они надеялись крепко.

Добились мы и этого, но уже много позже, и в очень малых размерах. Маленькая группа сестер была в конце концов принята на военно-медицинскую службу; должен признать, что отбор девушек, имевших нужную подготовку, происходил в моем присутствии, и только эти немногие и оказались подготовленными. Тем не менее, группа получила официальное звание "Red Magen-David" и особый значок; и служили они в том госпитале, куда главным образом и попадали наши солдаты после перемирия. Госпиталь находился на железнодорожной станции Била, у самой египетской границы, а в получасе езды оттуда была Рафа, где почти всегда стоял какой-либо из трех еврейских батальонов.

Сестры они были хорошие; но не этим одним я считаю себя в праве похвастаться. В нашем народе еще застряло, к сожалению, несколько восточных предрассудков, и потому я немного боюсь, что иной из читателей найдет неуместным эпизод, который я сейчас расскажу. Я, однако, его расскажу, так как твердо считаю "Восток" – в духовном или бытовом смысле – самым обидным из бранных слов и думаю, что еврей – древнейший из европейцев. А одно из отличий европейской культуры – умение гордиться привлекательностью своих женщин. Помню что во время первых съездов Лиги наций в Женеве вся печать говорила об умном трюке англичан: их делегация привезла с собою в Женеву, как на подбор, все очень миловидных машинисток. В самой Англии красивых девушек совсем не так много: тут был именно подбор, и совершенно правильно, ибо это и есть кусок национальной гордости.

Эпизод произошел в упомянутой Рафе. Неподалеку от нашего лагеря во время перемирия устроены были скачки: там рядом с нами стояла кавалерия

"Анзаков" (инициалы австралийских и новозеландских войск). Наш батальон был приглашен, и Патерсон привез с собою двух из наших сестер, которые были в тот день свободны от дежурства. Анзаки , со своей стороны, пригласили своих дам, все из того же госпиталя: большинство из них были очень элегантны в своем форменном платье, много было недурных собою, и почти все, кажется, "из хорошего общества". Но в перерыве между началом и концом скачек именно вокруг наших двух сестер собралась самая большая толпа: тут был и начальник Анзаков ген. Чейтор, и его штаб с полковниками, майорами и капитанами, человек двадцать, если не больше. Наших офицеров они совсем оттеснили (за исключением Патерсона, который считает, что ирландца от молодых дам нельзя оттеснить), и почти все время перерыва шла там перестрелка остроумия, смеха и комплиментов. Я был очень рад — издали, потому что и меня оттеснили.

* * *

Но уж это все было в дни перемирия, а пока речь идет о последних месяцах войны. Весело тогда было в Палестине, весело несмотря ни на что.

Еврейское население только что пережило несколько страшных лет. До войны в Иерусалиме считалось 60 тысяч евреев: теперь осталось около двадцати двух тысяч; уехать удалось лишь немногим, остальные вымерли от голода и болезней. До сих пор (говорю о весне 1918 г.) нищета в Иерусалиме чувствовалась на каждом шагу. Дети подбегали на улице и просили: "Не давайте мне денег, купите мне хлеба"... В прежние времена только у Стены Плача можно было встретить еврейских нищих, и то стариков; даже "халуканцы", жившие заграничной милостыней, держали своих мальчиков с утра до ночи в школе, а девочек дома. Но теперь дети были на

улице – и, говорят, не только за подаянием...

Но и другая, еще горшая трагедия пронеслась, едва за год до того, над палестинскими евреями. Они ее называли "риггуль" – по-еврейски это значит шпионаж. Сильный, даровитый и большой человек – большой и в талантах, и в пороках – вывязал, под самым носом у Джемаля-паши и его турецкого и немецкого штаба, тайную сеть для помощи английской разведке. Он устроил правильную связь между своим центром в Палестине и ставкой Алленби в Каире; несколько раз агенты его перебирались туда и обратно в подводных лодках англичан. Англичане считают, что эта организация им значительно помогла; но евреи по сей день говорят о ней с ужасом и отвращением. Кто прав и неправ, не наше дело. Среди лиц, замешанных в это дело, бесспорно были фигуры значительного размаха, готовые рисковать чем угодно вплоть до последней жертвы; еще найдется когда-нибудь поэт и зарисует эти образы, их грехи и героизм, их легкомыслие и отвагу. Но еврейское население дорого за все это заплатило.

От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи...

Сарру Аронсон два дня пытали турки в колонии Зихрон-Яков, били бамбуками по пяткам, клали горячие яйца подмышки; на третий день она улучила миг и застрелилась, не назвав ни одного имени. Трех ее товарищей повесили на площади в Дамаске. Другим выламывали пальцы, выворачивали руки. Страшное было время.

И вдруг, 2-го ноября 1917-го года, прогремел под Газой первый пушечный выстрел нового наступления, и в несколько недель освободился весь юг и вся Иудея, от Иерихона до Петах-Тихвы и Яффы. И тогда евреям рассказали, что в тот самый день 2-го

ноября раздался и в Лондоне другой выстрел, направленный против древней твердыни Изгнания, – Декларация Бальфура; и что "еврейская армия", о которой у них давно шептались, уже в пути, идет освобождать Самарию, Галилею, Заиорданье – времена мессианские настали!

Жителю многолюдных городов трудно будет понять, как воспринял это крохотный народ еврейской Палестины. Всего их было тысяч пятьдесят. Когда вдруг повеет великий дух над малой общиной, получаются иногда последствия, недалекие от чуда; в этом, может быть, разгадка тайны Афин и того непостижимого столетия, которое породило и Перикла, и Сократа, и Софокла – в городишке с тридцатью тысячами свободных граждан. Я, конечно, не приравниваю ни талантов, ни значения; но по сумме чистого идеализма Палестина в те дни могла поспорить с каким угодно примером. В конце концов, там сосредоточился отбор из двух эпох сионистского движения, до Герцля и после Герцля; там по улицам часто проходили скромные, мешковато одетые люди, именами которых, когда они умрут, потомство назовет эти самые улицы. Они пережили насмешку, равнодушие, сто неудач, пытку и голод – и теперь у них на глазах совершались первые шаги осуществления древнейшего из пророчеств. Может быть, я преувеличиваю; но мне кажется, что история мало знает других страниц, где бы так тесно переплелись, и в такой неслыханной мере, такая древняя древность, такое величие воспоминаний, такая глубина падения и горя, такой полет надежды. Может быть, то же было в Греции, сто лет назад, во время освобождения; а может быть и там было не так.

Притом сильно чувствовалось, в конце концов, захолустье, где каждый каждого знает, и всякая мелочь кажется событием; но это, право, не вредило торжественности общего настроения. Мне это, по крайней мере, было мило. Вся "знать" Иерусалима и Тель-Авива и колоний волновалась о том, удастся

ли уютно расселить членов "сионистской комиссии". На автомобиль этой комиссии приходили смотреть из Экрона, Гедеры и Артуфа, за десятки верст.

Потом прибыла из Нью-Йорка первая партия "Гадассы" с д-ром И. М. Рубиновым во главе, около тридцати врачей и сестер и пуды всяких лекарств и целый парк автомобилей, и подо всем ясный намек на те миллионы и миллиарды, которые вот-вот поплывут из этой Америки на строение Еврейского Государства...

Точно так же преувеличивали они и "опасности". Девушки ходят гулять с австралийскими солдатами: не грозит ли это порчей нравов? Несколько предприимчивых бедняков открыли лавчонки и продают англичанам "кекс": что ж это такое, неужели Палестина становится страной рестораторов? Не хотим второй Швейцарии! В обиходе появилось слово "олрайт": берегите национальный язык – идет ассимиляция!

Право, все это не портило впечатления красивой, наивной радости. Я недолго с ними прожил, больше все налетами, по пути из Египта в штаб или с фронта в Каир; но никогда в жизни еще не доводилось мне так надышаться воздухом чистого детского счастья.

...Это все было весною. А в октябре, когда мы вернулись из Заиорданья, после победы союзников на всех фронтах, уже все было по-иному.

ГЛАВА XI

ПЕРВЫЙ ФРОНТ

Собственно воинская история наших батальонов распадается на три части: лето на сихемском фронте, наступление в Иорданской долине, перемирие.

Первый период прошел относительно спокойно. После тяжелых боев последней зимы, когда турки были вытеснены из южной Палестины, обе стороны порешили отдохнуть. Турки в особенности отказались от всякой инициативы: стычки, какие были, происходили всегда по почину англичан, и то редко.

Большинство из молодых моих читателей, вероятно, сами были на фронте; но, может быть, обстановка горной войны им не так знакома. Фронт наш лежал, как уже сказано, на полдороге по прямой линии между Иерусалимом и Наблусом, он же по-нашему Сихем. Когда едешь автомобилем из Иерусалима в Сихем, проезжаешь сначала мимо деревни Эль-Бирэ: это – древняя Беерот-Беньямин (Самуила II, гл. 4-ая, 2 и дальше). После того, глубоко в долине, лежит село Айн-Синия: во второй книге Второзакония (гл. 13-ая, 29) она называется Иешана. За Иешаной надо было свернуть с шоссе налево и выехать в узкую долину, которую арабы называют Уади-эд-Джиб. Здесь, между двумя безлюдными арабскими деревнями, и находились наши линии. Деревни назывались: слева – Абуэйн, а справа – Джильджилия; вторая, кажется, и есть тот "Галгал разноплеменный", о котором упоминается где-то в книге Судей.

Представьте себе длинный горный хребет высотою

приблизительно в 2500 футов, тянущийся с запада на восток. С севера лежит глубокая, тоже продольная долина, а по ту сторону долины – вторая параллельная цепь гор, еще выше первой. Наш лагерь был на первом хребте, турецкий – на втором; от верхушки до верхушки версты три. Оба лагеря, конечно, не на вершинах, а футов на сто ниже, на том склоне, которого противник не видит. Днем на вершину запрещено выходить; часовые сидели в замаскированных каменных землянках, называвшихся "О-Пип" (Observation Posts). По ночам мы занимали траншеи на открытом склоне горы; траншеи были неглубокие, собственно не траншеи, а брустверы, которые у нас называли индостанским словом "сангар". Кроме того, каждую ночь высылался в долину патруль на случай неприятельской атаки.

Это было спокойное время, как будто нарочно для того, чтобы постепенно ввести свежих солдат в боевую атмосферу. По утрам турки приветствовали нас получасовой бомбардировкой; но почему-то стреляли всегда в сторону, в одинокую скалу, совершенно лысую, где не только человека, но и коршуна никто не видал; и у них на три бомбы одна не взрывалась. Помню только три или четыре раза, когда они палили в наши позиции, в том числе один раз ночью; но вреда это нам не причинило. Холмы в той местности падают не откосо, а террасами, вроде лестницы; каждая терраса – шириною в два-три метра, и склон над ней подымается отвесно, высотою с двухэтажный дом. Наши палатки стояли вплотную у самого отвеса, так что снаряды, летя по траектории, пролетали почти всегда мимо. Должно быть, и наш огонь им мало вредил.

Вообще операции на палестинском фронте относятся к категории "малой войны". Из новомодной военной чертовщины мы мало что испытали. Изредка любовались поединком в воздухе, когда два аэроплана вертелись друг против друга вокруг незримого центра, словно две каретки или лошадки на карусели,

треща пулеметами и усыпая небо клочьями белой ваты. Газовых атак у нас не было. Опасных предприятий было только два: идти ночью с патрулем или отсидеть неделю в деревне Абуэйн.

Патруль состоял из лейтенанта с двенадцатью солдатами. Тяжелые армейские сапоги надо было завернуть в толстые тряпки, чтобы не стучали, тряпками надо было закутать голые колени – летом мы носили трусики, а колючая флора той местности изумительно богата. За два часа до выхода лейтенанту вручали запечатанный конверт с подробным описанием маршрута. Иногда он сводился к прогулке по долине, но иногда вел и вверх по противной горе, подчас всего на двести футов ниже того места, где у нас на карте красным обозначены были часовые посты противника. Это была служба нелегкая. Прежде всего приходилось карабкаться в темноте вниз, тысячу футов и больше по утесам и сквозь колючие заросли, с ружьем в руке, и притом без шума. Добрый час уходил на это. После того надо было пробраться в долине версты на две вправо и столько же влево, прячась под деревьями и перешептываясь с сержантом, что это за пятно – турок или кактус. Потом наступало самое трудное: карабкаться на турецкую гору, отыскивая путь при помощи компаса или при посредстве "признаков", сообщенных осведомительным бюро в следующей форме: "направо от расколотого фигового дерева" или "в десяти шагах налево от второй лужи". Но вот мы, наконец, добрались до "камня в пятнадцать футов высотой, который с севера похож на голову гиппопотама" (кто его видел, гиппопотама, да еще так близко, чтобы узнать его профиль в темную ночь?). Тут вы отдыхаете и раздаете солдатам по кусочку шоколада. Потом назад, еще два часа ползком или карабкаясь, причем уже все устали. Это, пожалуй, самая неприятная часть патрульного дела. Вы в ста метрах от турецких траншей – а ничего не поделаешь, из-под усталых ног сыплются камни. Вдруг раздается выст-

рел, и что-то шлепается о скалы недалеко от вашего последнего солдата (идти приказано гуськом; устав требует, чтобы офицер шел посередине, но шик требует, чтобы он шел впереди). Вы "кричите" шепотом: ложись! Патруль ложится. Едва в трехстах шагах подальше, вверх по склону горы, вспыхивает искорка, подымается вверх и там становится красной ракетой и заливает светом всю вашу часть долины, заросли, сухое русло зимнего ручья, скалы, провалы – очень эффектно, если бы было до того; но отличить людей от кактусов при этом освещении трудно: сверху раздается еще несколько выстрелов, но стреляют они мимо. Тут за нас начинают заступаться: из Абуэйна, из Джильджилии, изо всех "сангаров" на нашем склоне подымается ружейный, иногда пулеметный концерт (они знают, где мы, и в нашу часть долины не стреляют). Иногда в этот домашний спор вмешивается и начальство, английская артиллерия. С жутким гулом альпийского поезда в темную ночь, когда путнику из долины виден только светящийся хвост его, едет величественно наперерез по небу над вашими головами огневая комета и разрывается на турецкой горе, потом другая – и хоть вы догадываетесь, что это все по расписанию, но солдатам говорите, что это все для нас. Грохот продолжается полчаса; потом становится тихо, вы ползете дальше и добираетесь до лагеря, где ждут вас с огромным кипящим чайником сладкого чаю.

Второе опасное место был Абуэйн. Село это принадлежало к нашим линиям только потому, что не принадлежало к турецким. Но на самом деле находилось оно в ничьей полосе – "No Man's Land". Если спуститься с нашей вершины в сторону турок, вы наткнетесь, футах в трехстах ниже, на выступ той же горы вроде огромной террасы или, вернее, громадного стола, и на этом столе арабы выстроили деревню, около полусотни хат. Абуэйн значит по-арабски "два отца"; может быть, два патриарха, –

насколько знаю, деревня эта не упомянута ни в Библии, ни в Талмуде. Но это была, очевидно, не бедная деревня, судя даже по развалинам, которые от нее остались. Каждую неделю ее занимал другой взвод и оставался там семь дней. Днем сообщение между этим взводом и остальным батальоном было возможно только по телефону, по которому из десяти слов едва доходило до вас одно. Через эту тонкую нить цивилизации мы заказывали из Абуэйна в батальон все, что нужно было: спички, табак, хинин, бинты, амуницию, почтовую бумагу; и по ночам приходила с горы партия солдат с шестью белыми осликами и привозили ваш заказ (т.е. в той форме, в какой понял его батальонный телефонист) и цинковый ящик с дезинфецированной водой.

У меня дома осталось несколько писем моих из Абуэйна; привожу отрывки:

"...Вероятно, у каждого бывают в детстве те же две мечты. Первая – стать хоть на неделю царем или по крайней мере губернатором. Вторая – не смею сказать пожить в гареме, но хоть посмотреть изнутри на подлинный гарем. У меня сбылись обе мечты. На целую неделю я назначен самодержцем этой деревни, могу повелеть и запретить, что мне угодно, могу даже разрушить все село (только на восьмой день за это потащат на военный суд); а живу я в самом настоящем гареме, где окна забиты ажурными деревянными ставнями. Несколько портит мою радость то обстоятельство, что в гареме нет ни одной из его законных обитательниц, а во всей моей сатрапии ни одного штатского подданного – все население состоит из солдат моего взвода; тем не менее приятно отметить, что и мечты иногда сбываются".

"...По-настоящему живем мы тут только ночью. Едва стемнеет, мы расставляем стражу в трех пунктах, с которых видны разные части долины; при этом четверть часа приходится читать нотацию горячему капралу Саломону, начальнику поста № 2, что

если он опять услышит шум внизу, то не надо сразу палить из пулемета, а надо раньше выяснить, не есть ли это наш собственный патруль на пути домой. После этого начинается, как выражаются интеллигенты из наших солдат, "строительство Палестины". Полковник распорядился починить проволочные заграждения, поврежденные турецкими снарядами, а также подвести на аршин выше каменный забор, за которым днем прячутся наши солдаты, когда идут из казармы, т. е. из других комнат моего гарема, в обсервационный пункт. Я созываю тех из солдат, что свободны от стражи и от малярии, и вместе мы всю ночь напролет "строим Палестину" в арабской деревне".

"...Ура! Мы победили малярию. Когда я в прошлый раз писал, что в моем царстве нет населения, я имел в виду только население двуногое. Зато осталось шестиногое: в миллиардах! В жизни я не воображал, что на свете есть столько комаров. Еще до захода солнца мы обвязываем тряпками голые колени, а в лицо, руки и шею втираем какую-то мазь; но комарам именно эта мазь, по-видимому, и нравится, и они работают с таким энтузиазмом, что руки устают чесаться. Результат: на второе же утро два случая малярии. Я устроил военный совет со своим сержантом (он живет тоже в моем гареме), и мы решили и эту часть населения эвакуировать. Мы по телефону "заказали" в батальоне две жестянки керосину, а капрала Стукалина (это – один из лучших наших "героев") и капрала Израэля (он только что вернулся, отсидев две недели за избиение военного полицейского в пивной) отправили обыскать деревню и найти комариные гнезда, т. е. стоячую воду. При всем уважении к нашим "портным", которых я все больше начинаю ценить, такое ответственное дело я все же не решился поручить никому другому, как только бывшим галлиполийцам. К вечеру они вернулись, запыленные и замурзанные до самых глаз (обыск они делали ползком), и доставили

три адреса: одна лужа, один колодезь и одна разрушенная баня. Ночью пришли милые белые ослики и принесли жестянки: слава Богу, телефон на этот раз не подвел. С великим церемониалом мы щедро полили все три неприятельские позиции керосином, а колодезь еще впридачу завалили камнями, причем неприятель ответил такой контратакой, что я еще весь искусан, а ведь уже прошло три дня. Зато сегодня к вечеру у нас комаров осталось не больше одного взвода, да и те летают поодиночке, уныло, почти без песен и не проявляют аппетита не только к нашей крови, но даже к той мази".

"...А портных наших я ценю с каждым днем все больше. Вот один эпизод. Колонисты Ришона прислали нам гостинцев: виноград, фиги, штрудель с миндалем – я подозреваю, что было и вино, но ирландский элемент на верхах батальона, должно быть, решил, что это было бы нездорово для жителей "ничьей полосы"... Около второго часа пополудни, когда взвод выспался, сержант роздал им эту роскошь. Живем мы все в одном доме: я с сержантом в верхнем этаже, солдаты – внизу в трех больших комнатах, выходящих на двор. Туркам видна только наша крыша, так что солдаты день проводят во дворе. Играют обычно в карты: хочу надеятся, что не на деньги, – это запрещено. На этот раз они тоже расселись по углам двора, с виноградом, штруделем и засаленными колодами, как вдруг турки начали пушечную симфонию. Хоть это редко случается днем, но мы привыкли; да и стреляют они всегда куда-то вбок. Я продолжал читать, солдаты играли и беседовали – но через пять минут вошел ко мне сержант и сказал:

– Сэр, это звучит как-то иначе – боюсь, они нащупывают нас.

В самом деле, следующий снаряд разорвался почти в самой деревне. Я высунулся в окно и закричал солдатам: "По комнатам – живо!" Они послушались, хотя совсем не "живо" – очень уж душно в этих

арабских пещерах.

Мы ждем. Через каждые пять минут – снаряд, то справа от деревни, то слева. "Наводчики у них неважные", – говорит сержант; он все еще стоит у окна. Вдруг он улыбается и делает мне знак. Я подхожу, выглядываю во двор: четверо из наших лондонцев опять сидят под открытым небом, едят штрудель и тасуют карты; они только выбрали угол, где из моего окна их не сразу заметишь, и говорили шепотом. Один поднял голову и сказал на идиш: "офицер". И как раз в эту секунду разрывается граната, теперь уже явно у нас в деревне, не дальше ста шагов от нас. Трое из них подымают головы, но не трогаются с места; но четвертый даже не оглядывается, бьет с размаху какую-то карту и говорит тем специальным тоном, которым "приговаривают" увлеченные игроки: "Hob ich ihm in dr'erd".

Это могло относиться и к "офицеру", но я предпочитаю думать, что относилось к снаряду.

Я их, конечно, опять разогнал".

ГЛАВА XII

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СОДОМА И ГОМОРРЫ

В середине августа 1918 года, после двухнедельного отдыха в горах Самарии, нас отправили на иорданский фронт. Там мы провели около пяти недель, а потом началось наступление — еще две недели похода и огня. Огонь был двух родов: боевой, не Бог весть какой свирепый, и солнечный, совершенно невыносимый в этой местности, самой раскаленной дыре на всем Средиземном побережьи.

Нижняя часть Иорданской долины, близ Иерихона и Мертвого моря, считается, если не ошибаюсь, наиболее глубоким местом на мировой суше: около 400 метров ниже уровня океана. Вообще климат Палестины — "подтропический", вроде южной Италии; в горах, особенно в Иерусалиме и Сафеде, зимою даже холодно; иерусалимский снег 1920-го года лежал такими сугробами, каких я и в Петербурге не видел. Но климат низовья иорданской долины — даже не тропический, а экваториальный. В те самые снежные дни Иерусалима в Иерихоне цвели розы — а от Иерусалима до Иерихона всего час на автомобиле.

Летом это седьмой круг ада; описывать его незачем, достаточно сослаться на Данта. "Вся площадь была сплошной песок, сухой и густой; и на него медленно падали пушистые хлопья огня, словно снег в Альпах в безветренный день; и от них загорался песок, точно трут от кремневой искры". Гениальный предтеча репортерского цеха пытался в этой обстановке интервьюировать одного из тамошних обита-

телей, но не добился от упрямца никакого ответа, кроме ругательств по адресу Юпитера. Я того нечестивца понимаю. С конца июля до конца сентября даже бедуины уходят из этой части Иорданского провала: как раз те месяцы, которые нам пришлось провести на соленой речке Меллахе, верстах в пятнадцати от Мертвого моря, если угодно, в двух шагах от Содома и Гоморры.

Хороша вся эта область, но худшее место в ней — наша Меллаха. Это узкая ложбина, около пятнадцати верст в длину, приблизительно с севера на юг. Почти нигде ни кустика; почва белесая, горько-соленая на вкус; может быть, тут когда-нибудь откроются великие богатства для химика. Посредине течет соленый ручей: два шага в ширину — мало, но вполне достаточно для того, чтобы отравить всю ложбину самой ядовитой малярией.

Кто охоч до красоты трагической, красоты разрушения и вечной смерти, тому есть тут чем налюбоваться досыта. Те же серовато-белые холмы со всех сторон; состава почвы я не знаю, но при виде их невольно приходят в голову аптекарские слова: хлор, щелок, селитра; или еще вспоминается жена библейского Лота и нерукотворный памятник ее где-то по ту сторону Мертвого моря. Если взобраться на эти холмы и обернуться на юго-запад, развертывается сцена первозданных катастроф земной коры: яростно-исковерканные, словно палачом выкрученные утесы — и желтая оголтелая степь без травы, где гонятся друг за дружкой поминутные смерчи из песка и пыли, вышиною с пол-Эйфелевой башни.

Тут и стояли наши палатки по склонам справа и слева от соленого ручья. Времяпрепровождение наше тоже описано в той же самой песне у Данта: "Я увидел большие стада обнаженных теней; одни навзничь лежали на земле, другие сидели скорчившись, третьи беспрерывно слонялись". А каждый вечер с севера ложбины к югу брели вереницы верблюдов, десять, пятнадцать, иногда двадцать; верблюды сту-

пали мягкой, высокомерной походкой, покачивая каждый по две койки с обеих сторон: это везли на врачебный пункт наших товарищей, заболевших малярией. Батальон наш пришел в Меллаху в составе 800 человек, к началу наступления осталось около 500, но после победы вернулись на отдых полтораста, и из 30 офицеров половина: убитых и раненых было мало (вообще последняя победа на этом фронте обошлась в смысле человеческих жизней дешево) – косила только малярия; человек сорок из ее жертв так и не поднялись, и теперь они спят на военном кладбище в Иерусалиме, на горе Елеонской, под знаком шестиконечной звезды.

Турецкие пушки досаждали нам не реже двух раз в неделю, но вреда не причиняли. В средине сентября к нам присоединились две роты "американцев" под командой полк. Марголина: они стояли к западу от нас, на речке Ауджа, и там их ежедневно – но тоже безуспешно – тревожила большая австрийская пушка с хребтов Галаада за Иорданом, которую англичане ласково называли Джерико-Джэн – Анюта иерихонская. Зато тяжела была здесь ночная работа патрулей.

Иорданская долина в этом месте представляет углубление двухэтажное. Представьте себе улицу, по сторонам ее – высокие стены, а посередине – продольную канаву такой же глубины. "Улица" – это и есть самая долина, в Библии именуемая Киккар, шириною верст в двадцать от подошвы Иудейских гор до гор Галаадских. "Улица", конечно, сама загромождена холмами и провалами, подобно нашей Меллахе. Но, чтобы добраться к Иордану, надо еще спуститься в "канаву" глубиной в сто или больше метров – там вторая долина, густо заросшая чем хотите, от пальмы до чертополоха, и в этом тайнике и течет сама речка. Турки еще занимали не только оба берега реки, но и все подходы к "канаве".

Каждую ночь мы высылали по два патруля в усиленном составе. Кроме обычной разведки тут у них была и особая задача, о которой речь будет

идти дальше. Ради этой задачи приходилось забредать очень далеко, часто по вязким солончакам, иногда сквозь колючие заросли. В течение первой же недели мы потеряли несколько человек убитыми и зато получили две солдатские медали — одна из них досталась бывшему галлиполийцу Сепиашвили. Но вообще не проходило почти ни одной ночи без треска турецких пулеметов, нащупывавших нашу разведку, а наши "форты" (по ночам мы сидели в двенадцати игрушечных крепостях вдоль восточного хребта над Меллахой) отвечали тоже из пулеметов, и продолжалось это час, два и больше. Лазутчики возвращались замученные, ложились спать, а потом скоро всходило солнце и начиналась жара...

* * *

Наша линия в Иорданской долине составляла "шарнир" всего британского фронта. Если провести на карте горизонтальную линию, начав ее у самого моря чуть повыше Петах-Тиквы, и почти до самого Иордана, а тут резко, под прямым углом, повести линию вниз, — это и будет британский фронт сентября 1918-го года; и "угол" занимали мы. Это, по-военному, считается пост и опасный, и ответственный. Для противника он соблазнителен — тут при атаке нет угрозы бокового, "анфиладного" огня с обеих сторон; а если неприятель прорвется, окажется в тылу сразу у двух наших позиций.

Еще серьезнее было то, что мы тут сидели почти совсем без артиллерийского прикрытия. План общего наступления был выработан так, чтобы главный удар подготовить близ Яффы. Это фронт длиной около 15 миль, и туда в сентябре стянули 35 тысяч пехоты и 400 пушек. На весь остальной фронт, 45 миль в длину, осталось всего 22000 пехоты и 140 орудий; из них на нашу позицию приходилось не то десять, не то восемь. Притом — цитирую по Британской Энциклопедии — "были приняты искусные меры,

чтобы симулировать концентрацию войск в Иорданской долине, между тем как на самом деле там оставлено было только легкое прикрытие в виде конной дивизии Анзаков и двух-трех батальонов пехоты". Алленби это сам подтверждает в своем отчете 31-го октября 1918 года: "Дабы не дать неприятелю заметить убыль наших сил в Иорданской долине, я приказал ген.-майору Чейтору (начальник Анзаков, командовавший всеми войсками на Иордане) предпринять ряд демонстраций с целью внушить неприятелю уверенность, будто подготовляется наступление к востоку от Иордана". Этим и объяснялась усиленная работа ночных патрулей.

Исход доказал, что план этот был хорош; но, пока что и кавалерия Анзаков, и мы оставлены были на Божью волю; а у турок, говорили, было в этом месте до семидесяти пушек, и они, действительно, ждали грозы именно тут. Если бы они вздумали предупредить Алленби и ударить в нашу сторону, вышло бы весело. Старшие офицеры у нас часто и озабоченно об этом шептались. Даже полковник, хоть и улыбаясь, сердито ворчал:

– Худшее время года, самый опасный пункт на всем фронте, и пулеметы вместо пушек! Лестное доверие к еврейским батальонам...

Однажды меня послали в Иерихон; по дороге лежал лагерь наших "американцев". Марголин что-то подписывал пред своей палаткой; я остановил лошадь, рассказал ему все "новости" Меллахи, передал и разговоры о скудости артиллерии и спросил, что он об этом думает. Он ответил:

– "Думаю"? Штаб пускай "думает", а мы будем дело делать.

Впоследствии довелось мне беседовать об этом с comandante Леви-Бьянкини; он был крупный офицер итальянского фронта, откомандированный своим правительством в состав "сионистской комиссии"; чрезвычайно интересный человек, на редкость умный и образованный; кончил он трагически – его убили

бедуины, но о нем я расскажу в другой книжке, если удастся ее написать, – в книге о кровавой Пасхе 1920-го года и о крепости в Акко. Он сказал:

– При всем уважении и к ген. Алленби, и к еврейским батальонам, признаюсь, на его месте я бы не доверил угловой позиции солдатам с трехмесячным опытом на фронте. Неужели он о вас такого высокого мнения?

Может быть, в то время ген. Алленби и в самом деле был о нас хорошего мнения. Прошлую службу нашу на сихемском фронте очень хвалили; наши патрули забирались далеко и приносили ценные сведения о расположении турецкого фронта; за одну из этих экспедиций лейтенант Абрахамс, начальник нашей разведки, получил даже благодарность из штаба; даже процент заболеваний малярией (конечно, до прихода на Меллаху) был у нас меньше обычного – подтверждение той теории, что евреи, несмотря ни на что, все еще здоровое племя с упрямой кровью; а может и отголосок другого нашего качества – у нас не было пьяных!

Много зато было у нас – пленных. Говорят, никакой другой батальон не "притягивал" такого количества турецких перебежчиков. В чем дело, не знаю. Было у нас предание, будто во время одной из патрульных перестрелок капрал Израэль из Александрии вдруг закричал во все горло по-турецки: "Приходите к нам сдаваться – накормим!" и будто отсюда пошел у голодных турок говор о том, что в нашем батальоне пленным дают "по жестянке булли-биф на каждого" и даже говорят с ними по-ихнему. Возможно: одно и несомненно – турки давно не доедали. В одну ночь в конце августа к нам пришло 13 дезертиров, в том числе пять унтеров.

Пожалуй, ген. Алленби действительно был о нас тогда высокого мнения. После сихемского фронта он написал полковнику письмо, что решил устроить еврейскую бригаду и назначить его, Патерсона, бригадным генералом. А потом передумал.

ГЛАВА XIII

ЗА ИОРДАНОМ

На яффском фронте наступление началось в ночь с 18-го на 19-е сентября, в половине пятого перед рассветом. Предварительная бомбардировка продолжалась всего четверть часа; турки сразу дрогнули, и к семи часам утра английская кавалерия уже неслась, не встречая препятствий, на север.

Ночью с 20-го на 21-е наши патрули донесли, что контакт с неприятелем слабеет, и часть турецких траншей уже опустела.

Генерал Чейтор протелефонировал Патерсону задание — захватить Умм-эш-Шерт, единственную в том месте переправу через Иордан. Это оказалось не так просто. Первая группа, высланная в этом направлении, вернулась с потерями: кап. Джулиан, ирландец и старый друг Патерсона, был ранен, и солдаты его насилу унесли из огня; лейтенант Кросс, еврей, был ранен и взят в плен; и одного рядового убили.

После этого ночью была отправлена вторая группа; случилось так, что это был мой взвод и экспедицией командовал я. В качестве натуры глубоко штатской, я, конечно, очень ценю эту страницу своей биографии; но рассказать о ней нечего, подвигов никаких не потребовалось. Вышли мы в полночь, и продолжалась операция часа три или четыре. В одном пункте спуска, помнится, я дал сигнал своему ротному Барнсу, засевшему сверху в утесах, открыть огонь из пулеметов по какой-то заросли, возбудившей мое подозрение, — но я не уверен, что и это было необходимо. Один пулемет был у нас с собою, и на

рассвете мы его водрузили на берегу Иордана, и переправа была занята, и в отчете Алленби это дело записано: "22-го сентября 38-й батальон Royal Fusiliers захватил брод Умм-эш-Шерт на Иордане".

Иордан в этом месте несется с той именно быстротой, которая придает ему такую ценность в глазах гидроэлектрической техники: с точки зрения техники военной это ничуть не достоинство – переплыть его нельзя даже верхом. Оттого ген. Чейтор так и добивался захвата переправы.

Через три часа после того как мы ее заняли, прибыли конные Анзаки и перешли вброд на ту сторону реки. Так началось завоевание Заиорданья: ключ к его порогу добыл еврейский легион – а потом Заиорданье было объявлено закрытым для еврейской колонизации.

Тем временем полубатальон Марголина опередил нас на пути к селению Горанийя, близ Иерихона, где англичане уже навели понтонный мост для пехоты. Оттуда наши "американцы" прошли в Галаад и заняли Эс-Сальт, а мой батальон, чуть ли не ежечасно тая от малярии, потянулся за ними с опозданием на полдня пути.

Мучительный это был поход. Я не на свое впечатление ссылаюсь – у меня военный опыт почти любительский. Но полковник Патерсон проделал в свое время англо-бурскую войну в похожей обстановке, когда вся компания состояла еще из таких переходов, а не из окопной скуки; видал виды. На второй день он проехал мимо меня, остановил коня, нагнулся и сказал шепотом:

– В жизни так еще не приходилось мне мучить солдат.

Труден был уже и самый путь по равнине, от моста к подножию Моавитских гор. Турки, отступая, подожгли сухие заросли; тяжелый черный дым в безветренной жаре лежал на земле пластами; чтобы не кормить друг друга пылью, мы шли взводами на большом расстоянии один от другого и часто из-за

дыма теряли связь и сбивались не туда. Фляжки опустели на втором привале – что не выпили, то высохло, сквозь войлок и никель. Но потом начался подъем, и было это как раз в полдень или около; крутой подъем, от 14 до 25 градусов, и солдаты шли с пудовым своим вьюком на спине: запасные сапоги, одеяло, фуфайки, носки, бритва, посуда, мазь для пуговиц, чтоб блестели... Роскошь британской экипировки – отличная вещь на ночлеге, но не в пути. Офицеры помогали, чем могли, каждый из нас тащил по две и по три винтовки, даже "падре" – наш батальонный раввин, вопреки уставу тоже нагрузил себя орудиями смертоубийства; но все это была капля в море. Чуть ли не поминутно "выпадал" кто-нибудь из рядовых: бросался в тень под скалою – да и тени собственно не было – и оставался там, зажмурив глаза, разинув рот и хрипло дыша во всеуслышание. Я сначала приписывал это невыносливости наших солдат, но скоро успокоился: на шестом километре "выпал" английский фельдфебель и два английских сержанта, плечистые малые, которых нам прислали недавно из штаба на пополнение убыли от малярии.

Теперь мы шли уже красивыми местами. Тут когда-то бродила по горам с подругами дочь судьи Иеффая, оплакивая свое девичество перед смертью. Внизу под извилистой дорогой бежала звонкая речка, по-арабски Вади-Нимрин, а в Библии – Воды Тигровые. Но вместо тигров берега ее были усеяны конскими трупами. Зачем турки, убегая, перебили столько своих лошадей, до сих пор не знаю.

Оставили они на дороге не только лошадей. Мы полюбовались на Джерико-Джэн: страшная "Анюта" лежала наискось поперек потока; волны хлестали ей в дуло, и она весело выплевывала назад. На дороге кучами валялись снаряды, а еще больше было ружейных патронов, в аккуратных "бандольерах" из серого холста. Были раньше, верно, и винтовки, но уже исчезли. У иного поворота передний

взвод еще видел целый холмик амуниции, а задний уже ничего не находил; зато по утесам над дорогой карабкались, уходя в горы, маленькие ослики бедуинов.

Одного из бедуинов я поймал за делом. Кража патронов была строго запрещена; в сущности, я имел право поступить с ним совсем жестоко – но недаром трунили надо мною товарищи в офицерской столовой: "Какой вы солдат? Просто переодетый фельетонист". Я... я велел отнять у него добычу и дать ему по шее и отобрал у него осла, и мы посадили на осла усталого нашего "падре". Потом на ближайшем привале осла формально усыновили, дав ему батальонное имя. Дело в том, что у нас числилось шестьдесят четыре солдата по фамилии Коган, и имена их начинались со всех букв английского алфавита, от "а" до "зет". Не было только на букву "икс". Осла назвали Коган Икс...

* * *

...На полдороге к Эс-Сальту нас остановили, повернули и велели идти назад в долину. У англичан это тоже бывает, и часто: ступай вверх, потом вниз, а для чего – неизвестно. Они, в таких случаях, усмехаясь, цитируют знаменитую строку из Теннисона, из стихотворения о том, как под Севастополем погибло у них ни за что ни про что шестьсот отборных из конной гвардии; строка очень простая – someone has blundered – "кто-то напутал". "Самая английская строка во всей нашей поэзии", – говорит Патерсон (впрочем, он ирландец).

В местности Тель-Нимрин, на низовьях той же горной речки, нам велели ждать немецких пленных. Мы разбили лагерь и переночевали, а на рассвете привели нам партию оборванцев: девятьсот турок и двести немцев вперемешку с австрийцами и мадьярами.

В жизни их не забуду. Обносились, отощали,

обросли до того, что по одежде и по лицу уже трудно было отличить пруссака от османлы. Отличали они себя сами: немцы держались отдельно и блюли порядок. Прежде всего надо было пленных напоить: немцы сами выстроились очередью, подходили один за другим, получали порцию и говорили "данке". Но с турками едва не вышла трагедия.

Речную воду запрещено было пить из-за обилия лошадиной падали. Из штаба ежедневно рассылали по всей долине цинковые ящики с очищенной водою. Три ящика мы отдали туркам; сержант с помощниками выдавал им по кружке на человека, а двенадцать солдат с винтовками охраняли порядок.

Моя палатка была ближе других к пригорку, на котором это происходило. Я дремал и вдруг проснулся от какого-то гула и визга; в то же время вбежал ко мне денщик, рослый малый из-под Кутаиса, по имени Цвениашвили, закричал: "Драка", схватил свою винтовку и помчался на пригорок. Я выглянул и увидел серую свалку, пыль и над пылью взмахивающие и опускающиеся приклады. Бьют пленных?! Очень уж это было непохоже на наших солдат. За последние недели до наступления именно к нам каждую ночь приползали турки сдаваться: даже на их стороне прошла слава, что в еврейском батальоне с пленными обращаются ласково.

Я тоже побежал на пригорок; закричал солдатам: "Стоп!", но сам себя не расслышал из-за воя тысячи голосов; и то, что солдаты работали прикладами, оказалось мелочью – главное сражение шло у самих турок. Передние, у ящиков с водою, били, царапали, душили друг друга, некоторые, сплетясь, катались по земле; остальные напирали, проталкивались локтями, пинками, головами; все кричали по-своему и их было около тысячи. Сержант сказал:

– Так они с самого начала, сэр. За двадцать минут и полсотни напоить не удалось. Ничего не могу поделать.

Подошел полковник, присмотрелся и велел солда-

там дать залп в воздух: озверелая толпа притихла.

– Гоните их гуртом на реку, – сказал полковник, – иначе они перегрызут друг друга насмерть.

Их подлинно "погнали" к речке – другого слова не подберешь, да и другого средства не было; там они рассыпались вдоль берега, полегли ничком и "лакали" – опять нет другого слова.

Я пошел к немцам. Они сидели молча, все глядели в другую сторону с выражением "не наше дело, мы не такие". Я спросил по-немецки, нет ли среди них раненых; один встал и доложил:

– Какие были, остались – в пустыне. Но почти все турки.

Не разберешь, интеллигентные лица у людей или нет, сквозь маску пыли и пота и небритых щек; но на некоторых еще уцелели пенсне – признак, по крайней мере, аттестата зрелости.

Тот, что докладывал, спросил:

– А что нового? Кончена война?

Я рассказал; постарался сделать это деликатно, так как новости были все для них неприятные. Все, кто сидел поближе, повернулись ко мне. Тот опять спросил:

– Значит, Германия все еще воюет?

– Воюет, – сказал я.

Мой собеседник повернулся к другому и проговорил:

– Er ist ein Tolpel!*

(Я не обиделся: было слишком ясно, что местоимение "он" относится не ко мне.)

Второй подтвердил:

– Er ist es immer gewesen vom Anfang an**.

Никто не возразил, даже не шевельнулся. "Ого, – подумал я, – двести готовых республиканцев? Скоро... только вряд ли прочно". Но остальное, что я

* – Он болван!

**– Он был им всегда, с самого начала.

от них узнал, было еще тяжелее слушать – три дня в горах и в пустыне, без капли воды и без сухаря. Бедуины, вчера лебезившие, сегодня рвущие у отсталого часы из кармана, колечко с пальца, иногда сапоги с ног. И малярия; люди, ложащиеся на землю, с одной мольбой: уходите, дайте спокойно умереть.

Я пошел к палаткам; под маслиной стоял полковник Патерсон и мой ротный командир, юноша лет двадцати двух.

– Барнс, – спрашивал полковник, – сколько осталось человек в вашей роте?

– Здоровых, сэр? Восемнадцать.

– Так вы нынче ночью отведете эту партию в Иерихон.

Стемнело, и мы их повели: тысячу сто человек, турок и немцев, за шестнадцать верст, по безлюдным солончакам и обгорелым зарослям, под охраной восемнадцати солдат, почти все портных из Уайтчепла, с двумя офицерами и "падре": он тоже решил непременно пойти. Я шел сзади в черной, сырой и жаркой темноте и думал о том, что, собственно говоря, они голыми руками могли бы нас передушить; но они послушно плетутся как полагается, по четверо в ряд, немцы даже стараются идти в ногу, а наши солдаты, привинтив штыки к заряженным винтовкам, шагают справа и слева, "цепью", в которой звено звена не только не видит, но и оклик не сразу услышит.

"Падре", верхом на Коган Иксе, то уезжает вперед, то возвращается: надзирает, чтобы пленных не обижали или чтобы они сами не обижали друг друга.

Так мы тащимся без конца, старушечьим шагом, снова наперерез той же Богом отверженной долины. Все молчат, кроме тех, у кого ломит голову от малярии. Но таких десятки. Немцы (их выстроили сзади) сдержанно стонут, но турки хнычут в голос, как маленькие дети, или как те шакалы, что невидимо бегут за нами в стороне, оплакивая горемычную

землю.

"Падре" спешился и идет со мною за колонной. Вдруг мы слышим, далеко впереди, крик, свист, потом выстрел. Я оставляю в арьергарде "падре" и сам бегу на беспорядок. У края дороги две фигуры (а колонна плетется дальше): на земле стонущий турок, а над ним солдат, уроженец Александрии, из галлиполийских "ветеранов" Трумпельдора, сердито кричит на лежащего по-турецки.

– Кто стрелял?

Галлиполиец объясняет: турок не хочет идти дальше, горячка замучила, хочет умереть в степи. Он уж пугал его бедуинами и волками, но не помогло; тогда он выпалил в небо и сказал: "Вот так я тебя застрелю, если не пойдешь", – и тоже не помогло.

– Отберите двух турок покрепче, – говорю я, – пусть они его тащат.

В темноте я угадываю, что он на меня смотрит с презрением, как на несмышленыша; и он докладывает кратко и деловито:

– Они его в темноте выкинут.

Колонна плетется, и теперь уже идут мимо немцы. Я отбираю четырех, спрашиваю их имена, притворяюсь, будто записал их в книжечку; солдат отдает им свое одеяло, и я им приказываю тащить турка до Иерихона. А дотащили до Иерихона или нет – не знаю.

Возвращаюсь назад, и опять мы бредем и молчим. Около версты, потом опять выстрел, уже много дальше впереди. Я пожимаю плечами. "Падре" заносит ногу, хочет сесть на осла; я грубо дергаю его за ногу и говорю:

– Не суйтесь. Это впереди, там Барнс, пусть он и разбирается.

"Падре" шепчет дрожащим голосом:

– А если... если пристрелят?

Немец, идущий перед нами, видно, понимает по-английски: он громко говорит своему соседу:

– Одно средство: пристрелить. Не оставлять же

их тут, на голодную смерть, а шакалы еще уши отгрызут.

"Падре" затихает и всматривается вправо и влево. Много там разберешь в темноте, где камень, где куст, где что другое.

Тащимся, тащимся, и все думаем одно и то же. Неделю тому назад эти люди были здесь ужасом и красою земли. И ведь только случайно мы их ведем, а не наоборот. Много я передумал в ту ночь. Видел я Реймский собор под обстрелом и дуэль аэропланов в воздухе, и gueules cassees и немецкие налеты на Лондон – солдаты с фронта божились, что это хуже Ипра: в Ипре хоть не было в этом грохоте женского и детского плача. Все это страшно, но калечить людей и губить города умеет и природа. Одного не умеет природа: унизить, опозорить целый народ. Это горше всего; и это монополия человека. Живал я и в Берлине, и в Вене, и в Константинополе, видел эти самые обломки образа и подобия Господня, как они работали, как они смеялись, как гуляли со своими барышнями по Пратеру и курили наргиле в переулках Галаты. Часто теперь, когда обзовут меня публично милитаристом, я вспоминаю ту ночь, и дорогу, и долину Иордана, в тени той самой горы Нево, где когда-то умер пророк Моисей от Божьего поцелуя; вспоминаю и не отвечаю, не стоит.

Грозная это вещь – жизнь нации; тяжело тащиться пустыней; не можешь? ложись, помирай. Человечество – тоже полк, только без доброго "падре", и никто тебя не понесет до Иерихона. Бреди, пока бредется, жестокий к себе и к соседу; или ложись и пропадай, вместе со своей надеждой.

ГЛАВА XIV

ПОЧЕМУ БЫЛО СПОКОЙНО В ПАЛЕСТИНЕ

Важнейшим периодом нашей службы, конечно, был третий – во время перемирия. Так оно и должно было быть, по самому смыслу этого плана о легионе. Когда мы его задумывали в 1915 году, нам, конечно, рисовались не полтора и не три батальона, а корпус в тысяч двадцать или тридцать; но и тогда нам было ясно, что для завоевания Палестины одного этого корпуса не хватит, а понадобится на это сто или двести тысяч солдат. Значит, в лучшем случае еврейский легион мог бы быть только четвертой или пятой частью той боевой армии, которая завоюет Палестину. Но для оккупации Палестины после завоевания таких огромных сил не нужно; если бы у нас было двадцать или даже около пятнадцати тысяч, мы могли бы оказаться главной частью гарнизона именно в тот период затяжных и сложных переговоров, когда определяется судьба каждой из завоеванных областей.

На деле все это сложилось гораздо скромнее; тем не менее, в первый год оккупации (1919) еврейский контингент составлял очень видную часть британских сил, охранявших порядок в Палестине. Сам легион вырос. В наступлении 1918 года приняли участие только полтора батальона, приблизительно 1300 человек – остальные еще обучались в Египте; но к началу 1919 нас было три батальона, 5000 солдат. Напротив, общее количество войск, конечно, уменьшилось: часть ушла занять Сирию и Анатолию, часть понадобилась в Египте, а вскоре началась демобили-

зация. Точных цифр я не помню, но вряд ли ошибусь в таком рассчете: если взять среднюю цифру за 1919 год, то мы составляли от 15 до 20% всего гарнизона; если же считать только "белые" войска, т.е. без индусских полков, мы были, вероятно, третью. Этот "цветной" подсчет я привожу не в утешение себе или читателю, а потому, что он важен объективно. Нас, евреев, интересовала не окраска индусских войск, а тот факт, что среди них было много мусульман; в случае арабских выступлений против сионизма эти "цветные" войска были бы неудобны. Но и англичане, что бы они там ни рассказывали в книжках для иностранцев, сами не считают индусские войска безусловно надежными; оттого в индусских полках все настоящие офицеры, вплоть до подпоручика – англичане; индусам они дают офицерские погоны и титулы "джемадар" и "субадар", но никакой власти. Говорят, теперь это изменилось – не знаю, не следил; говорю о 1919 годе.

В течение этого года был момент, точнее два месяца, когда пропорция еще больше изменилась в нашу пользу. В марте разыгрались серьезные беспорядки в Египте. Из Палестины спешно была вызвана туда значительная часть "белых" войск. Кроме "цветных", остались, кажется, только один английский батальон в Иерусалиме и наши пять тысяч.

Это были опасные два месяца. Арабский мирок Палестины прожил их в большом возбуждении. Ежедневно по всей стране прокатывались самые фантастические, но зажигательные слухи о событиях в Египте: англичан разбили, каирская цитадель в руках у националистов, Алленби убит, даже Араби-паша, герой Телль-эль-Кебира, воскрес из мертвых и т.д. Ежедневно по базарам и кофейням ходили какие-то новые люди; десятки агитаторов проникли в Палестину с юга, неизвестно за чей счет, и почти открыто (в деревнях и совсем открыто) призывали народ избавиться и от англичан, и от евреев. Окружные

губернаторы и другие чиновники, с которыми часто приходилось тогда встречаться (я был одно время членом "сионистской комиссии") не скрывали своей тревоги; в офицерских столовых говорили, что индусские солдаты получают из Индии письма с жалобами на унижение халифата, на порабощение Константинополя, и смотрят неласково.

Стерегли Палестину в те месяцы мы. Кроме одного Иерусалима (дальше расскажу о том, как нас в Иерусалим не пускали), все главные центры и все артерии страны охранялись еврейскими солдатами. В Яффе стояли наши "американцы", в Хайфе – палестинцы; все посты вдоль железных дорог, от Романи в пустыне до Рафы на границе Египта с Палестиной, от Рафы через Газу до Яффы, от Яффы через Луд до Хайфы и дальше до Тивериадского озера, были заняты нашими.

И опасные два месяца прошли спокойно. Вообще спокойно прошел весь 1919 год. Когда в стране тихо, военному повествователю не о чем рассказывать.

* * *

Есть у сионистов популярный спор: правда ли, что наличие еврейских солдат "раздражает" арабов? Я тут пишу не публицистику, потому коснусь только того, что сам видел. На вопросы такого рода надо отвечать честно; но и ставить их надо честно. Покуда арабы не хотят еврейской колонизации, их, конечно, "раздражает" все, в чем проявляется наше влияние: иммиграция, еврейский обер-комиссар, торжественное открытие университета и т. п.; в том числе, бесспорно, и еврейские солдаты. Если так ставить вопрос, то надо отказаться вообще от сионизма. Честной постановкой проблемы я считаю такую: примесь "раздражающего" зелья имеется в любом лекарстве – но что перевешивает, польза или вред? На это жизнь ответила так: в 1919 году в Палестине

было 5000 еврейских солдат, арабы их видели на каждом шагу – и год прошел спокойно, даже несмотря на египетский пример. А к весне 1920 года почти весь легион был демобилизован, от 5000 солдат осталось всего четыреста – и тогда в Тель-Хай убили Трумпельдора с восемью товарищами, а в Иерусалиме разыгралась кровавая Пасха.

* * *

Несколько замечаний хочу сделать на тему, близкую к этому спору, но обратную: не об отношении арабов к нашим солдатам, а об отношении наших солдат к арабам. Ясно, что гарнизону в такой стране важно обладать не только силой, но и тактом. Причем сила – если дойдет до такой печальной необходимости – проявляется в действиях коллективных, что сравнительно легче; но такт есть качество личное, которое каждый отдельный солдат должен выказать в своем обхождении с отдельными людьми. Это, конечно, не всякому дано. Тут нужно одно из двух: или большая тонкость дипломатического чутья, или умение держаться в стороне и вообще подальше от местных людей.

Грубых нарушений такта со стороны наших солдат не было. Можно это доказать официально. Летом 1919 года арабский комитет отдал тайный приказ – "сыпать" жалобами на еврейских солдат. Жалобы, действительно, стали одно время "сыпаться", и военно-полицейские власти производили расследования, во всяком случае – без особого пристрастия к нам. Почти все жалобы оказались дутыми, и вскоре прекратились. Если же сравнивать наше отношение к "туземцу" с поведением остальных "белых" войск, то полагалась бы нам или монтионовская, или нобелевская премия. Австралийцы сожгли целую деревню Сурафенд – позволив, однако, уйти оттуда женщинам, старикам и детям – за то, что накануне там пристрелили одного из их товарищей. У нас не

только ничего подобного не могло произойти, но и вообще серьезных столкновений не было. Но перебранки и драки бывали; и любопытно — кто из наших солдат в них участвовал.

Прежде всего надо выделить две категории, с которыми ничего подобного не случалось никогда. Первая — это интеллигенция палестинского батальона: учителя, рабочие, колонисты, абитуриенты гимназии и т.д. — добрых три четверти всего палестинского набора. Их отношение к арабам было вежливое и приветливое без запанибратства и трений вызвать не могло. Вторая — наши "лондонцы", те самые "портные" из 38-го батальона. Они просто держались в стороне и ничего общего с арабами не имели. Свои воинские обязанности они выполняли точно и аккуратно писали письма домой; ничем остальным не интересовались: ни Палестиной, ни сионизмом, уж меньше всего "туземцами". Когда пьяный араб кричал им на улице бранное слово, они просто не замечали ни его, ни его крика.

Не так гладко было зато с "американцами". Это были почти все сионисты, даже пылкие сионисты с интересом ко всему, что касается сионизма. Присматривались они и к арабам скорее даже с симпатией, чем напротив, но — присматривались, и потому каждое арабское ругательство у них истолковывалось как покушение на национальную честь, а шальной, неизвестно откуда брякнувший и ничего не задевший выстрел — и того хуже.

Но больше всего недоразумений бывало у второй части палестинских добровольцев — у той, которая сама выросла в "восточной" обстановке. Против арабов эти молодые люди ничего не имели, напротив — чувствовали себя с ними, как дома, совсем по-приятельски и арабским языком владели в совершенстве. Отсюда и все горе. Начиналось с того, что солдат в отпуску встретил знакомого, поздоровались, обнялись, пошли в кофейню, выпили, сыграли партию; при этом сначала подтрунивали друг над друж-

кой — что бывает и у самых близких друзей — потом поругались, а в конце подрались.

Я об этом упоминаю на тот случай, если читателю доведется услышать сахарные разговоры, что для примирения евреев с арабами желательно было бы устроить "сближение", встречи, изучать арабский язык и т.д. Опять-таки, я тут не занимаюсь публицистикой, а просто рассказываю, что видел: видел совсем обратное. Чем больше точек соприкосновения, тем, иногда, больше неприятностей. Аналогичные наблюдения делались, в течение последних ста лет, также и в Германии, Польше, России и т.д. Словом, рекомендую осторожность.

...Но о том периоде нашей службы, который я считаю самым важным, рассказать все-таки нечего — именно потому, что служили хорошо и порядок в стране охраняли образцово.

ГЛАВА XV

НАШИ ОФИЦЕРЫ

Надо описать наших солдат и офицеров; но половины их я вообще не видел. Как уже сказано, из десяти тысяч рекрутов наших только 5000 попали в Палестину; остальные, проведя несколько месяцев в Плимуте под командой полк. Миллера (еврей; но и его я не видел), были там же демобилизованы.

В Палестине было у нас три батальона. Сначала они назывались официально: 38-й, 39-й, 40-й Royal Fusiliers. Вскоре после занятия Умм-эш-Шерта мы получили согласно давнему обещанию лорда Дарби новый титул: Judaean Regiment. Должен прибавить, что казенные эти имена, и старое и новое, остались только на бумаге: англичане нас с самого начала называли Jewish Regiment, евреи диаспоры – "легион", а евреи в Палестине – просто "гдуд", т. е. "полк".

В 38-м батальоне преобладали солдаты из Англии, меньшинство составляли американцы. В 39-м – наоборот. 40-й состоял почти целиком из палестинцев. Потом, когда демобилизация съела остальные два батальона, палестинцам досталось звание "1-го Judaeans".

38-м командовал Патерсон, 39-м Марголин. У палестинцев был сначала полковником Ф. Сэмюэл, потом М. Скот (христианин), а после роспуска первых двух батальонов – тот же Марголин.

О Патерсоне я уже говорил подробно; хочу прибавить только одно. Со странной неблагодарностью отнеслись к нему оба народа, англичане и евреи. Он,

вероятно, единственный в Англии пример офицера, который и начал, и кончил эту войну в том же чине подполковника, не получив ни повышения, ни ордена, хотя и его галлиполийский отряд, и его батальон в Палестине оба удостоились отзывов в приказах по армии ("mentioned in dispatches"). Алленби, письменно обещавший слить наши батальоны в бригаду и назначить его бригадным генералом, потом передумал. В ставке его ненавидели за то, что он упрямо заступался за своих солдат и посылал протесты против антисемитского духа, царившего в этой части армии: это, вероятно, и есть причина, почему Алленби не представил его к награде, а заодно уж и остальных наших полковников не представил. Отблагодарить его мог бы сэр Герберт Сэмюэл, когда был верховным комиссаром Палестины и раздавал губернаторские должности, – но не пожелал.

О еврейской благодарности и говорить нечего; вернее, многое можно было бы сказать, но неприятно. Часто я думаю о том, что родовое имя наше – Израиль Непомнящий.

Но Патерсон остался, как был, другом еврейского народа и другом сионизма. Одно время он работал в Америке для Керен-Гайесода; где побывал, там все его помнят и любят. Видаемся мы редко; но, когда встречаемся, в Лондоне или в Париже, и я ему, как брату (такой он и есть), поверяю свои разочарования и заботы, он улыбается все той же ирландской улыбкой, как улыбался тогда после нашей стычки с генерал-адъютантом или как улыбался в Иорданской долине после особенно тяжелого дня: улыбкой, сводящей на нет и генералов, и малярию, и вражьи пушки; улыбкой человека, верующего только во всемогущество сильных упрямцев. Он подымает стакан и пьет свой любимый тост:

– Here is to trouble!

Не знаю, как перевести trouble. Беспорядок? Неприятности? "История"? Ближе всего подошло бы еврейское "цорес". Патерсон пьет за все то, что

нарушает мутно-серую гладь обыденщины. Он верит, что trouble есть эссенция жизни, главная пружина прогресса.

И о Марголине я уже говорил. По темпераменту ему бы, собственно, быть англичанином вместо Патерсона. Порция его красноречия – десять слов в сутки; его мысли – мысли человека, прожившего жизнь вдали от больших городов, в Палестине времен первых пионеров, в зарослях австралийского "буша" – at the back of beyond ("по ту сторону той стороны"), как выражаются у них в Австралии: медленные, высокие, односложные и глубокие мысли, проникнутые метким чутьем действительности. "Батько", называли его американские солдаты, хотя часто сердились за его "педантизм". Он и в самом деле, как "добрый отец семейства" по римскому праву любил доходить до последней мелочи солдатского быта. Лагерь его считался образцовым – туда посылали адъютантов из английских и индусских батальонов учиться порядку и дисциплине. В дисциплину он верил свято и, хотя молча, но явно не одобрял бунтарства Патерсона, воевавшего против антисемитов штаб-квартиры. Но это было не из робости перед штаб-квартирой. В апреле 1920-го года, когда иерусалимскую самооборону везли под конвоем "на каторгу", он прибыл в Луд со всеми своими солдатами пожать "каторжникам" руку; а еще через год, в мае 1921 года, когда Сэмюэл еще носился с мыслью о смешанной милиции и назначил Марголина начальником еврейской половины, он в самый разгар яффского погрома, не спрашивая позволения, привел своих солдат с винтовками в Тель-Авив. За это прегрешение пришлось ему выйти в отставку; и теперь снова живет он в Австралии и тоскует по Палестине, где когда-то пахал землю в Реховоте, воевал в Иорданской долине, правил Эс-Сальтом в земле Галаадской...

Полк. Фредрик Сэмюэл принадлежит к давнооседлой англо-еврейской семье давноассимилированного

круга; но в этом кругу нашлось одно личное влияние, не его одного, а многих сблизившее с национальной душой еврейства. Это была Нина Дэвис, жена кап. Рэдклифа Саламана, военного врача, о котором я вскользь упоминал. К сожалению, теперь уже и Нина Дэвис, как много других имен моего рассказа, имя покойницы. Как Саламан и Сэмюэл (они между собой в родстве), Нина Дэвис тоже была родом из семьи, давным-давно осевшей в Англии; но отец ее, сам человек замечательный, дал ей глубокое гебраистское воспитание. Ее перу принадлежит ряд книг на английском языке для еврейских детей и много изящных переводов из Галеви, обоих Ибн-Эзра, Габироля. Но важнее этого дарования было в ней то, что англичане называют "личным магнетизмом". Она была, вероятно, из того разряда натур, откуда вышли царицы французских салонов конца прошлого столетия; хоть у нее не было "салона" (Саламаны жили в имении далеко от Лондона), это была та же форма влияния. Чисто туземный круг английского сионизма очень невелик, но лучшая часть его — те, кого привлекла к национальному движению Нина Дэвис. Один из них — полк. Сэмюэл. Он служил на французском фронте, командовал хорошим батальоном, ожидал с уверенностью близкого производства в бригадные генералы. Кап. Саламан написал ему, что нам нужны еврейские офицеры для легиона: он распрощался со своим полком — не малая и не легкая жертва для командира на четвертом году кампании — и перевелся к нам, отлично зная, что это связано с отказом от генеральского чина, так как первым кандидатом в бригадные был, понятно, Патерсон.

В Палестине он командовал батальоном тамошних волонтеров. Близок я с ним не был, не все в его действиях тогда одобрял, но и тогда признавал его такт и его умную гибкость. Все, чем жили его солдаты, было ему глубоко чуждо. Сам он по психологии — англичанин, привыкший к порядкам

прочно сложившегося быта, где (в гражданской ли жизни или в армии) чин есть чин, сословие есть сословие и каждому разряду отведено свое место. Тут он вдруг очутился в среде таких "рядовых", как Бен-Цеви, Бен-Гурион, Б. Кацнельсон – рядовых, которые сами в известном смысле командовали массами значительно более многочисленными, чем один батальон. В своем лагере он наткнулся на "общественное мнение", с которым не считаться значило бы разложить всю нравственную спайку этой своеобразной гарибальдийской тысячи. Одно время я опасался, что ему не удастся найти ту гамму отношений, которая могла бы примирить общественность и солдатчину. Он ее, однако, нашел. Критики его, усмехаясь, ворчали, что он – первый и пока единственный – ввел в английской армии русский институт "совета". Это, конечно, преувеличено; да и вообще спорно, русский ли это институт. По-моему, английский: в армии Кромвеля были солдатские комитеты, с которыми совещались начальники по всем делам военного быта.

После Сэмюэла одно время командовал палестинцами полк. М. Ф. Скот. У него была система другая: зная, что он среди своих солдат чужой, он и не пытался влиять на их внутреннюю жизнь, а просто отмежевал для себя скромную задачу: оберегать их от недоброго трения с окружающей, в то время уже явно враждебной армейской атмосферой. За один эпизод этой охраны весь еврейский народ ему обязан, по-моему, благодарностью. В конце лета 1919 года, когда палестинский батальон стоял в Рафе, он внезапно получил приказ: отправить 80 человек в Египет, в распоряжение тамошнего командования. Это было явно "против уговора": палестинские добровольцы пошли в солдаты воевать за Палестину и охранять Палестину, а не усмирять египетских националистов. Батальон устроил сходку и заявил, что не допустит отправки в Египет. По букве устава, полковнику следовало вызвать военную полицию, арес-

товать и тех 80 солдат, и их "укрывателей", а в случае отпора (что произошло бы неизбежно) – открыть пальбу. Если бы он это сделал, в Палестине разыгралась бы очень серьезная трагедия. Скот поступил иначе, с изумительным тактом и еще более изумительной смелостью, сам рискуя военным судом. Он написал в ставку, что солдаты его считают приказ об отправке в Египет не только незаконным, но видят в нем и попытку поссорить евреев с арабами; что 80 солдат, намеченные к отправке, ни в чем не виноваты, так как остальные (а их больше тысячи) грозят удержать их силой; остается, значит, арестовать весь батальон, а это значило бы отдать под суд всю лучшую молодежь еврейской Палестины. Он даже не побоялся прибавить к этому рапорту совет: "снеситесь с Лондоном, прежде чем принимать крутые меры, и доложите Лондону и мое мнение, а также и следующий отчет; во всем остальном – дисциплина в батальоне образцовая, чистота, порядок, служба безупречны". И каждый день, чуть не две недели подряд, он продолжал докладывать: полный порядок во всем – а отпустить товарищей в Египет не хотят. Штаб вынужден был все эти доклады препроводить в военное министерство; оттуда, конечно, получился приказ – оставить еврейские батальоны в покое и вообще всю нелепую историю замазать.

Теперь полк. Скот живет в маленьком предместье Лондона и оттуда ездит на службу, в банк или в контору где-то в Сити. Раза два состоялись у нас в Лондоне обеды бывших легионеров: он на них приезжает, скромно сидит, куда посадят, речей не произносит, только соседям говорит вполголоса:

– Это была мне большая милость Господня, что довелось мне служить с солдатами народа Израильского в земле Израиля.

В его домике, в Соут-Кройдоне, каждый вечер он, жена его и двое детей молятся Богу по своим христианским обрядам; между прочим, молятся каж-

дый вечер и о том, чтобы Господь восстановил Израиль в стране его и чтобы это было началом искупления для всего человечества.

Как-то на сионистском конгрессе я повторил одну его фразу; стоит и здесь ее записать: ”Англии выпала на долю великая честь: мы вырвали из Библии страницу, на которой начертано самое древнее из пророчеств, и на Божьем векселе выставили жиро* английского народа. От такой подписи нация не может отречься”.

* * *

Прежде чем перейти к главному – к солдатам, еще несколько слов об остальных офицерах. Только в батальоне Патерсона две трети офицеров были евреи; в остальных преобладали офицеры-христиане. В том сильно англизированном кругу, к которому по рождению и воспитанию принадлежали офицеры-евреи военного времени, агитация ассимиляторов, очевидно, оказала свое полное действие. Покуда еще оставался в Лондоне Р. Саламан, его личное влияние давало нам известный приток еврейской молодежи в эполетах; после его отъезда на фронт с батальоном Марголина, приходили к нам только те, кого самих ”тянуло”, а таких было немного.

Но были и такие. Гарольд Рубин бросил для нас один из самых блестящих гвардейских полков – Coldstream Guards. Эдвин Сэмюэл (сын сэра Герберта), по прозвищу ”Неби”, перевелся в палестинский батальон из канцелярии при штабе Алленби. ”Неби” остался в Палестине и после войны, по-видимому, уже навсегда. Остались и другие: Горас Сэмюэл, ныне крупный адвокат в Иерусалиме; Джэкобс, один из секретарей сионистской экзекутивы; Израэль Джаффе, родом из Белфаста, до недавнего времени

*Жиро – вид безналичных расчетов.

помощник начальника городской полиции в Тель-Авиве; и еще два или три. Из тех, что вернулись в Англию, некоторые остались — или сделались — активными сионистами (если не переоценивать значения слова "активность"). Но большинство просто пришли и ушли; служили в легионе честно и с достоинством, но не поддались ни блеску национальной идеи, ни горькой красоте палестинской природы.

Приглядываясь к ним, я окончательно укрепился в одном застарелом своем предрассудке. Мне давно казалось, что сионисты — это особая "раса": особый прирожденный склад души, а может быть, и особый какой-то состав крови. Нельзя "обратить" человека в сионизм; и все толки о том, будто контакт с Палестиной может "сделать" кого-либо сионистом, тоже выдумка. Если это и случается, то только с теми, у кого и раньше была в душе капля сионистского яду, только прежде незамеченная. Это — тот самый яд, чья примесь, у других народов, при других условиях, создает ушкуйников, пограничников, авантюристов: людей, которым отроду не по сердцу взбираться по готовым ступенькам, а хочется и лестницу выстроить самим. Этой черты ни привить, ни подделать нельзя. Будет время, когда весь еврейский мир "признает" сионизм и даже будет его "поддерживать"; но и тогда с и о н и с т ы будут в еврейском народе малым меньшинством.

Среди христиан-офицеров было несколько теплых друзей сионизма; из них у палестинских волонтеров был особенно популярен майор Хопкин, валлиец. Но большинство было точь-в-точь, как большинство евреев: служили честно, корректно и нейтрально. Много ли было среди них "тайных юдофобов" — право, не знаю: я уже признавался где-то в одной из предыдущих глав, что невысказанные чувства ближнего меня мало интересуют. Один из них, впрочем, ненавидел нас совершенно открыто, но и его я бы не назвал с уверенностью антисемитом. Звали его майор Смоллей; он был вторым по команде в батальоне Марго-

лина, и американцы наши много от него терпели; а однажды его упрямство и бестактность довели и до очень серьезных неприятностей — до военного суда над полусотней солдат, но об этом я расскажу после. Однако этого же Смоллея я видел и при других обстоятельствах, и там он держал себя с честью, даже по-рыцарски, хотя опять дело шло о евреях. Если бы тот же Смоллей был чиновником при военном министерстве в Лондоне, был бы он для нас, пожалуй, добрым помощником. Но ему пришлось жить среди нас ежедневно, а это безнаказанно дается только отборным людям, "лингвистам духа", если есть такое слово. Остановился я на майоре Смоллей потому, что загадка его — загадка общая для большей части английских чиновников в Палестине. Трудный мы народ; нелегко нам с соседями, нелегко и соседям с нами.

ГЛАВА XVI

НАШИ СОЛДАТЫ

Солдатскую массу нашу надо разделить на три главные группы: "англичане", палестинцы и американцы.

Об "англичанах" мало что осталось досказать. О том, что презрительная кличка "портные" стала у нас постепенно почетным титулом, я уже говорил. Уайтчепл дал нам, бесспорно, хороший материал, ничем не хуже других солдат британской армии. Иногда мне даже импонировала непреклонная суровость их настроения. Без увлечения, без энтузиазма к чему бы то ни было на земле, кроме своего личного "дома" с женой и детьми, равнодушные и к Палестине, обиженные на всех и все за то, что их посмели потревожить и послали на край света отвоевывать страну, до которой им дела нет, – они точно и аккуратно справляли свою службу от аза до ижицы, от чистки пуговиц до настоящего героизма. В наших батальонах бывали тяжелые моменты, приступы массового нетерпения, которые иногда грозили привести все наше дело к гибели, но никогда в этом не участвовали "портные". Для них все – опасность, жара, грубость, беспредельная скука перемирия, спанье на камнях, ночная стража на горе, малярия, рана, пустая фляжка, где не осталось ни капли воды, – все это были для них составные элементы "подряда", который, хочешь не хочешь, пришлось на себя взять, а потому, раз уж "подрядился", надо выполнить, как полагается.

Коллективной жизни я у них не заметил: ни общих идейных интересов, ни собраний, ни даже

кружковых сближений. Жили они группками, по произволу случая – кого капрал с кем поселит в одной палатке. Раз оказались соседями, значит, надо друг другу помогать, играть вместе в карты, вместе ворчать на полковые порядки и вместе вспоминать о доме, не тоскуя о вчерашних соседях. Тосковать разрешается только по ”дому”.

Войну они ненавидели как дикое безумие пьяного необрезанного мира, безумие, которому нет и не может быть никакого нравственного оправдания. Добровольцев, особенно палестинских, они искренно считали идиотами. А с другой стороны – такой факт. После брест-литовского мира кто-то в штабе Алленби додумался до простого способа, как избавиться от нашего легиона: ведь эти солдаты – ”русские”. Патерсон внезапно получил приказ созвать батальон и объявить, что каждый, кто захочет, может перевестись в нестроевые роты. Откликнулись всего два человека. Почему только два? Не знаю. Как не знаю, почему они же оказались первыми боксерами на всю британскую армию в Палестине, побив, одного за другим, чемпионов всех других полков, так что на заключительном состязании в Каире между ”Англией” и ”Австралией” Англию представлял наш рядовой Бурак.

Палестина их не интересовала. Однажды, во время перемирия, было объявлено по полку, что можно записываться в групповые поездки по стране. Никто из них не записался, а на другой день полковник получил письмо без подписи: ”Этого нам не нужно. Мы сюда не приехали смотреть на пейзажи – мы приехали служить, служили прилично и вас, сэр, ни разу не посрамили; а теперь очередь за вами, похлопочите, чтобы нас скорее отправили домой”.

Но, мечтая о ”доме”, они делали свое дело и не топали ногами, и оттого, должно быть, их и демобилизировали много позже, чем американцев. Итог: первыми приехали, уехали последними; чужими пришли и чужими ушли; а между началом и концом

была Иорданская долина. Странная психология, мне мало симпатичная; но не могу ей отказать в цельности.

* * *

Я сказал ”уехали последними” – конечно, последними из тех, которые приехали. Самый последний остаток еврейского полка, продержавшийся на посту до лета 1921-го года, состоял из палестинцев.

Об этих волонтерах Х. Е. Вейцман сказал однажды ген. Алленби: ”Лучших солдат и у Гарибальди не было”, – и правильно сказал. По крайней мере три четверти ”Гитнадвута” представляли редкий человеческий отбор. Смелость их была того калибра, какому научил нас Тель-Хай, где стояло пятьдесят человек против тысячи: не просто бесстрашие, но и прямая тоска по жертве. Притом, в значительной части, молодежь высококультурная и в смысле духа и в смысле внешнего обряда – вежливая, с рыцарскими понятиями о чести, товариществе, долге. Многие из них знали страну как свою ладонь; многие говорили по-арабски, как арабы; некоторые хорошо знали по-турецки; добрая половина умела обращаться с конем и с ружьем. Всякий другой главнокомандующий ухватился бы за таких людей двумя руками. Алленби – или его штаб – на полгода оттянул их прием на службу, а потом старался держать их подальше.

Обучали их в Египте, в местности Телль-эль-Кебир; даже того, чтобы их оттуда перевезли в Палестину, пришлось особо добиваться. Сделала это г-жа Грозовская (сын ее, Аммигуд, был одним из главарей добровольческого движения): собрала депутацию из дам, у которых были в полку сыновья, и добилась свидания с Алленби. Они ему сказали: ”По стране носятся разные беспокойные слухи, а молодежи нашей с нами нет; нам жутко”. Через две недели 40-й

батальон привезли в Сурафенд, недалеко от Луда.

Внутренняя жизнь их была очень богата: другого такого интеллигентского батальона, вероятно, во всей армии не было. У них была библиотека тысяч в пять томов – совершенно, кажется, беспримерная вещь для новорожденного и притом временного лагеря. Из своего лагеря они управляли рабочим движением в стране, дирижировали настроениями интеллигенции, посылали делегатов на съезды Ваад-Земанни (так назывался предшественник теперешнего "сейма" – Ваад-Леумми). Капрал из почтового отделения сказал мне однажды: "Случаются дни, когда десять рядовых из 40-го батальона получают больше писем, чем вся ставка целиком!" Когда у "сионистской комиссии" возникал какой-либо серьезный вопрос – план большой колонизации в районе Негева, с которым одно время много носились, или разработка проекта палестинской конституции для представления Лиге наций, – на совещание вызывались делегаты "гдуда". При этом они умудрялись нести военную службу аккуратно и точно, как я уже рассказал, даже в самых парадоксальных условиях.

Лично мне больше всего нравилась группа бывших яффских гимназистов первого и второго выпуска. Эту гимназию много у нас бранили: и за якобы "критическое" отношение к Библии, и за совместное воспитание мальчиков и девочек, и просто педагогически. Во всем этом мне не разобраться; знаю только то, что на большинстве ее воспитанников того периода лежал общий нравственный отпечаток, и хороший, с высокою меркой требований к самим себе в смысле долга, товарищества, рыцарства, мужества, даже манер, и с великой готовностью к жертве за страну и идею.

Их я и знал ближе; о других группах судил скорее издали. Было много сефардов; лучшая в них черта – здоровая непосредственность в отношении ко всему, до чего ашкеназскому еврею приходится "додумываться". Палестина, еврейская армия, еврей-

ское государство – для них это все не проблемы, а вещи данные и бесспорные, как нос или рука. Они, по-моему, единственное племя среди евреев, сохранившее коренной, мужицкий здравый смысл – "конское чутье", как выражаются англичане, тот инстинкт, который помогает лошади ночью в горах найти дорогу, если только всадник перестанет дергать за уздечку. Было около сотни турецких военнопленных, уроженцы Балкан и Анатолии. С точки зрения Уайтчепла, они были еще непонятнее палестинских добровольцев. Жилось им сытно и уютно за колючей оградой в Сиди-Бишр близ Александрии; англичане долго не хотели брать на службу людей, которым, если попадутся в плен туркам, грозила виселица; но они посылали просьбу за просьбой и добились своего. Были йемениты, может быть, от природы наиболее одаренная ветвь еврейского корня, с задатками большого коллективного таланта к музыке, мышлению и гешефту; физически – почти особая раса, происхождение которой остается загадкой глубочайшей старины и которая пронесла свою верность сквозь строй гонений, еще и в счастливой Аравии не закончившихся. Отцы их прибыли в Палестину босыми оборванцами, каждый с двумя ящиками богатства – в одном рухлядь, в другом священные книги. Сыновья – многие из них – не ели на службе мяса, так как о той кашерной пище, которую завел Патерсон в Плимуте, на фронте не могло быть речи.

Как носители идеи легиона палестинские волонтеры последними покинули утопавший корабль. Ядро их, человек 400, зубами и ногтями боролись против демобилизации, на которой настаивала штаб-квартира. Эта борьба им и в нравственном смысле далась нелегко. Уже давно заговорили кругом о новой строительной работе, слово "квуца" стало лозунгом всей молодежи – а им, лучшим из этой молодежи, приходилось стеречь железнодорожную станцию в Хайфе или пустые военные склады на границе Синайской пустыни. С огромными усилиями удалось

им раз или два продлить срок своей службы еще и еще на три месяца; потом они записались в еврейский отряд ”смешанной милиции”, которую хотел устроить Герберт Сэмюэл. Яффский погром положил конец и ”милиции”, и их военной службе.

* * *

Сложную задачу представляли наши американцы. По количеству они были самой значительной группой нашего состава; по интеллигентности, образованию, по личной отваге, проявленной в Иорданской долине, они тоже стояли на доброй высоте; в смысле физическом, по здоровью и мускулам, были, пожалуй, у нас первыми. Но психологически – очень трудно было их ”уместить” в нашей обстановке. Виной тому были не еврейские их качества, а американские.

Очень несродны между собою духовный мир англичанина и духовный мир еврея; но эта разница – ничто в сравнении с той пропастью, которая отделяет англичанина от американца. Я живал среди русских, итальянцев, немцев, венцев, французов и турок: в жизни еще не видел двух народов, так диаметрально непохожих друг на друга, как эти две ветви англосаксонского ствола. Они сами это знают; один британский публицист, как раз тот, который больше всех работает для сближения обоих народов, заметил однажды: ”Слава небу, что мы с ними не соседи, а не то бы мир впервые увидел, что такое настоящая национальная ненависть!” Но мы, посторонние, этого не подозреваем: слышим ту же речь, те же фамилии и воображаем, что это братья по духу. Братья по духу?! Даже у нас, в крошечном ”театре миниатюр” 38-го батальона, легко было проследить, что это за ”братство”. Наши “Transatlantiques” были, конечно, только наполовину американцы; но и налета американизма оказалось достаточно, чтобы сделать для них совершенно невыносимой обволакивавшую нас

английскую атмосферу. Выходцам из России, сефардам, йеменитам гораздо легче далось приспособление к британским порядкам, чем этой молодежи, всего десять или пятнадцать лет подышавшей воздухом Америки.

В чем тут различие — об этом пришлось бы написать целую книгу, и напишу ее не я: не мое дело. Для моей цели достаточно указать на одну противоположность: в "темпе". Американец думает быстро и отчетливо, говорит да или нет, и если "да" — действует так, чтобы вышло "да". Англичанин на это способен только в критические моменты большой опасности. В обычное, более или менее нормальное время он гораздо больше сродни испанцу с его любимым словечком "маньяна", или арабу с его "букра" — оба слова значат "завтра!" Не толкайтесь, куда вы торопитесь? Отложим на неделю, на месяц, на год — поближе ко второму пришествию. Притом американец — человек цели: если берется за дело, он прежде всего знает, какой ему нужен последний итог, и каждый сегодняшний шаг он приспособляет к этой конечной задаче. Англичанину само понятие "конечной цели" не по сердцу, и он открыто гордится своим пренебрежением к будущему. Снег и пламя легче примирить, чем эту психологию воспитанников Итона и Вестминстера с душою чикагского "толкача". Не берусь судить, что лучше: тоже не мое дело. Но под венец такая пара не годится.

На подмостках нашего "театра миниатюр" эта противоположность отразилась быстро, ярко и резко. Американские легионеры, высадившись в Александрии, сразу поставили вопрос о "цели": где тут фронт? Англичанин ответил: повремените, поучитесь. Они возразили: да ведь у вас самих три-четыре месяца обучения считаются достаточными! Англичанин отозвался: поживем — увидим... Так и случилось, что большинство из них в наступлении не участвовало, т.е. пропустило цель, ради которой они туда и прибыли.

Тогда возникла новая "цель": раз у нас мир, значит — надо "строить Палестину". Большинство из американцев были добрые сионисты. Дайте нам лопату! Но кабальеро в британской форме отвечает: "маньяна".

Я, конечно, далек от того, чтобы обвинять одну только сторону. Было бы гораздо лучше, если бы американские и канадские мои товарищи стиснули зубы и, терпя скуку и разочарование, остались на посту. Далеко не все они так поступили. Видя, что пальба кончена, а строительная лопата еще далеко в тумане, многие из них решили: значит, не к чему чистить бесполезные винтовки, и начали громко, иногда очень громко, требовать демобилизации.

Летом 1919 г. состоялся в Петах-Тикве съезд представителей палестинских и американских легионеров вместе с делегатами от рабочих. (Если не ошибаюсь, это был тот именно съезд, на котором основана была "Ахдут-га-Авода", ныне главная рабочая партия Палестины.) Я был на том съезде; ясно предупредил их, что именно теперь наступает важнейшая роль легиона: по всей стране ведется беспримерная погромная агитация, тем более опасная, что она косвенно опирается на известные настроения и в высших и в низших слоях оккупационного аппарата. Справедливо или нет, наши противники уверены, что ни британские ни индусские войска пальцем не шевельнут в защиту еврейского населения: их пароль: "эддоуле маана" — правительство с нами! Правда это или ложь, неважно: они в это верят; и единственная сила, которой они боятся, это еврейские батальоны. Как же можно говорить о демобилизации?

Не помогло. Опять-таки и тут нельзя винить одну сторону. Если бы легионеры поверили в опасность, они бы остались под ружьем, в этом я убежден. Но среди старших вожаков палестинского общества нашлись успокоители, они сказали солдатам, что я выдумываю или преувеличиваю, что сам я в стране

новичок, а они, успокоители, знают арабов, и ни о каком погроме речи быть не может... Для американцев все это не могло не звучать убедительно: понятно, местным людям виднее.

Словом, много было у нас с американцами осложнений. Подробно рассказывать незачем; но в итоге — многие из тех, что прибыли последними, отбыли первыми. Через два месяца после съезда в Петах-Тикве из трех батальонов осталось два, а потом и всего один — палестинцев, которые держались до конца, подавая прошение за прошением, чтобы их не демобилизировали, оставили под ружьем. Но и они быстро таяли. Весной 1919-го года у нас было 5000 солдат; к весне 1920-го осталось едва четыреста — и тогда разыгралась кровавая Пасха в Иерусалиме...

ГЛАВА XVII

КАСТА ГЛАВНОГО ШТАБА

Иерусалимский погром был, в значительной мере, неизбежным последствием всей политики главного штаба. До погрома политика эта ярче всего проявлялась в отношении властей к еврейскому легиону; но это – деталь. Просто оказался под рукою проект, который легче было толкать и дразнить, чем гражданское население. Но пинки, сыпавшиеся на легион, предназначались не ему, а всей еврейской Палестине, и больше того – сионизму.

Как и почему штаб ген. Алленби дошел до жизни такой, это – особая тема. Я займусь ею подробно, если действительно соберусь написать продолжение этой книжки, рассказ о самообороне 1920-го года. Здесь, однако, совсем обойти ее не могу.

Я уже говорил, что ни Алленби, ни даже Больса (в его управление произошел погром) я бы не назвал антисемитами. Вообще думаю, что настоящим антисемитом в этой ставке был только один человек полковник Вивиан Гэбриэль; но его убрали, кажется по настоянию Брандейса, еще до Пасхи 1920 г. Остальные вдохновители ставки – совсем не враги наши: ни знаменитый Лоренс, ни Ричмонд, ни Фильби, ни даже Сторрс. Некоторые из них одно время даже сочувствовали сионизму – издали. Что же сделало их и им подобных вдохновителями юдофобской агитации, а одного из них – ген. Луи Больса – даже хуже того, уменьшенным Плеве?

Чтобы это понять, надо, мне кажется, опять вернуться к той черте английской психологии, о которой

я вскользь говорил в последней главе. Средний англичанин из так называемой правящей касты органически не любит чересчур широких проектов, особенно таких, которые отзываются сентиментальностью и романтикой. Не вся Англия такова, даже не большинство Англии – я говорю о правящей касте. И тут есть исключения, холодные мечтатели вроде Бальфура, Эмери, Грэхема, Ормсби-Гора, Стида, горячие мечтатели вроде Веджвуда, Кенворти – я бы мог наполнить страницу списком, и он был бы очень неполон. Но "каста" в целом, те сто тысяч душ, которые так запутанно связаны между собою происхождением, хотя бы отдаленным, от бесчисленных лордов и сэров, от их родичей или от их свояков; которые воспитываются в средневековых "public schools" Итона, Гарроу, Винчестера, а после того не просто в Оксфорде или Кэмбридже, но непременно в одном из древнейших там колледжей вроде "Баллиоль" или "Корпус Кристи", основанных восемь или девять веков тому назад; которые даже на английском языке говорят по-своему (или воображают, что это все еще так) – эта каста, вернее, особая нация внутри нации, искренно гордится непроницаемостью своего духовного провинциализма. Если можно сравнить несравнимое, они похожи на гетто наших дедов: другие обычаи, но та же мания избранничества, то же неприятие остального мира, то же презрение ко всякому новому шороху. К счастью, давно уже прошло время, когда эта "правящая" каста одна правила государством: другие сословия порядком уже оттеснили ее, особенно на парламентской арене. Но она еще правит душами, определяет нравственную моду всей страны и все еще очень сильна в высшем чиновничестве. Всего сильнее она, конечно, в армии, особенно чем выше. Китченер, с его отвращением ко всему, что отдавало привкусом "фантазии" – "fancy", очень был для них типичен. Но, конечно, фантастический полк – это еще пустяк по сравнению с таким чудовищем фантазии, как

возрождение еврейского государства.

После этого нетрудно себе представить раздражение этого военного кружка – касты над кастами – когда в самый разгар войны им вдруг заявили: извольте насаждать сионизм; мы посылаем вам еврейские батальоны; посылаем сионистскую комиссию. Ставка возмутилась. Как можно сделать такой шаг, не спросясь у нас? И как можно осложнять нашу военную задачу "политикой", да еще такою политикой, которая очень не по вкусу арабам? Разве не вы нам велели привлечь арабские сердца? Чего бы вам не дождаться конца войны? Все это вопросы, которым трудно отказать в известной резонности.

Но это все было только полбеды. Вторая половина, пожалуй, не менее важна. Я назвал несколько имен: Лоренс, Фильби, Ричмонд – можно было бы назвать еще несколько, ибо и у "касты" есть свои фантазеры. Но они облюбовали такую "мечту", которая легко и уютно укладывается в самые застарелые британские традиции. Не "fancy", не дикое новшество, а вполне законное порождение вчерашнего дня – "Пан-Арабия". Англия вот уже 40 лет хозяйничает в Египте, имеет интересы в Месопотамии, владеет несколькими точками на всех побережьях Аравийского полуострова; выработался огромный опыт, как управлять арабами. Остальное просто: теперь надо их освободить, потом объединить, потом дать им королей – этаких живописных шейхов в зеленых и белых чалмах, которые за столом сидят с ногами на кресле... Такая мечта – другое дело; пожалуйста.

До войны почти вся высшая бюрократия в Египте принадлежала, прямо или косвенно, к этой школе. Во время войны они переоделись в хаки, окружили штаб-квартиру и определили ее идеологию. Конечно, Великая Аравия; но притом обязательно "живописная", с верблюдами, караванами, белыми бурнусами, зелеными чалмами и женщинами под чадрой и за решеткой. Всю декорацию "Востока" надо свято

сохранить; было бы ужасно, если бы эту красоту нарушило прозаическое дыхание цивилизации... Возможно, что в этом культе старого хлама была подсознательная примесь эгоизма – мысль о том, что покуда король сидит за обеденным столом, скрестив ноги, ему нужны английские советчики не только за обеденным, но кстати уж и за письменным столом. А может быть и нет: я вполне допускаю и бескорыстие этой любви к допотопному. Один из ее представителей, Стивен Грэхем, писал когда-то в том же духе о России, уж, конечно, не мечтая править ею через английских советников, а просто так, из чистого восторга пред самодержавием и ссылкой в Сибирь. После первого переворота 1917-го года он откровенно заявил: "Сердце мое безутешно: я так надеялся, что Россия надолго еще останется музеем средневековья..."

Для этой школы Декларация Бальфура была ударом ножа в самое сердце – или в спину. Евреев они хорошо знали: богатых – по гостиной леди Н.Н., бедных – по Уайтчеплу; ни те ни другие не "живописны". Если бы шла речь о поселении в Палестине хасидов с длинными пейсами, право, Лоренс и Ричмонд гораздо легче бы с этим примирились – они ведь не юдофобы. Но ясно было, что речь идет о евреях новомодных, у которых на ногах штаны, на голове – котелок или каскетка, а под каскеткой – новаторские замыслы. Пропала вся декорация: в Иерусалиме будет трамвай (Сторрс, впрочем, поклялся, что трамвай пройдет через его бездыханный труп) вместо верблюда под пальмой будет красная черепичная крыша и по мощеным тротуарам колоний будут гулять девицы с молодыми людьми, как в Англии – с нами крестная сила!

Я не шучу: это правда, и очень серьезная. Она причинила нам немало горя, и это еще не конец.

* * *

Были и другие факторы, менее (гораздо менее) идеологического свойства, но об этом, может быть, в другой раз и по другому поводу. Тогда уж придется рассказать и о том, как разгул антисемитизма, с весны 1919-го года охвативший верхи оккупационной армии, ударил, между прочим, и даже главным образом — по легионерам. Здесь, однако, в повести бывшего солдата о делах солдатских, именно об этой солдатской стороне скверного дела как-то не хочется говорить. Может быть, это неуместная сентиментальность, но я тридцать месяцев носил английскую форму и горжусь ею, и не хочется мне выносить на улицу мелкий сор из одного уголка большой и красивой избы. Я могу критиковать, могу даже высмеять Алленби-политика, но Алленби-солдат — это для меня другой человек, большой полководец, "лорд от Мегиддо в долине Ездрелонской", завоеватель Иерусалима и Газы, Галилеи и Заиорданья. Да простят ему боги и люди тех советчиков, которыми он себя окружил, и тот яд, которым они отравили одну часть хорошей и благородной семьи — британской армии. Как-никак, это была и моя семья; лучше промолчать о деталях.

Итог: в июле я подал Патерсону рапорт о том, что образ действий военного начальства вызывает глубокое раздражение среди наших солдат и что все это грозит кончиться неприятными осложнениями. В то же время я написал личное письмо Алленби, приблизительно того же содержания, и просил у него свидания.

Через две недели после этого произошли у наших американцев два "бунта": один в Рафе, на границе Египта, где стояла тогда рота 38-го батальона, второй в Сурафенде, в батальоне Марголина (сам Марголин был тогда в отпуску, замещал его майор Смоллей, о котором я писал в предыдущей главе). В Рафе около 50 человек объявили "забастовку", требуя

демобилизации; в Сурафенде около 40 обозных, обидевшись за товарища, который попал под арест за какую-то мелочь, в знак протеста явились на утренний "парад" без уздечек и когда капрал скомандовал "направо" (или "налево", не помню), не исполнили команды: по букве закона и это составляет "бунт". Это было вообще нервное время; в английских и австралийских батальонах ежемесячно происходили бесчинства гораздо более серьезные — вероятно, всегда так бывает во время демобилизации после долгой напряженной войны; а у наших солдат ведь еще были особые причины для нервности. Тем не менее, я их не оправдывал тогда и не оправдываю теперь; но защищать их на суде пришлось мне, и притом одному. Месяц тянулись оба процесса. Английская военносудебная процедура — образец процессуальной корректности: судьи обязаны соблюдать массу обрядовых самоограничений, которых и юрист не упомнит, а офицеров-юристов в Палестине, по-видимому, не нашлось, или они были заняты другими делами. "Ловить" неопытных полковников и майоров на технических нарушениях процедуры было очень легко. Я сделал все что мог: на третий день суда над солдатами из Рафы (это было в Кантаре, на берегу Суэцкого канала) добился роспуска всего судейского состава; на второй день второго процесса, в Сурафенде, добился того же. Но после этого были назначены новые судьи, а из Каира к ним в подмогу прислали военного юриста кап. Брэмстона, молодого человека из "касты", с оксфордским выговором, и действительно знавшего все секреты толстой красной книги военных законов. Во втором издании суд в Кантаре продолжался неделю, суд в Сурафенде — четыре дня. Около трети удалось выгородить, остальных засудили. Все это были, в сущности, хорошие честные юноши. Один из них, капрал Левинский из Канады, пожертвовал собою и спас шестерых товарищей: заявил, что он, как начальствующее лицо, сам велел им "забастовать"; их оправдали, а его

посадили на семь лет. Остальных приговорили на сроки от трех до шести лет.

Осталось одно: отправить на имя короля прошение о помиловании, изложив в нем все, что было на душе, все то, о чем в этом рассказе не рассказано. Такие прошения подаются через главнокомандующего: я направил мое в ставку, а копии послал Эмери, Грэхему, Стиду, Смутсу... Через полгода солдат освободили, освободили бы, конечно, и без моего прошения, как всегда бывает в конце войны; но в одном месте моя жалоба королю произвела свое впечатление – в штабе. Там жестоко обиделись еще за "разгон" двух составов военного суда; а эта бумага, по-видимому, окончательно закрепила симпатии... В апреле 1920 года, когда человек десять из моих бывших подзащитных, только что выпущенные из военной тюрьмы, ехали из Египта в Палестину, они в Кантаре пришли, понуря головы, к проволочной ограде арестного лагеря, где еще недавно сидели они во время суда, а теперь сидела иерусалимская самооборона. Я помню их дрожащие голоса: "Сэр, легче бы нам было ослепнуть, чем видеть вас здесь..."

* * *

Не хотелось бы оставить впечатление, будто все окружение штаба состояло из недоброжелателей. Напротив: тот человек, например, который впоследствии нанес "касте" самый тяжелый удар и, пожалуй, больше всего помог ликвидации ее власти над Палестиной, сам был один из старших офицеров оккупационного управления – полковник Мейнерцхаген, политический секретарь при ген. Больсе. После иерусалимского погрома он сказал в лицо и Больсу, и Алленби, что вина падает на военную администрацию; в этом смысле телеграфировал он и министру, и его телеграмма, говорят, решила судьбу военного режима.

С другой стороны, несправедливо было бы думать, будто недоброжелатели все были только христиане да арабы. Без услужливого еврея такие вещи не делаются. Еще и ныне шмыгает по гостиным еврейского Лондона один из представителей этой разновидности нашего многоликого племени, который в те дни носил капитанскую форму и состоял при штабе. "Что он там делает?" – спросил я как-то у английского офицера из ставки; тот объяснил:

– Рассказывает генералу Алленби анекдоты.

Один из этих "анекдотов" мне потом довелось видеть черным на белом, и сюжетом был я сам.

Это было так: через неделю после того, как я отправил свое письмо Алленби с просьбой о свидании, этот капитан разыскал меня в Тель-Авиве, на квартире И. Е. Вейцмана (брата Х. Е.), и сказал:

– Ген. Алленби получил ваше письмо. Он ничего не имеет против того, чтобы с вами повидаться; но он поручил мне предварительно выяснить, в чем дело. Можете говорить со мною совершенно нараспашку, как свой со своим.

Я и тогда не был о нем большого мнения, особенно после аттестации того английского офицера; но мало ли кого мог Алленби выбрать своим поверенным? Я ему рассказал свои наблюдения над палестинской атмосферой.

Потом, много позже, мне показали его отчет об этой беседе. О моих "наблюдениях" в отчете не было ни слова, зато много обо мне лично, в сочных черных тонах. Одна подробность любопытна: я у него оказался "большевиком" – что называется, честь неожиданная.

* * *

Вскоре после процессов пришло распоряжение о моей демобилизации. Я поехал в Кантару, получил отставку "с сохранением чина" и вернулся в Тель-

Авив штатским. На этом кончаются мои полковые воспоминания; о дальнейшей судьбе наших батальонов я уже рассказал; остается еще одна, последняя глава, нечто вроде надгробной речи отца над могилою сына — речи отца, который не верит могиле и твердо считает, что "сын" еще не навеки похоронен.

ГЛАВА XVIII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это, конечно, не "история" легиона. Для истории нет у меня материалов. Движение это проявилось в нескольких странах, в каждой по-своему: в Палестине, в Америке, в Канаде, в Аргентине, в Египте; в России Трумпельдору едва не удалось создать настоящую еврейскую армию. Да и сам полк наш жил очень сложной жизнью, из которой мне знаком только малый уголок. Я не был ни в Галлиполи с Трумпельдором, ни в Плимуте с Патерсоном, ни в Эс-Сальте с Марголиным. Из трех наших батальонов я знал хорошо только свой, а как раз остальные два, особенно палестинский, представляли гораздо больше интереса для наблюдателя.

Здесь я передал только личные воспоминания; несомненно, со всеми недостатками этого рода литературы: субъективные оценки, неточности и слишком много местоимений "я". За все это прошу извинения, совершенно не пытаясь оправдываться.

В одном только буду настаивать на оправдании. Правду ли я написал? Да. Всю ли правду? Нет, и нарочно нет. Не всякий "факт" есть "правда" в основном значении слова. Каждое крупное явление имеет свое "лицо": что подходит к общему характеру этого лица, то правда; что не подходит, то случайность, царапина, волдырь. Может быть, в ученых сочинениях важно записывать и это; там, может быть, уместно отметить, что во время штурма Бастилии поймали на площади вора, который тут же таскал кошельки. Это, говорят, факт, – но разве

это "правда"? о 1 июля?

Сознаюсь, перечитывая эту рукопись, сам я раза два над собой посмеялся: очень уже гладко и сладко это все у тебя изложено. За исключением горемычной "ставки" чуть ли не все милые, славные, храбрые, охотно помогают, сдерживают обещания... Неужели забыл ты все камни, подножки, обманы? Я их не забыл: память – машина автономная, и притом мелочная. Если зажмурить глаза, вспоминаются то смешные, то нехорошие образы, и в штатском платье, и в военном. Но искать "правду" надо не с зажмуренными, а с открытыми глазами; тогда видишь главное, а главное и есть "все".

Нет, я написал всю правду. И пятьсот "погонщиков", и пять тысяч "королевских стрелков" – ими всеми вправе спокойно гордиться еврейский народ, всеми: из Уайтчепла, из Тель-Авива, из Нью-Йорка, из Монреаля, из Буэнос-Айреса, из Александрии. Они прибыли из четырех стран света, а один – Марголин – из пятой; и они честно и прочно отслужили свою службу за еврейское дело.

И так же смело может гордиться еврейский народ теми друзьями, что пришли к нам из среды чужого народа. Есть в их ряду люди с громкими именами, есть и малоизвестные: но все это красивые души, широкие сердца; каждое из этих имен, звонких или скромных, есть добрый знак для будущего, эхо старинного слова о том, что не сирота на земле Израиль; эхо герцлевой "правды" о том, что die Welt ist keine Rauberwelt – die Welt ist eine Richterwelt*.

* * *

О значении легионизма и легиона, о роли, какую оба сыграли в нашей народной истории за годы

*Мир является не миром разбойников, а миром судей.

войны, я говорил уже на разных страницах этой книги; попытаюсь резюмировать. Понятно, я не предъявляю никаких притязаний на объективность моей оценки. Спор о "легионе" еще не закончился – по-моему, настоящий разгар его еще впереди; воздух еще полон и партийных, и личных раздражений. Противники нового легиона, естественно, склонны недооценивать первый легион, и наоборот. Вполне возможно, что я "наоборот". Но и мой подход к этому вопросу не следует понимать слишком уж упрощенно в духе классической гречневой каши. Если человек судит только субъективно, он прежде всего скажет: победил! Я этого не говорю. Далеко мне было до победы, и не раз я думал об этом в долине Иордана. Не о пяти тысячах мечтал я в то дождливое утро перед афишей в Бордо. Я своего не добился. Но те пять тысяч – они добились: еврейский легион, такой, каков он был, действительно сыграл историческую и определяющую роль в судьбе сионизма. И так же спокойно и твердо, как уверен я в том, что завтра взойдет солнце и будет утро, и день, и вечер, так же уверен я в том, что оценка истории совпадет с моей оценкой.

Чисто военное значение легиона было не больше и не меньше того, какое могут иметь три батальона в большой войне. Британская армия могла бы освободить Палестину и без нас. Но она освободила Палестину с нами; и в ответственный момент она поручила нам ответственную роль на опасном, исключительно тяжелом посту. Это не много и не мало; это то, что есть. В одном из храмов Лондона хранится общее знамя старого корпуса "королевских стрелков", чью кокарду мы носили во время наступления; на этом знамени вышиты ряд славных имен: Крым, Индия, Судан, Южная Африка. Благодаря нам к этому ряду прибавилось имя Палестины. Это имя было нашито на знамени в торжественной и величавой церемонии, и славный полк, одна из гордостей британской армии, гордится нашей службой. Солдат Патерсон тоже,

солдат Марголин тоже. Я тоже.

О том, что за роль сыграл наш легион в охране Палестины в трудные месяцы после военных содроганий, я уже писал; и эту правду пусть затвердит на память еврейская молодежь родины и рассеяния. Пока стояли в Палестине пять тысяч еврейских солдат, даже когда, в самую опасную минуту, они остались почти одни на весь край, в Палестине было тихо. Когда они ушли, в Палестине трижды пролилась еврейская кровь.

Нравственное значение легиона ясно для каждого, кто умеет честно мыслить. Злая вещь война; но признание своего права на Палестину мы получили ценою войны – значит, ценою человеческих жертв. Сегодня никто не может бросить нам в лицо упрек: где вы были? отчего не пришли тогда с требованием – дайте нам как евреям положить свою душу за Палестину? Сегодня есть у нас ответ: "пять тысяч; и было бы много больше, если бы ваши начальники не тормозили нашего дела два с половиной года подряд". Этому нравственному моменту нет цены; это и хотел выразить премьер Южной Африки Смэтс, герой двух народов, один из последних рыцарей на земле и сам глубокий миролюбец, когда сказал: дать евреям биться за землю Израиля – это одна из прекраснейших мыслей, какие слышал я за всю свою жизнь.

* * *

Но главную свою роль сыграли эти пять тысяч и то движение, которое их породило, в области политической: роль историческую и решающую. Изо дня в день, два года и больше, я следил за работой тех немногих тружеников, имена которых навеки связаны с Декларацией Бальфура: они сами знают, как высоко я ставлю их достижение и их заслугу. Больше того: я знаю, что вся сумма всех усилий во имя

Палестины, произведенных ими и нами и другими за четыре года войны, есть только малая доля того массового и длительного подвига, который накопила упрямая работа трех поколений сионизма. Декларацией Бальфура мы обязаны и Герцлю, и Ротшильду, и Пинскеру; в еще большей, верно, мере, первым пионерам — "билуйцам" и всем преемникам их, колонистам, рабочим, учителям, от Метуллы на севере до Рухамы на юге. Я уж не говорю о том, что еще важнее: о книге, святой для всего мира, и научившей весь мир связывать еврейский народ с Иерусалимом. Девяносто девять шагов к цели были сделаны задолго до выстрела в Сараеве: только сотый, последний был ступлен за годы войны. Но этот последний шаг был большой шаг; и неправо забывать, что это был шаг коллективный, и, поминая несомненную заслугу отдельных единиц, затенять заслугу пяти тысяч. Я считаю обе заслуги равными. Свет не жюри, Декларация Бальфура не приз; даже на бумаге не дают родины Ивану, Сидору или Петру. Обещать родину можно только в ответ на соборный голос массы — в ответ на движение. В чем, где, когда могла в те одичалые годы проявиться сионистская мечта, как "движение", как манифестация массовых воль? Организация была разбита, парализована, загнана в тень или прямо в подполье; но и без того, по самой природе своей, культурной и колонизационной, сионизм лежал безнадежно вне тесного, резко отграниченного кругозора воюющих народов и их правителей. Только одна форма сионизма в состоянии была проникнуть в это узкое поле зрения, прорваться в очередь, заставить министров, послов и репортеров внести нашу мечту о земле в список забот текущего — кровью текущего — дня.

Еврейский народ ничем не отблагодарил своих солдат; они меня тоже не уполномочили хлопотать о его благодарности — обойдутся. Но в их душе живет то спокойное сознание, которое я высказал здесь; и придет время, когда дети наши будут

заучивать имена их полковников вместе с азбукой. А рядовым, каждому из пятисот и каждому из пяти тысяч, я хочу сказать на прощанье то, что сказал когда-то своим товарищам "портным", уходя навсегда из последнего лагеря нашего под Ришоном:

— Ты вернешься к своим, далеко за море; и там когда-нибудь, просматривая газету, прочтешь добрые вести о свободной жизни еврейской в свободной еврейской стране — о станках и кафедрах, о пашнях и театрах, может быть, о депутатах и министрах. И задумаешься, и газета выскользнет из рук; и ты вспомнишь Иорданскую долину, и пустыню за Рафой, и Ефремовы горы над Абуэйном. Встрепенись тогда и встань, подойди к зеркалу и гордо взгляни себе в лицо, вытянись навытяжку и отдай честь: это — твоя работа.

КОНЕЦ

КНИГИ ИЗД-ВА „БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ”

1. **Леон Юрис.** ЭКСОДУС. Книга 1
2. **Леон Юрис.** ЭКСОДУС. Книга 2
3. **Д-р А. И. Кауфман.** ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. **Сарра Нешамит.** ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. **Арье (Лева) Элиав.** НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. **Д-р Е. Хисин.** ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. **Макс Брод.** РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. **А. И. Гешель.** ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. **Натан Альтерман.** СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. **Шаул Черниховский.** СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. **Теодор Герцль.** ИЗБРАННОЕ
14. **Ахад-Гаам.** ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. **Ахарон Мегед.** ХЕДВА И Я
16. **Яков Цур.** И ВОССТАЛ НАРОД
17. **Р. и У. Черчилль.** ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. **Говард Фаст.** МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. **И. Домальский.** РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. **Игал Аллон.** ОТЧИЙ ДОМ
22. **Юлия Шмуклер.** УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. **Хана Сенеш.** ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 - 1967)
25. **Ш. Й. Агнон.** ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы,повести, главы из романов.
26. **Элиэзер Смоли.** ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. **Тувия Божиковский.** СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. **А. Итай и М. Нейштат.** ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. **Эли Люксембург.** ТРЕТИЙ ХРАМ

32. **С. Г. Фруг.** СТИХИ И ПРОЗА
33. **Р. Губер.** КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. **Дж. и Д. Кимхи.** ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. **И. Башевис-Зингер.** РАБ
37. **Р. Бонди.** ЭНЦО СЕРЕНИ
38. **Иегуда Галеви.** СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. **Шломо Цемах.** ГОД ПЕРВЫЙ
40. **Шаул Авигур.** С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. **Ханох Бартов.** ВОЗМУЖАНИЕ
42. **Ружка Корчак.** ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. **Бернард Маламуд.** ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. **Моше Натан.** БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. **Ицхак Маор.** СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. **Ицхак Шенхар.** СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. **Генри Рот.** НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. **Моше Шамир.** ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. **Ахарон Мегед.** ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. **Давид Маркиш.** ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. **Джон Орбах.** РИКША
56. **Иосеф Гедалия Клаузнер.** КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. **Исаак Бабель.** ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. **Проф. И. Слуцкий.** ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. **Проф. И. Слуцкий.** ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. **Андре Шварц-Барт.** ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. **Эммануэль Литвинов.** ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ
62. **Владимир (Зеев) Жаботинский.** ИЗБРАННОЕ
63. **Мартин Бубер.** ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. **Макс И. Даймонт.** ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. **Сол Беллоу.** ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
    И. Кауфман. Библейская эпоха
    Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь
    Ш. Эттингер. Корни современного антисемитизма
67. **А. Суцкевер.** ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ

68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов из СССР
70. **Ури Дан.** ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. **Моше Шамир.** СВОИМИ РУКАМИ
72. **Л. Коллинз и Д. Лапьер.** О, ИЕРУСАЛИМ!
73. **М. Новомейский.** ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. **М. Гесс.** РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. **Ф. Кандель.** ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. **Ф. Баазова.** ПРОКАЖЕННЫЕ
77. **А. Шлионский.** ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. **Иехуда Бурла.** ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. **Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий.** АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:
    Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
    С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. **Ханох Бартов.** ВЫДУМЩИК
84. **Гилель Бутман.** ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. **Жак Дерожи.** ТАЙНА СУДНА „ЭКСОДУС-1947"
86. **Цивья Любеткин.** В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. **М. Стейнберг.** ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. **А. Кестлер.** ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. **Ада Серени.** КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. **Иехуда Атлас.** ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. **М. Стейнберг.** КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. **Н. Полетика.** ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. **Эли Визель.** ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. **Альбер Мемми.** ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. **Шломо Авинери.** ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. **Хаим Градэ.** АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. **Луи Финкелстайн.** РАББИ АКИВА
100. **Хаим Вейцман.** В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. **Хаим Вейцман.** В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. **Муня М. Мардор.** СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ

103. **Феликс Розинер.** СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. **Владимир Лазарис.** МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. **Михаэль Бар-Зохар.** БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. **Михаэль Бар-Зохар.** БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. **Ахарон Аппельфельд.** ПОРА ЧУДЕС
109. **Гилель Бутман.** ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. **Голда Меир.** МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. **Голда Меир.** МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. **Василий Гроссман.** НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
112. **Василий Гроссман.** НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. **Гершом Шолем.** ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1
115. **Гершом Шолем.** ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2
116. **Эфраим Урбах.** МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов современных израильских писателей
118. **Владимир (Зеев) Жаботинский.** ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания
119. **Оскар Минц.** ПРИЗМЫ
120. **Игал Аллон.** ЩИТ ДАВИДА
121. **Моше Даян.** ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. **Иерухам Кохен.** ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского офицера
123. **Исраэль Таяр.** СИНАГОГА — РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. **Виталий Рубин.** ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. **Виталий Рубин.** ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. **Анита Шапира.** БЕРЛ. Книга 1
127. **Анита Шапира.** БЕРЛ. Книга 2
128. **Хаим Гвати.** КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. **Виктория Левитина.** РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
130. **Виктория Левитина.** РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
131. **Януш Корчак.** ИЗБРАННОЕ
132. **Ашер Бараш.** ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. **Ицхак Орен (Надель).** МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. **Андре Неер.** КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. **Ицхак Зив-Ав.** ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...

136. **Эрбер Ле Поррье.** ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. **Шломо Гилель.** С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. **М. Бейзер.** ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. **Абба Ковнер.** КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. **Авигдор Шинан.** МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. **Давид Роскис.** ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. **Томас Манн.** О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. **Рамбам (Маймонид).** ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. **Рамбам (Маймонид).** ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. **И. Ахарони, Б. Рутенберг.** ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ
149. **И. Гутман, Х. Шацкер.** КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
150. **Амос Эттингер.** СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. **Феликс Кандель.** СЛОВО ЗА СЛОВО
152. **Ицик Мангер.** ЖИЗНЬ В РАЮ
153. **Леон Юрис.** МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. **Леон Юрис.** МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. **Коннор О'Брайен.** ОСАДА
156. **И. Башевис-Зингер.** Сборник рассказов
157. **Давид Шахар.** ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. **Владимир (Зеев) Жаботинский.** САМСОН НАЗОРЕЙ

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. **Рут Сэмюэлс.** ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. **Дорит Оргад.** МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. **Ури Орлев.** ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. **Амос Оз.** СУМХИ
5. **Шмуэль Хуперт.** ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. **Й. Сегал.** ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. **Яэль Розман.** МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. **Двора Омер.** ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. **Сами Михаэль.** ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. **Шмуэль Авидор-Хакохен.** И СОТВОРИЛ БОГ...

11. **Двора Омер.** ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. **Юрий Суль.** ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. **Ицхак Ной.** РОН И ДЖУДИ
14. **И. Башевис-Зингер.** ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов и сказок для детей
15. **Эстер Файн.** ХАДАС
16. **Н. Гутман и Э. Бен-Эзер.** МЕЖДУ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Книга 1
18. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Книга 2